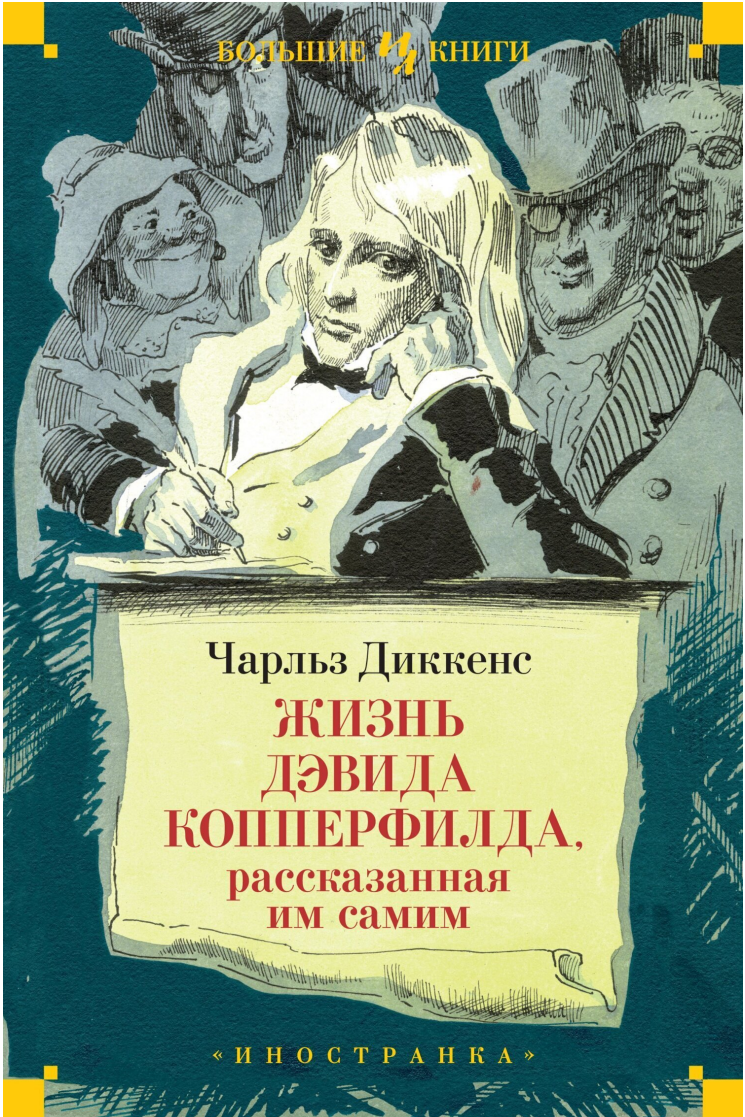

БОЛЬШИЕ И КНИГИ
Чарльз Диккенс
ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА,
рассказанная им самим
«ИНОСТРАНКА»

Чарльз Диккенс

Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим

Серия «Иностранная литература. Большие книги»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68519847
Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим:
ISBN 978-5-389-22240-3

Аннотация

Знаменитый роман «Жизнь Дэвида Копперфилда» великого английского писателя Чарльза Диккенса снискал любовь и признание читателей во всем мире. Во многом автобиографичный, этот роман рассказывает о судьбе мальчика, вынужденного в одиночку сражаться против жестокого, безотрадного мира, населенного злобными учителями, корыстными фабрикантами и бездушными слугами закона. В этой неравной войне Дэвида могут спасти лишь нравственная твердость, чистота сердца и необыкновенный талант, способный превратить грязного оборванца в величайшего писателя Англии.

В настоящем издании текст романа сопровождается блестящими иллюстрациями советского художника Григория Филипповского (1909–1987).

Содержание

Предисловие автора 5
Глава I 8
Глава II 28
Глава III 54
Глава IV 80
Глава V 113
Глава VI 146
Глава VII 160
Глава VIII 192
Глава IX 218
Глава X 241
Глава XI 275
Глава XII 308
Глава XIII 325
Глава XIV 365
Конец ознакомительного фрагмента. 389

Чарльз Диккенс
Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим

© Г. Г. Филипповский (наследник), иллюстрации, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®

Предисловие автора

В предисловии к первому изданию этой книги я говорил,

что чувства, которые я испытываю, закончив работу, мешают мне отступить от нее на достаточно большое расстояние и отнестись к своему труду с хладнокровием, какого требуют подобные официальные предварения. Мой интерес к ней был настолько свеж и силен, а сердце настолько разрывалось меж радостью и скорбью – радостью достижения давно намеченной цели, скорбью разлуки со многими спутниками и товарищами, – что я опасался, как бы не обременить читателя слишком доверительными сообщениями и касающимися только меня одного эмоциями.

Все, что я мог бы сказать о данном повествовании помимо этого, я попытался сказать в нем самом.

Возможно, читателю не слишком любопытно будет узнать, как грустно откладывать перо, когда двухлетняя работа воображения завершена; или что автору чудится, будто он отпускает в сумрачный мир частицу самого себя, когда толпа живых существ, созданных силою его ума, навеки уходит прочь. И тем не менее мне нечего к этому прибавить; разве только следовало бы еще признаться (хотя, пожалуй, это и не столь уж существенно), что ни один человек не способен, читая эту историю, верить в нее больше, чем верил я, когда писал ее.

Сказанное выше в такой мере сохраняет свою силу и сегодня, что мне остается сделать читателю лишь еще одно доверительное сообщение. Из всех моих книг я больше всего люблю эту. Мне легко поверят, если я скажу, что отношусь

как нежный отец ко всем детям моей фантазии и что никто и никогда не любил эту семью так горячо, как люблю ее я. Но есть один ребенок, который мне особенно дорог, и, подобно многим нежным отцам, я лелею его в глубочайших тайниках своего сердца. Его имя – «Дэвид Копперфилд».

Глава I
Я появляюсь на свет

Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой – должны показать последующие страницы. Начну рассказ о моей жизни с самого начала и скажу, что я родился в пятницу в двенадцать часов ночи (так мне сообщили, и я этому верю). Было отмечено, что мой первый крик совпал с первым ударом часов.

Принимая во внимание день и час моего рождения, сиделка моей матери и кое-какие умудренные опытом соседки, питавшие живейший интерес ко мне за много месяцев до нашего личного знакомства, объявили, во-первых, что мне предопределено испытать в жизни несчастья и, во-вторых, что мне дана привилегия видеть привидения и духов; по их мнению, все злосчастные младенцы мужского и женского пола, родившиеся в пятницу около полуночи, неизбежно получают оба эти дара.

Мне незачем останавливаться здесь на первом предсказании, ибо сама история моей жизни лучше всего покажет, сбылось оно или нет. О втором предсказании я могу только заявить, что если я не промотал этой части моего наследства в младенчестве, то, стало быть, еще не вступил во владение

ею. Впрочем, лишившись своей собственности, я отнюдь не жалуюсь, и, если в настоящее время она находится в других руках, я от всей души желаю владельцу сохранить ее.

Я родился в сорочке, и в газетах появилось объявление о ее продаже по дешевке – за пятнадцать гиней. Но либо в ту пору у моряков было мало денег, либо мало веры и они предпочитали пробковые пояса, – я не знаю; мне известно только, что поступило одно-единственное предложение от некоего ходатая по делам, связанного с биржевыми маклерами, который предлагал два фунта наличными (намереваясь остальное возместить хересом), но дать больше и тем самым предохранить себя от опасности утонуть не пожелал. Вслед за сим объявлений больше не давали, сочтя их пустой тратой денег, – что касается хереса, то моя бедная мать распродавала тогда свой собственный херес, – а десять лет спустя сорочка была разыграна в наших краях в лотерее между пятьюдесятью участниками, внесшими по полкроны, причем выигравший должен был доплатить пять шиллингов. Я сам при этом присутствовал и, припоминаю, испытывал некоторую неловкость и смущение, видя, как распоряжаются частью меня самого. Помнится, сорочка была выиграна старой леди с маленькой корзиночкой, из которой она весьма неохотно извлекла требуемые пять шиллингов монетами по полпенни, не доплатив при этом двух с половиной пенсов; было потрачено немало времени на безуспешные попытки доказать ей это арифметическим путем. В наших краях долго еще будут

вспоминать тот примечательный факт, что она и в самом деле не утонула, а торжественно почила девяноста двух лет в своей собственной постели. Как мне рассказывали, она до последних дней особенно гордилась и хвастала тем, что никогда не бывала на воде, разве что проходила по мосту, а за чашкой чаю (к которому питала пристрастие) она до последнего вздоха поносила нечестивых моряков и всех вообще людей, которые самонадеянно «колесят» по свету. Тщетно втолковывали ей, что этому предосудительному обычаю мы обязаны многими приятными вещами, включая, может быть, и чаепитие. Она отвечала еще более энергически и с полной верой в силу своего возражения:

– Не будем колесить!

Дабы и мне не колесить, возвращаюсь к моему рождению.

Я родился в графстве Суффолк, в Бландерстоне или «где-то поблизости», как говорят в Шотландии. Родился я после смерти отца. Глаза моего отца закрылись за шесть месяцев до того дня, как мои раскрылись и увидели свет. Даже теперь мне странно, что он никогда меня не видел, и еще более странным мне кажется то туманное воспоминание, какое сохранилось у меня с раннего детства, о его белой надгробной плите на кладбище и о чувстве невыразимой жалости, которую я, бывало, испытывал при мысли, что эта плита лежит там одна темными вечерами, когда в нашей маленькой гостиной пылает камин и горят свечи, а двери нашего дома заперты на ключ и на засов, – иной раз мне чудилось в этом

что-то жестокое.

Тетка моего отца, а стало быть, моя двоюродная бабка, о которой будет еще речь впереди, была самой значительной персоной в нашей семье. Мисс Тротвуд, или мисс Бетси, как называла ее моя бедная мать, когда ей случалось преодолеть свой страх перед этой грозной особой и упомянуть о ней (это случалось редко), – мисс Бетси вышла замуж за человека моложе себя, который был очень красив, хотя к нему отнюдь нельзя было применить незамысловатую поговорку: «Красив, кто хорош». Не без основания подозревали, что он поколачивал мисс Бетси и даже принял однажды, во время спора о домашних расходах, срочные и решительные меры к тому, чтобы выбросить ее из окна второго этажа. Такие признаки неуживчивого характера побудили мисс Бетси откупиться от него и расстаться по взаимному соглашению. Он отправился со своим капиталом в Индию, где (если верить нашей удивительной семейной легенде) видели, как он разъезжал на слоне в обществе бабуина; я же думаю, что, вероятно, это был бабу или бегума. Как бы там ни было, лет через десять пришла из Индии весть о его смерти. Никто не знал, как подействовала она на мою бабушку: тотчас после разлуки с ним она снова стала носить свою девичью фамилию, купила далеко от наших мест, в деревушке на морском побережье, коттедж, поселилась там с одной-единственной служанкой и, по слухам, жила в полном уединении.

Кажется, мой отец был когда-то ее любимцем, но его же-

нитьба смертельно оскорбила ее, потому что моя мать была «восковой куклой». Она никогда не видела моей матери, но знала, что ей еще не исполнилось двадцати лет. Мой отец и мисс Бетси больше никогда не встречались. Он был вдвое старше моей матери, когда женился на ней, и не отличался крепким сложением. Спустя год он умер – как я уже говорил, за шесть месяцев до моего появления на свет.

Таково было положение дел под вечер в пятницу, которую мне, быть может, позволительно назвать знаменательной и чреватой событиями. Впрочем, я не имею права утверждать, будто эти дела были мне в то время известны или будто я сохранил какое-то воспоминание, основанное на свидетельстве моих собственных чувств, о том, что последовало.

Моя мать, чувствуя недомогание, в глубоком унынии сидела у камина, сквозь слезы смотрела на огонь и горестно размышляла о себе самой и о лишившемся отца маленьком незнакомце, чье появление на свет, весьма равнодушный к его прибытию, уже готовы были приветствовать несколько гроссов пророческих булавок в ящике комода наверху. Итак, в тот ветреный мартовский день моя мать сидела у камина притихшая и печальная и с тоскою думала о том, что едва ли она выдержит благополучно предстоящее ей испытание; подняв глаза, чтобы осушить слезы, она посмотрела в окно и увидела незнакомую леди, идущую по саду.

Она взглянула еще раз, и ее охватило предчувствие, что это мисс Бетси. Лучи заходящего солнца, скользя над садо-

вой изгородью, озаряли незнакомую леди, а та шествовала к двери, сохраняя суровую осанку и решительный вид, какие могли быть присущи только мисс Бетси.

Подойдя к дому, она предъявила еще одно доказательство в пользу такого заключения. Мой отец не раз давал понять, что она редко поступает как простые смертные; и теперь, вместо того чтобы позвонить в колокольчик, она приблизилась к упомянутому окну и так крепко прижала кончик носа к стеклу, что он в одно мгновенье стал совсем плоским и белым, как частенько рассказывала потом моя бедная мать.

Она до такой степени испугала мою мать, что – как я всегда был убежден – именно мисс Бетси я и обязан своим появлением на свет в пятницу.

Моя мать в волнении встала с кресла и отступила за его спинку, в угол. Мисс Бетси медленно и дотошно обозревала комнату, начав со стены против окна, и вращала глазами, как голова сарацина на голландских часах, пока взгляд ее не остановился на моей матери. Тогда, как человек, привыкший повелевать, она нахмурилась и жестом предложила моей матери пойти и открыть дверь. Мать повиновалась.

– Миссис Дэвид Копперфилд, *если не ошибаюсь?* – сказала мисс Бетси; ударение на последних словах вызывалось, быть может, вдовьим трауром моей матери и ее состоянием.

– Да, – слабым голосом ответила моя мать.

– Мисс Тротвуд, – отрекомендовалась гостья. – Вероятно, вы о ней слышали?

Моя мать ответила, что имела это удовольствие. Но с сожалением почувствовала, что ей как будто не удалось выразить, сколь велико было это удовольствие.

– Теперь вы ее видите, – сказала мисс Бетси.

Моя мать склонила голову и попросила ее войти.

Они направились в гостиную, откуда только что вышла моя мать, так как в лучшей комнате, по другую сторону коридора, камин не был затоплен – его не топили со дня похорон моего отца. Когда они обе уселись, а мисс Бетси продолжала молчать, моя мать, после тщетных попыток удержаться, заплакала.

– О, тише, тише! – быстро сказала мисс Бетси. – Не надо. Полно, полно!

Однако моя мать ничего не могла поделать и продолжала плакать, пока не выплакалась.

– Снимите чепчик, дитя мое, – сказала мисс Бетси, – дайте мне посмотреть на вас.

Моя мать слишком боялась ее, чтобы отказать в этой странной просьбе, даже если бы имела такое намерение. Поэтому она повиновалась и сняла чепчик, но руки ее так дрожали, что волосы (они у нее были красивые и пышные) упали ей на лицо.

– Господи помилуй! – воскликнула мисс Бетси. – Да вы еще совсем ребенок!

Несомненно, моя мать выглядела очень юно, даже для своих лет. Бедняжка понурилась, словно была в чем-то ви-

новата, и, всхлипывая, пробормотала, что, наверное, у нее слишком ребяческий вид для вдовы и что она опасается, не сохранит ли она тот же ребяческий вид, сделавшись матерью, – если останется в живых. Последовало молчание, и ей почудилось, будто мисс Бетси коснулась ее волос, коснулась ласковой рукою. Но, взглянув на нее с робкой надеждой, она увидела, что та сидит, подобрав подол платья, сложив руки на одном колене, а ноги поставив на каминную решетку, и хмуро смотрит на огонь.

– Скажите на милость, почему «Грачовник»? – неожиданно произнесла мисс Бетси.

– Вы говорите об этом доме, сударыня? – осведомилась моя мать.

– Почему «Грачовник»? – повторила мисс Бетси. – Более уместно было бы назвать его «Харчевня», если бы у вас или у вашего мужа были здравые понятия о жизни.

– Это название придумал мистер Копперфилд, – сказала моя мать. – Когда он купил дом, ему понравилось, что в саду есть грачи.

В эту минуту вечерний ветер вызвал такое смятение среди высоких старых вязов в конце сада, что моя мать и мисс Бетси невольно посмотрели в окно. Вязы склонялись друг к другу, подобно великанам, которые шепотом переговариваются о каких-то тайнах, а после нескольких секунд затишья приходят в страшное волнение и дико размахивают руками, как будто только что поверенная тайна слишком ужасна и

они не в силах сохранять спокойствие духа; пострадавшие от непогоды, растрепанные старые грачиные гнезда, отягчавшие верхние ветви, раскачивались, как обломки разбитых судов на бурных волнах.

– Где птицы? – спросила мисс Бетси.

– Птицы?..

Моя мать думала совсем о другом.

– Грачи? Куда они девались? – спросила мисс Бетси.

– Здесь не было ни одного с тех пор, как мы поселились в этом доме, – отвечала моя мать. – Мы думали… мистер Копперфилд думал, что здесь большой грачовник, но гнезда

очень старые, и птицы давно их покинули.

– Узнаю Дэвида Копперфилда! – воскликнула мисс Бетси. – Дэвид Копперфилд с головы до пят! Называет дом «Грачовником», когда поблизости нет ни одного грача, и уверен, будто в саду полно птиц, потому что видит гнезда!

– Мистер Копперфилд умер, и если вы посмеете дурно отзываться о нем при мне…

Я думаю, это был момент, когда моя бедная мать намеревалась перейти в наступление и вступить в бой с моей бабушкой, которая легко могла справиться с ней одной рукой, даже если бы моя мать была гораздо лучше подготовлена к единоборству, чем в тот вечер. Но дело кончилось тем, что она только поднялась с кресла; в ту же минуту она смиренно снова опустилась в него и потеряла сознание.

То ли она очнулась сама, то ли мисс Бетси привела ее в чувство – неизвестно, однако, придя в себя, она увидела, что моя бабушка стоит у окна. Сумерки уже сгустились, но благодаря огню в камине они могли еще различать друг друга.

– Ну как? – сказала мисс Бетси, возвращаясь к своему стулу, словно встала только для того, чтобы посмотреть в окно. – Когда же вы ожидаете…

– Я вся дрожу, – пролепетала моя мать. – Не понимаю, что со мной. Я умру, я в этом уверена!

– Нет и нет! – заявила мисс Бетси. – Выпейте чая.

– Ах, боже мой, боже мой! – беспомощно воскликнула моя мать. – Вы думаете, мне станет лучше?

– Конечно! – сказала мисс Бетси. – Все это одно воображенье. Как звать вашу девчонку?

– Я еще не знаю, будет ли это девочка, – наивно сказала моя мать.

– Да благословит Бог крошку! – воскликнула мисс Бетси, не ведая того, что цитирует второе приветствие, вышитое на подушечке для булавок, которая хранилась в ящике комода наверху, но относя это приветствие не ко мне, а к моей матери. – Я не о том говорю. Я говорю о вашей служанке.

– Пе´гготи, – сказала моя мать.

– Пе´гготи! – с некоторым негодованием повторила мисс Бетси. – Неужели вы хотите сказать, дитя, что какое-то человеческое существо получило при крещении имя Пегготи?

– Это ее фамилия, – слабым голосом пояснила моя мать. – Мистер Копперфилд называл ее по фамилии, потому что у нас с ней одинаковые имена.

– Сюда, Пегготи! – крикнула мисс Бетси, открывая дверь гостиной. – Чая! Твоей хозяйке немножко нездоровится. Поскорей!

Отдав это приказание с такою властностью, словно она являлась признанным авторитетом в доме с той поры, как он был выстроен, и выглянув за дверь, чтобы посмотреть на изумленную Пегготи, которая, заслышав незнакомый голос, вышла в коридор со свечой, мисс Бетси снова закрыла дверь и уселась в прежней позе: ноги на каминной решетке, подол платья подобран, руки сложены на одном колене.

– Вы говорили о том, будет ли это девочка… – начала мисс Бетси. – Я нисколько не сомневаюсь, что девочка. У меня есть предчувствие, что должна родиться девочка. И вот, дитя, с момента рождения этой девочки…

– Может быть, мальчика, – осмелилась перебить моя мать.

– Говорю же вам, у меня есть предчувствие, что должна родиться девочка! – возразила мисс Бетси. – Не спорьте. С момента рождения этой девочки, дитя, я намерена быть ее другом. Я намерена быть ее крестной матерью и прошу вас назвать ее Бетси Тротвуд Копперфилд. Никаких ошибок не должно быть в жизни этой Бетси Тротвуд. Бедный ребенок, ее чувствами никто не будет играть! Ее нужно хорошо воспитать, охраняя от нелепой доверчивости к тем, кто ее не заслуживает. Эту заботу беру на себя я!

После каждой фразы мисс Бетси встряхивала головой, словно ее душило воспоминание об ее собственных былых обидах и она усилием воли подавляла желание намекнуть на них более ясно. Так, по крайней мере, показалось моей матери, взиравшей на нее при тусклом свете камина, но мать слишком боялась мисс Бетси, слишком плохо себя чувствовала и была слишком подавлена и ошеломлена, чтобы наблюдать внимательно или сообразить, что нужно сказать.

– А Дэвид был добр к вам, дитя? – после недолгого молчания спросила мисс Бетси, перестав мотать головой. – Вам хорошо жилось вместе?

– Мы были очень счастливы, – отвечала моя мать. – Ми-

стер Копперфилд был даже слишком добр ко мне.

– Вот как! Вероятно, он вас избаловал? – воскликнула мисс Бетси.

– Теперь, когда я снова осталась совсем одна в этом суровом мире и должна полагаться только на себя, боюсь, что он и в самом деле меня избаловал, – всхлипывая, промолвила моя мать.

– Полно! Не плачьте! – сказала мисс Бетси. – Вы ему были не пара… не знаю, впрочем, найдется ли на свете хоть одна подходящая пара… Вот почему я задала этот вопрос. Вы сирота?

– Да.

– И были гувернанткой?

– Я была бонной в семействе, которое посещал мистер Копперфилд. Мистер Копперфилд был очень добр ко мне, много занимался мною, уделял мне много внимания и наконец сделал предложение. А я приняла его, и вот мы поженились, – простодушно отвечала моя мать.

– Ха! Бедное дитя! – задумчиво проговорила мисс Бетси, по-прежнему не сводя хмурых глаз с огня. – Вы хоть в чем-нибудь смыслите?

– Простите, сударыня?.. – пролепетала моя мать.

– Например, в домашнем хозяйстве, – пояснила мисс Бетси.

– Боюсь, что мало, – ответила моя мать. – Меньше, чем мне бы хотелось. Но мистер Копперфилд учил меня…

– Сам-то он много в этом смыслил! – вставила, в скобках, мисс Бетси.

– И мне очень хотелось научиться, а он был очень терпелив… И я надеюсь, что сделала бы успехи, если бы не это великое несчастье… его смерть…

Моя мать снова потеряла самообладание и не могла продолжать.

– Полно, полно! – сказала мисс Бетси.

– Я аккуратно записывала домашние расходы и каждый вечер подводила итог вместе с мистером Копперфилдом! – воскликнула моя мать, вновь предаваясь отчаянью и теряя мужество.

– Полно, полно! – сказала мисс Бетси. – Хватит, не плачьте.

– И право же, никогда не бывало у нас с ним из-за этого никаких размолвок… Только мистеру Копперфилду не нравилось, что три и пять у меня слишком похожи, а у семи и девяти закручены хвостики, – с жаром закончила моя мать и снова потеряла самообладание.

– Вы так совсем расхвораетесь, – сказала мисс Бетси. – Вы же знаете, что это не принесет добра ни вам, ни моей крестной дочери. Довольно! Перестаньте плакать!

Такой довод помог моей матери успокоиться, но, пожалуй, главную роль сыграло ее недомогание, которое все усиливалось. Наступило молчание, лишь изредка нарушаемое восклицаниями мисс Бетси: «Ха!» Она сидела, не снимая ног

с каминной решетки.

– Я знаю, что Дэвид вложил свой капитал в ценные бумаги, – сказала она наконец. – Что оставил он вам?

– Мистер Копперфилд, – не без труда отвечала моя мать, – был так добр и заботлив, что перевел на меня часть ренты.

– Сколько? – спросила мисс Бетси.

– Сто пять фунтов в год, – промолвила моя мать.

– Могло быть и хуже, – заметила моя бабушка.

Последнее слово пришлось кстати: моей матери стало настолько хуже, что Пегготи, войдя с чайным подносом и свечами и сразу увидев, как ей плохо, – мисс Бетси могла бы увидеть это раньше, если бы в комнате было посветлее, – поспешно проводила ее наверх в спальню; затем она немедленно отправила за сиделкой и доктором своего племянника Хэма Пегготи, который втайне от моей матери уже несколько дней проживал в доме, чтобы быть под рукой в случае необходимости.

Эти объединенные силы, явившись через несколько минут почти одновременно, были немало изумлены, обнаружив сидевшую у камина незнакомую леди с внушительной осанкой; подвязав лентами свою шляпку к левой руке, она затыкала себе уши хлопчатой бумагой из ювелирной лавки. Пегготи ничего о ней не знала, и моя мать ничего о ней не сообщила, вот почему она была поистине загадкой, а величественному ее виду отнюдь не мешало то обстоятельство, что у нее в кармане был запас хлопчатой бумаги и она запихива-

ла ее себе в уши.

Доктор поднялся наверх, затем сошел вниз и, удостоверившись, вероятно, что ему предстоит провести несколько часов лицом к лицу с этой незнакомой леди, постарался быть учтивым и общительным. Это был тишайший и кротчайший человечек. Он входил и выходил из комнаты бочком, чтобы занимать поменьше места. Он ступал тихо, как призрак в «Гамлете», но только еще медленнее. Голову он склонял к плечу, отчасти из скромного сознания собственного ничтожества, отчасти из скромного желания умилостивить всех и каждого. Мало того, что он не бросил бы обидного слова собаке: он не мог бы его бросить даже бешеной собаке. Возможно, он ласково сказал бы ей словечко, или полсловечка, или один слог, ибо говорил он так же медленно, как и ходил; но он не обошелся бы с ней грубо и не мог бы расправиться с нею ни за какие блага в мире.

Кротко взглянув на мою бабушку и склонив голову набок, мистер Чиллип слегка поклонился ей и, коснувшись своего левого уха, спросил, намекая на хлопчатую бумагу:

– Местное раздражение, сударыня?

– Что? – откликнулась моя бабушка, вытаскивая, как пробку, бумагу из одного уха.

Мистер Чиллип был так испуган ее резкостью – о чем рассказывал впоследствии моей матери, – что только по милости Небес не потерял присутствия духа. Он вкрадчиво повторил:

– Местное раздражение, сударыня?

– Вздор! – ответила моя бабушка и тотчас же снова закупорилась.

После этого мистеру Чиллипу ничего не оставалось, как сидеть и беспомощно смотреть на нее, – а она тоже сидела и смотрела на огонь, – пока его не позвали наверх. Через четверть часа он вернулся.

– Ну как? – спросила моя бабушка, вынимая хлопчатую бумагу из ближайшего к нему уха.

– Ну что ж, сударыня, мы… мы помаленьку подвигаемся, – отвечал мистер Чиллип.

– А-а-а! – протянула моя бабушка, презрительно и энергически тряхнув головой. И снова закупорилась.

Право же, право, – как рассказывал мистер Чиллип моей матери – он испытал настоящее потрясение; да, если говорить только с профессиональной точки зрения, он испытал именно потрясение! Однако он сидел и смотрел на нее в течение двух часов, а она тоже сидела и смотрела на огонь, пока его снова не вызвали. После вторичной отлучки он опять вернулся.

– Ну как? – спросила моя бабушка, снова вынимая хлопчатую бумагу из того же уха.

– Ну что ж, сударыня, мы… мы помаленьку подвигаемся, – отвечал мистер Чиллип.

– А-а-а! – протянула моя бабушка. И так оскалила зубы, что мистер Чиллип не мог этого вынести.

Впоследствии он говорил, что таким путем она, несомненно, рассчитывала сломить его дух. Поэтому он предпочел удалиться и сидел на лестнице, в темноте и на сильном сквозняке, пока не послали за ним снова.

Хэм Пегготи – он ходил в начальную школу и катехизис знал назубок, а стало быть, мог почитаться достойным доверия свидетелем, – Хэм Пегготи докладывал на следующий день, что час спустя случайно заглянул в гостиную и был тотчас же замечен мисс Бетси, в волнении шагавшей взад и вперед и набросившейся на него прежде, чем он успел спастись бегством. Теперь сверху доносились иногда голоса и шаги, которых, по его предположению, не могла заглушить хлопчатая бумага, ибо леди вцепилась в него, чтобы дать исход крайнему своему возбуждению, когда звуки становились громче. Держа свою жертву за шиворот и заставляя маршировать по комнате (словно он принял слишком большую дозу опия), она встряхивала его, ерошила ему волосы, рвала на нем рубашку, затыкала уши ему, как будто перепутала их со своими ушами, и всячески тормошила его и мучила. Это показание было отчасти подтверждено его теткой, которая увидела его в половине первого ночи, вскоре после его освобождения, и утверждала, что в тот момент он был так же красен, как и я.

Кроткий мистер Чиллип ни на кого и никогда не мог быть в обиде, тем более в такое время. Едва покончив со своими обязанностями, он бочком проскользнул в гостиную и са-

мым смиренным голосом сказал моей бабушке:

– Ну что ж, сударыня, я имею счастье поздравить вас.

– С чем? – резко спросила моя бабушка.

Чрезвычайно суровый тон моей бабушки заставил вновь затрепетать мистера Чиллипа. Поэтому он слегка поклонился ей и слегка улыбнулся, чтобы ее умилостивить.

– Господи помилуй, что с ним такое? – нетерпеливо вскричала моя бабушка. – Онемел он, что ли?

– Успокойтесь, сударыня, дорогая моя! – самым вкрадчивым тоном сказал мистер Чиллип. – Больше нет никаких оснований волноваться, сударыня.

До сих пор почитается едва ли не чудом, как это моя бабушка не встряхнула его и не вытряхнула из него то, что он должен был сказать. Но она только тряхнула головой, впрочем, сделала это так, что он совсем оробел.

– Ну что ж, сударыня, – едва собравшись с духом, продолжал мистер Чиллип, – я имею счастье поздравить вас. Все кончено, сударыня, и все завершилось благополучно.

В продолжение тех пяти минут, какие мистер Чиллип посвятил произнесению этой речи, моя бабушка смотрела на него в упор.

– Как она себя чувствует? – спросила бабушка, складывая руки; к одной из них была по-прежнему привязана шляпка.

– Надеюсь, сударыня, она скоро будет чувствовать себя прекрасно, – отвечал мистер Чиллип. – Прекрасно, насколько это возможно для молодой матери при столь печальных

семейных обстоятельствах. Нет никаких возражений против того, чтобы вы повидали ее сейчас. Это может пойти ей на пользу.

– А *она*? Как себя чувствует *она*? – резко спросила моя бабушка.

Мистер Чиллип еще больше склонил голову набок и посмотрел на мою бабушку, словно приветливая птица.

– Новорожденная? Как она себя чувствует? – пояснила моя бабушка.

– Сударыня, я полагал, что вы уже знаете. Это мальчик, – отвечал мистер Чиллип.

Моя бабушка не произнесла ни слова; она схватила свою шляпку, держа ее за ленты, как пращу, прицелилась, хлопнула ею по голове мистера Чиллипа, затем нацепила ее, всю измятую, себе на голову, вышла из дому и больше не вернулась. Она скрылась, как разгневанная фея или те привидения и духи, которых, по общему мнению, мне даровано было видеть, и больше не вернулась.

Да, не вернулась. Я лежал в корзинке, а моя мать лежала в постели, но Бетси Тротвуд Копперфилд навеки осталась в стране грез и теней, в тех страшных краях, откуда я только что прибыл; а свет, падавший из окна комнаты, озарял последнее земное пристанище таких же путников, как я, и холмик над прахом того, кто некогда был человеком и не будь которого я никогда не явился бы в этот мир.

Глава II
Я наблюдаю

Первые образы, которые отчетливо встают передо мною, когда я возвращаюсь к далекому прошлому, к окутанным туманом дням моего раннего детства, – это моя мать с ее прекрасными волосами и девической фигурой и Пегготи, вовсе лишенная фигуры, – Пегготи с такими темными глазами, что они как будто отбрасывают тень на ее лицо, и с такими твердыми и красными щеками, что я недоумеваю, почему птицы предпочитают клевать не ее, а яблоки.

Мне чудится, я помню их обеих, одну неподалеку от другой, – они кажутся мне ниже ростом, потому что наклоняются или стоят на коленях, а я нетвердыми шагами перехожу от матери к Пегготи. В моей памяти хранится впечатление – я не могу отделить его от отчетливых воспоминаний, – будто я прикасаюсь к указательному пальцу Пегготи, который она, бывало, протягивала мне, и этот исколотый иголкой палец шершав, как маленькая терка для мускатных орехов.

Может быть, это только иллюзия, но, кажется мне, большинство людей хранит воспоминания о давно минувших днях, гораздо более далеких, чем мы предполагаем; и я верю, что способность наблюдать у многих очень маленьких детей поистине удивительна, – так она сильна и так очевидна. Мало

того, я думаю, что о большинстве взрослых людей, обладающих этим свойством, можно с уверенностью сказать, что они не приобрели его, но сохранили с детства; как мне обычно случалось подмечать, такие люди отличаются душевной свежестью, добротой и умением радоваться жизни, что также является наследством, которого они не растратили с детских лет.

Быть может, предаваясь таким размышлениям, я начинаю «колесить», но должен сказать, что пришел к этим выводам отчасти на основании моего личного опыта; если же из дальнейшего моего повествования можно будет заключить, будто я был ребенком очень наблюдательным или что в зрелом возрасте я сохраняю слишком яркое воспоминание о своем детстве, – то, не стану спорить, я готов притязать на обе эти способности.

Возвращаясь, как я уже сказал, к окутанным туманом дням моего раннего детства, я различаю два образа, возникающие из хаоса воспоминаний, – это моя мать и Пегготи. Что еще могу я припомнить? Посмотрим.

Встает из дымки наш дом – для меня не новый, а очень хорошо знакомый по самым ранним воспоминаниям. В нижнем этаже кухня Пегготи, выходящая на задний двор; посреди двора шест с голубятней без голубей; в углу большая собачья конура без собаки и множество кур, которые кажутся мне ужасно высокими, когда они разгуливают с угрожающим и свирепым видом. Есть здесь один петух, который взбира-

ется на столб, чтобы прокричать кукареку; он как будто обращает на меня особое внимание, когда я смотрю на него из окна кухни, и заставляет меня вздрагивать – такой он сердитый. Гуси по ту сторону калитки, шествующие вслед за мной вразвалку, вытянув шеи, снятся мне по ночам: так человеку, окруженному дикими зверями, снятся львы.

Вот длинный коридор – какая бесконечная перспектива открывается моему взору! – ведущий от кухни Пегготи к парадной двери. Сюда выходит дверь темной кладовой, и по вечерам нужно быстро пробегать мимо нее: когда там нет никого и не светит тускло горящая свеча, я не знаю, что может таиться среди этих кадушек, банок и старых ящиков из-под чая, а из двери вырывается затхлый воздух, насыщенный запахом мыла, рассола, перца, свечей и кофе. В доме две гостиные: гостиная, где мы сидим по вечерам в будни – моя мать, я и Пегготи, потому что Пегготи всегда с нами, когда мы одни, а она покончила с работой, – и парадная гостиная, где мы сидим по воскресеньям; здесь торжественно, но не так уютно. Эта комната кажется мне унылой, потому что Пегготи рассказывала мне – не знаю когда, но, очевидно, ужасно давно – о похоронах моего отца и об участниках процессии в черных плащах. В одно из воскресений мать читает Пегготи и мне в этой гостиной о том, как Лазарь воскрес из мертвых. И мне так страшно, что позднее приходится поднять меня с кроватки и показать мне из окна спальни тихое кладбище, где мертвые тихо покоятся в своих могилах, оза-

ренных торжественной луной.

Нигде нет травы такой зеленой, как трава на этом кладбище; нигде нет таких тенистых деревьев, как там; нет ничего более мирного, чем эти могилы. Ранним утром, когда я поднимаюсь на колени в своей кроватке (она стоит в нише в комнате моей матери), чтобы посмотреть на кладбище, овцы щиплют там траву; я вижу багровый свет, заливающий солнечные часы, и размышляю: «Радуются ли солнечные часы, что они снова могут показывать время?»

Вот наша скамья в церкви. Какая у нее высокая спинка! Неподалеку окно, из которого виден наш дом, и в продолжение утренней службы Пегготи часто поглядывает в это окно, так как хочет удостовериться, не ограблен ли дом и не охвачен ли пламенем. Но хотя глаза Пегготи блуждают, она очень недовольна, если и мои начинают блуждать, и, когда я стою на скамье, она хмурится, давая мне понять, что я должен смотреть на священника. Но не могу же я все время смотреть на него! Я его знаю без этого белого покрывала и боюсь, что он удивится и, пожалуй, прервет службу, чтобы осведомиться, почему я так таращу на него глаза, а что мне тогда делать? Очень нехорошо зевать по сторонам, но я должен чем-то заняться. Я смотрю на мою мать, но она притворяется, будто не видит меня. Я смотрю на мальчика в приделе, а он в ответ корчит рожу. Я смотрю на солнечные лучи, проникающие с паперти в открытую дверь, и там я вижу заблудшую овцу – я имею в виду не грешника, а настоящую овцу, –

размышляющую, не войти ли ей в церковь. Я чувствую, что, если сейчас же не перестану смотреть на нее, меня охватит соблазн крикнуть что-нибудь во весь голос, – а что тогда будет со мной? Я поднимаю глаза на мемориальные доски на стене и стараюсь думать о покойном мистере Боджерсе из нашего прихода и думаю о том, что должна была чувствовать миссис Боджерс, когда мистер Боджерс долго и тяжко болел, а врачи были бессильны помочь ему. Я задаю себе вопрос, звали ли к больному мистера Чиллипа и оказался ли он так же бессилен, как все прочие, а если да, то приятно ли ему теперь вспоминать об этом каждое воскресенье. Я перевожу взгляд с мистера Чиллипа и его праздничного галстука на кафедру и думаю о том, какое это чудесное место для игр и какой бы это был за`мок: кто-нибудь из мальчиков штурмует его, взбегая по ступеням, а ему в голову летит подушка с кисточками. Мало-помалу глаза мои начинают слипаться, я как будто еще слышу в знойном воздухе сонный голос священника, распевающего гимн; потом я уже ничего не слышу и наконец с грохотом падаю со скамьи, и меня чуть живого уносит Пегготи.

А теперь я вижу наш дом. В раскрытые настежь окна с частыми переплетами проникает в спальню благовонный воздух, а растрепанные старые грачиные гнезда все еще покачиваются на вязах в конце сада. А вот я в саду за домом, позади двора с пустой голубятней и собачьей конурой; помнится мне, это настоящий заповедник бабочек, окруженный высо-

кой изгородью с калиткой и висячим замком; плоды обременяют ветви деревьев, плоды такие спелые и сочные, каких никогда уже не бывало ни в каком другом саду, и моя мать собирает их в корзинку, а я стою тут же, украдкой срывая крыжовник и стараясь сохранить равнодушный вид. Поднимается сильный ветер, и вот лето уж промелькнуло. В зимних сумерках мы играем и танцуем в гостиной. Когда моя мать, запыхавшись, опускается в кресло, я слежу, как она навивает на пальцы свои светлые локоны и выпрямляется, и никто не знает лучше меня, что ей приятно быть такой миловидной и она гордится своей красотой.

Таковы мои самые ранние впечатления. А вот одно из первых моих умозаключений – если только это можно назвать умозаключением, – составленных на основании того, что я видел: мы оба слегка побаиваемся Пегготи и чаще всего подчиняемся ей.

Однажды вечером Пегготи и я сидели одни у камина в гостиной. Я читал Пегготи о крокодилах. То ли я читал очень выразительно, то ли она была чересчур увлечена книгой, но только я припоминаю, что по окончании чтения у нее осталось смутное представление, будто крокодилы – это какой-то сорт овощей. Я устал читать, и меня мучительно клонило ко сну, но, получив в виде великой милости разрешение не ложиться, пока не вернется домой моя мать, проводившая вечер у соседки, я, разумеется, скорее готов был умереть на своем посту, чем лечь спать. Сонливость моя достигла

той степени, когда Пегготи начала как будто пухнуть и принимать гигантские размеры. Я поддерживал указательными пальцами веки, чтобы они не сомкнулись, и упорно смотрел, как она работает; смотрел на крохотный кусочек свечи, которым она наращивала нитку, – весь изрезанный морщинками, каким старым он казался! – на маленький домик с тростниковой кровлей, где хранился сантиметр; на ее рабочую шкатулку с выдвижной крышкой, на которой был изображен собор Св. Павла (с розовым куполом); на палец с медным наперстком; смотрел на ее лицо, которое я считал восхитительным. Мне так хотелось спать, что я знал: если я хоть на секунду перестану все это видеть – я пропал.

– Пегготи! – неожиданно спросил я. – Ты была когда-нибудь замужем?

– Господи помилуй, мистер Дэви! – воскликнула Пегготи. – Что это вам пришло в голову говорить о замужестве?

При этом она так вздрогнула, что я и думать забыл о сне. Она перестала шить и смотрела на меня, держа в вытянутой руке иголку с ниткой.

– Но ты была когда-нибудь замужем, Пегготи? – повторил я. – Ты очень красивая, правда?

Конечно, я понимал, что красота Пегготи резко отличается от красоты моей матери, но, по моему мнению, она была в своем роде настоящей красавицей. В парадной гостиной стояла красная бархатная скамеечка для ног, на которой моя мать нарисовала букет. Цвет бархата нисколько не отличался

от цвета лица Пегготи. Скамеечка была мягкая, а Пегготи – жесткая, но это не имело никакого значения.

– Это я-то красивая, Дэви! – воскликнула Пегготи. – Господь с вами, дорогой мой! Но что это вам пришло в голову говорить о замужестве?

– Не знаю… Нельзя выйти замуж сразу за двоих, ведь правда, Пегготи?

– Конечно нельзя, – быстро и решительно ответила Пегготи.

– Но если вы вышли за кого-нибудь замуж и этот человек умер, тогда вы можете выйти за другого, правда, Пегготи?

– Можете, если хотите. Все зависит от того, какого вы мнения об этом, – сказала Пегготи.

– А ты какого мнения, Пегготи? – спросил я.

Я задал этот вопрос и посмотрел на нее с любопытством, потому что и она смотрела на меня с нескрываемым любопытством.

– Мое мнение такое, – после недолгого колебания сказала Пегготи, отводя взгляд и снова принимаясь за шитье, –

я сама никогда не была замужем, мистер Дэви, и замуж не собираюсь. Вот все, что я об этом знаю.

– Ты на меня не сердишься, правда, Пегготи? – помолчав минутку, спросил я.

Я и в самом деле подумал, что она рассердилась, – так сухо она отвечала. Но оказывается, я ошибся: она отложила в сторону чулок (это был ее собственный чулок) и, широко раскрыв объятия, обхватила руками мою кудрявую голову и крепко ее сжала. Я знаю, что она сжала ее крепко, потому что Пегготи была очень полная женщина и при малейшем резком движении от ее платья отскакивали сзади пуговицы. И я припоминаю, что две пуговицы отлетели, когда она меня обнимала.

– А теперь почитайте мне еще немного о крокиндилах, – сказала Пегготи, которая не совсем усвоила это слово. – Мне хочется еще о них послушать.

Я хорошенько не понимал, почему у Пегготи такой странный вид и почему она с такой охотой готова вернуться к крокодилам. Однако мы снова принялись за этих чудовищ, я окончательно разгулялся, и мы зарывали их яйца в песок, чтобы детеныши вылупливались на солнце; убегали от них, то и дело сворачивая в сторону, потому что они неуклюжи и не могут поворачиваться быстро; подражая туземцам, мы бросались за ними в воду и вонзали им в глотку заостренные палки; короче, мы прошли всю крокодилью науку. Во всяком случае, я прошел, но у меня остались сомнения касательно

Пегготи, которая то и дело в задумчивости задевала себе иглою щеки и нос и колола руки.

Мы покончили с крокодилами и перешли к аллигаторам, когда зазвонил колокольчик у садовой калитки. Мы бросились к двери; там стояла моя мать, показавшаяся мне красивее, чем когда бы то ни было, а с ней джентльмен с прекрасными черными волосами и бакенбардами, который в прошлое воскресенье провожал нас домой из церкви.

Когда моя мать остановилась на пороге, чтобы взять меня на руки и поцеловать, джентльмен сказал, что мальчуган пользуется более высокими привилегиями, чем любой монарх, или что-то в этом роде; я понимаю, что здесь мне на помощь приходят более поздние соображения.

– Что это значит? – спросил я его из-за плеча моей матери.

Он погладил меня по голове, но мне почему-то не понравился ни он сам, ни его низкий голос, и было досадно, что его рука, касаясь меня, коснется и моей матери, – так оно и случилось. Я изо всех сил оттолкнул руку.

– О Дэви! – с упреком воскликнула моя мать.

– Милый мальчик! – сказал джентльмен. – Меня не удивляет его привязанность.

Я никогда еще не видел такого чудесного румянца на лице моей матери. Она мягко пожурила меня за грубость и, прижимая меня к своей шали, повернулась, чтобы поблагодарить джентльмена, потрудившегося проводить ее до дому. При этом она протянула ему руку, и, когда он пожимал ее,

мне показалось, что она бросила взгляд на меня.

– Пожелаем друг другу спокойной ночи, мой славный мальчуган! – сказал джентльмен после того, как склонил голову – я это видел! – над маленькой перчаткой моей матери.

– Спокойной ночи! – сказал я.

– Так будем же добрыми друзьями! – со смехом сказал джентльмен. – Дай руку!

Моя правая рука была в руке матери, поэтому я протянул ему левую.

– Да ведь ты подаешь не ту руку, Дэви! – засмеялся джентльмен.

Мать хотела протянуть ему мою правую руку, но я решил, по упомянутой выше причине, не подавать ее и не подал. Я протянул ему левую, а он, ласково пожав ее, заявил, что я молодец, и ушел.

Вижу, как сейчас, – он идет по саду и, обернувшись в последний раз, пронизывает нас взглядом своих зловещих черных глаз, прежде чем захлопнулась дверь.

Пегготи, которая не проронила ни единого словечка и не шевельнула ни одним пальцем, медленно задвинула засовы, и мы все прошли в гостиную. Вместо того чтобы сесть в кресло у камина, моя мать, вопреки своему обыкновению, осталась в другом конце комнаты и тихонько что-то напевала.

– Надеюсь, вы приятно провели вечер, сударыня, – сказала Пегготи, стоя с подсвечником в руке посреди комнаты, неподвижная, как бочка.

– Благодарю вас, Пегготи, – весело отвечала моя мать, – я очень приятно провела вечер.

– Новое лицо. Это приятно, – пробормотала Пегготи.

– Да, очень приятно, – подтвердила моя мать.

Пегготи продолжала стоять посреди комнаты, моя мать снова начала напевать, а я заснул, но не так крепко, чтобы не слышать голосов, хотя и не понимал, о чем идет речь. Когда я очнулся от этой тревожной дремоты, оказалось, что Пегготи и моя мать обе в слезах и обе говорят.

– Только не такой, как этот. Он не понравился бы мистеру Копперфилду, – промолвила Пегготи. – Вот что я вам скажу и готова в том поклясться!

– Боже мой! – воскликнула моя мать. – Вы меня с ума сведете! Была ли еще на свете бедная девушка, с которой ее служанка обращалась бы так дурно, как со мной? Но почему я несправедлива сама к себе и называю себя девушкой? Разве я не была замужем, Пегготи?

– Богу известно, что были, сударыня! – отвечала Пегготи.

– Ну так как же вы смеете, – продолжала моя мать, – нет, я не хотела сказать: «Как вы смеете», Пегготи, но как хватило у вас духу расстраивать меня и говорить такие горькие слова, когда вы прекрасно знаете, что у меня здесь нет ни единого друга, к которому я могла бы обратиться?

– Потому-то я и говорю, что это вам не подходит, – возразила Пегготи. – Да! Это вам не подходит. Да! И никак не может подойти. Да!

Я подумал, что Пегготи сейчас швырнет на пол подсвечник, – столь энергически она им размахивала.

– Как можете вы так огорчать меня и быть такой несправедливой? – сказала моя мать, плача еще горше. – Как можете вы говорить так, словно все решено и покончено, Пегготи, когда я повторяю вам снова и снова, жестокая вы женщина, что ровно ничего не было, кроме самой обычной учтивости! Вы говорите о восхищении. Но что же мне делать? Или вы хотите, чтобы я сбрила волосы и выкрасила себе лицо в черный цвет, или обезобразила бы себя, обожглась, ошпарилась, или еще что-нибудь в этом роде? Думаю, вы бы этого хотели, Пегготи. Я думаю, вы бы обрадовались!

Мне показалось, что Пегготи приняла этот упрек близко к сердцу.

– А мой дорогой мальчик! – воскликнула моя мать, подходя к креслу, в котором я сидел, и ласково меня обнимая. – Мой родной маленький Дэви! Может быть, мне хотят намекнуть, что я мало люблю мое драгоценное сокровище, милого моего мальчика?

– Никто никогда и не заикался об этом, – сказала Пегготи.

– Вы заикались, Пегготи! – возразила моя мать. – И вы это знаете. Какой же еще можно сделать вывод из всего, что вы сказали, недобрая вы женщина, хотя вам известно не хуже, чем мне, что месяц назад я ради него не купила себе нового зонтика, а мой старый зеленый совсем протерся и бахрома обтрепалась? Вам это известно, Пегготи! Вы не мо-

жете отрицать. – Тут она ласково прижалась щекой к моей щеке. – Скажи, я плохая мама, Дэви? Нехорошая, злая, жестокая, дурная мама? Скажи, дитя мое, скажи «да», дорогой мой мальчик, и Пегготи будет любить тебя, а любовь Пегготи стоит куда больше, чем моя, Дэви. Я тебя совсем не люблю, правда?

Вот тут мы все трое заплакали. Кажется, я плакал громче всех, но все плакали непритворно. Я был в полном отчаянии и боюсь, что, оскорбленный в самых нежных своих чувствах, назвал Пегготи «свиньей». Помню, славная женщина была глубоко опечалена и, должно быть, осталась по этому случаю совсем без пуговиц, потому что раздался своего рода залп и эти снаряды отлетели, когда она, помирившись с моей матерью, опустилась на колени перед моим креслом и помирилась со мною.

Мы пошли спать в полном унынии. Рыдания долго мешали мне заснуть, а когда особенно сильный приступ рыданий едва ли не подбросил меня на постели, я увидел мать: она сидела на моей кроватке, склонившись надо мной. После этого я заснул в ее объятиях и спал крепко.

Не могу припомнить, когда я опять встретил этого джентльмена – то ли в следующее воскресенье, то ли прошло больше времени, прежде чем он появился снова. Я не стану утверждать, что в памяти моей точно сохранились даты. Но он опять был в церкви и потом шел с нами до дому. И он вошел в дом, чтобы взглянуть на прекрасную герань, стояв-

шую у нас в окне гостиной. Мне показалось, что он не обратил на нее особого внимания, но, собираясь уходить, он попросил мою мать дать ему один цветок. Она предложила ему выбрать самому, но он отказался – я не мог понять почему, – тогда она сорвала цветок и подала ему. Он сказал, что никогда, никогда не расстанется с ним, а я счел его попросту дураком, раз он не знает, что через день-два все лепестки осыплются.

Пегготи стала проводить с нами по вечерам меньше времени, чем раньше. Моя мать очень часто обращалась к ней за советом – казалось мне, чаще, чем обычно, – и мы трое оставались закадычными друзьями; однако в чем-то мы изменились, и нам было уже не так хорошо втроем. Иной раз я воображал, будто Пегготи недовольна тем, что моя мать надевает свои красивые платья, хранившиеся у нее в комоде, и слишком часто ходит в гости к соседке, но я не мог толком понять, в чем тут дело.

Мало-помалу я привык видеть джентльмена с черными бакенбардами. Нравился он мне не больше, чем в самом начале, и я испытывал все то же тревожное чувство ревности; если же были у меня для этого какие-нибудь основания, кроме инстинктивной детской неприязни и общих соображений, что мы с Пегготи можем позаботиться о моей матери без посторонней помощи, то, разумеется, не те основания, какие я мог бы найти, будь я постарше. Но ни о чем подобном я тогда не задумывался. Я мог кое-что подмечать, но

сплести из этих обрывков сеть и уловить в нее кого-нибудь было мне еще не по силам.

Однажды осенним утром я гулял с матерью в саду перед домом, когда появился верхом мистер Мэрдстон, – теперь я знал, как его зовут. Он остановил лошадь, чтобы приветствовать мою мать, сказал, что едет в Лоустофт повидаться с друзьями, прибывшими туда на яхте, и весело предложил посадить меня перед собой в седло, если я не прочь проехаться.

Воздух был такой чистый и мягкий, а лошади, храпевшей и рывшей копытами землю у садовой калитки, казалось, так нравилась мысль о прогулке, что мне очень захотелось поехать. Меня послали наверх к Пегготи принарядиться, а тем временем мистер Мэрдстон спешился и, перебросив через руку поводья, стал медленно прохаживаться взад и вперед по ту сторону живой изгороди из лесного шиповника, а моя мать медленно прохаживалась взад и вперед по эту сторону, чтобы составить ему компанию. Помню, Пегготи и я украдкой посмотрели на них из моего маленького окошка; помню, как они, прогуливаясь, внимательно разглядывали разделявший их шиповник и как Пегготи, которая была поистине в ангельском расположении духа, сразу рассердилась и принялась изо всех сил приглаживать мне волосы щеткой – совсем не в ту сторону.

Вскоре мистер Мэрдстон и я тронулись в путь; лошадь пустилась рысью по зеленой траве у обочины дороги. Он слегка придерживал меня одной рукой; непоседливым я не был, но

теперь, поместившись перед ним в седле, я не мог удержаться, чтобы не поворачивать голову и не заглядывать ему в лицо. Глаза у него были черные и пустые – не нахожу более подходящего слова, чтобы описать глаза, лишенные глубины, в которую можно заглянуть; в минуты рассеянности благодаря игре света они начинают слегка косить и как-то странно обезображиваются. Бросая на него взгляд, я несколько раз с благоговейным страхом наблюдал это явление и задавал себе вопрос: о чем он так сосредоточенно размышляет? Вблизи его волосы и бакенбарды были еще чернее и гуще, чем казалось мне раньше. Квадратная нижняя часть лица и черные точки на подбородке – следы густой черной бороды, которую он ежедневно тщательно брил, – напоминали мне ту восковую фигуру, какую с полгода назад привозили в наши края. Все это, а также правильно очерченные брови и бело-черно-коричневое лицо – будь проклято его лицо и память о нем! – заставляли меня, несмотря на мои дурные предчувствия, считать его очень красивым мужчиной. Не сомневаюсь, что красивым считала его и моя бедная мать.

Мы приехали в гостиницу на берегу моря, где два джентльмена, расположившись в отдельной комнате, курили сигары. Каждый из них развалился по крайней мере на четырех стульях, и были они одеты в широкие грубошерстные куртки. В углу лежали связанные в огромный узел пальто, морские плащи и флаг.

Когда мы вошли, оба неуклюже поднялись со стульев и

сказали:

– Здравствуйте, Мэрдстон! Мы уже боялись, что вы умерли.

– Еще нет, – сказал мистер Мэрдстон.

– А кто этот малыш? – спросил один из джентльменов, положив руку мне на плечо.

– Это Дэви, – ответил мистер Мэрдстон.

– Какой Дэви? – спросил джентльмен. – Дэви Джонс?

– Копперфилд, – ответил мистер Мэрдстон.

– Как? Обуза очаровательной миссис Копперфилд? – воскликнул джентльмен. – Хорошенькой вдовушки!

– Куиньон, пожалуйста, будьте осторожны, – сказал мистер Мэрдстон. – Кое-кто очень неглуп.

– Кто же это? – смеясь, спросил джентльмен.

Я с живостью поднял голову, желая узнать, о ком идет речь.

– Всего-навсего Брукс из Шеффилда, – сказал мистер Мэрдстон.

С облегчением я узнал, что это всего-навсего мистер Брукс из Шеффилда; сначала я, право же, подумал, что они говорят обо мне!

Вероятно, было что-то очень забавное в этом мистере Бруксе из Шеффилда, так как оба джентльмена расхохотались от души, и мистер Мэрдстон тоже очень развеселился. Посмеявшись, джентльмен, которого он назвал Куиньоном, спросил:

– А каково мнение Брукса из Шеффилда о затеваемом деле?

– Не думаю, чтобы в настоящее время Брукс был хорошо осведомлен о нем, но как будто он не особенно его одобряет, – ответил мистер Мэрдстон.

Снова раздался смех, а мистер Куиньон сказал, что позвонит и закажет хереса, чтобы выпить за здоровье Брукса. Он так и сделал, а когда принесли вино, налил мне немножко и, дав печенье, заставил встать и произнести: «За погибель Брукса из Шеффилда!» Тост был встречен громкими аплодисментами и таким хохотом, что я тоже засмеялся, после чего они снова захохотали. Короче говоря, нам было очень весело.

После этого мы гуляли по скалистому берегу, сидели на траве, смотрели в подзорную трубу – когда мне приставили ее к глазу, я ничего не мог разглядеть, но притворился, будто что-то вижу, – а затем вернулись в гостиницу к раннему обеду. Во время прогулки оба джентльмена непрерывно курили – судя по запаху их курток, я заключил, что, должно быть, они предаются этому занятию с того дня, как доставили им на дом куртки от портного. Надобно упомянуть о том, что мы побывали на борту яхты, где они все трое спустились в каюту и занялись какими-то бумагами. Заглянув в застекленный люк, я увидел, что они поглощены работой. Меня они оставили на это время в обществе очень славного человека с большой копной рыжих волос на голове и в ма-

ленькой глянцевитой шляпе; на его полосатой рубахе, или жилете, было написано поперек груди заглавными буквами: «Жаворонок». Я решил, что это его фамилия, а так как он живет на борту судна и у него нет двери, где бы он мог повесить табличку с фамилией, то он ее носит на груди; но когда я обратился к нему: «Мистер Жаворонок», он сказал, что так называется яхта.

В течение всего дня я замечал, что мистер Мэрдстон был солидней и молчаливей, чем два других джентльмена. Те были очень веселы и беззаботны. Они непринужденно шутили друг с другом, но редко обращались с шутками к нему. Мне казалось, что он более умен и сдержан и они питают к нему чувство, сходное с моим. Раза два я подметил, как мистер Куиньон во время разговора искоса посматривал на мистера Мэрдстона, словно желал убедиться, что тот не выражает неудовольствия, а один раз, когда мистер Пасснидж (другой джентльмен) особенно воодушевился, мистер Куиньон наступил ему на ногу и украдкой предостерег взглядом, указывая на мистера Мэрдстона, который был суров и молчалив. И я не припоминаю, чтобы в тот день мистер Мэрдстон хоть разок засмеялся – разве что посмеялся над Бруксом из Шеффилда, да и то была его собственная шутка.

Домой мы вернулись рано. Вечер был прекрасный, и моя мать снова стала гулять с мистером Мэрдстоном вдоль живой изгороди из шиповника, а меня отослали наверх пить чай. Когда он ушел, мать начала расспрашивать меня, как я

провел день, о чем говорили джентльмены и что делали. Я упомянул о том, что они сказали о ней, а она засмеялась и назвала их дерзкими людьми, болтавшими вздор, но я понял, что это доставило ей удовольствие. Я это понял не хуже, чем понимаю теперь. Я воспользовался случаем и спросил, знакома ли она с мистером Бруксом из Шеффилда, но она ответила отрицательно и предположила, что это какой-нибудь владелец фабрики ножей и вилок.

Могу ли я сказать о ее лице – столь изменившемся потом, как я припоминаю, и отмеченном печатью смерти, как знаю я теперь, – могу ли я сказать, что его уже нет, когда вижу его сейчас так же ясно, как любое лицо, на которое мне вздумается посмотреть на людной улице? Могу ли я сказать о ее девичьей красоте, что она исчезла и нет ее больше, если я, как и в тот вечер, чувствую сейчас на своей щеке ее дыхание? Могу ли я сказать, что мать моя изменилась, если в моей памяти она возвращается к жизни всегда в одном обличии? И если память эта, оставшаяся более верной ее нежной юности, чем верен был я или любой другой, по-прежнему хранит то, что лелеяла тогда?

Я вижу ее такой, какою была она, когда я после этого разговора отправился спать, а она пришла пожелать мне спокойной ночи. Она шаловливо опустилась на колени возле кровати, подперла подбородок руками и, смеясь, спросила:

– Так что же они сказали, Дэви? Повтори. Я не могу этому поверить.

– «Очаровательная»… – начал я.

Моя мать зажала мне рот, чтобы я замолчал.

– Нет, только не очаровательная! – смеясь, воскликнула она. – Они не могли сказать «очаровательная», Дэви. Я знаю, что не могли!

– Они сказали: «Очаровательная миссис Копперфилд», – твердо повторил я. – И «хорошенькая».

– Нет! Нет! Этого не могло быть. Только не хорошенькая! – перебила моя мать, снова касаясь пальцами моих губ.

– Сказали: «Хорошенькая». «Хорошенькая вдовушка».

– Какие глупые, дерзкие люди! – воскликнула мать, смеясь и закрывая лицо руками. – Какие смешные люди! Правда? Дэви, дорогой мой…

– Что, мама?

– Не рассказывай Пегготи. Пожалуй, она рассердится на них. Я сама ужасно сержусь на них, но мне бы хотелось, чтобы Пегготи не знала.

Конечно, я обещал. Мы еще и еще раз поцеловались, и я крепко заснул.

Теперь, по прошествии такого долгого времени, мне кажется, будто Пегготи на следующий же день сделала мне поразительное и необычайно заманчивое предложение, о котором я собираюсь рассказать; но, вероятно, это было месяца через два.

Однажды вечером мы снова сидели вдвоем с Пегготи (моей матери снова не было дома) в обществе чулка, сантимет-

ра, кусочка воска, шкатулки с собором Св. Павла на крышке и книги о крокодилах, как вдруг Пегготи, которая несколько раз посматривала на меня и раскрывала рот, словно собиралась заговорить, но, однако, не произносила ни слова, – я бы встревожился, если бы не думал, что она просто зевает, – Пегготи вкрадчивым тоном сказала:

– Мистер Дэви, вам не хотелось бы поехать со мной недели на две к моему брату в Ярмут? Это было бы чудесным развлечением, правда?

– А твой брат добрый, Пегготи? – предусмотрительно осведомился я.

– Ах какой добрый! – воздев руки, воскликнула Пегготи. – А потом, там море, лодки, корабли, и рыбаки, и морской берег, и Эм – он будет играть с вами…

Пегготи имела в виду своего племянника Хэма, о котором упоминалось в первой главе, но говорила она о нем так, словно он был глаголом из английской грамматики.

Я раскраснелся, слушая ее перечень увеселений, и отвечал, что это и в самом деле было бы чудесным развлечением, но что скажет мама?

– Да я бьюсь об заклад на гинею, что она нас отпустит, – сказала Пегготи, не спуская с меня глаз. – Если хотите, я спрошу ее, как только она вернется домой. Вот и все.

– Но что она будет делать без нас? – спросил я и положил локти на стол, чтобы обсудить этот вопрос. – Она не может остаться совсем одна.

Тут Пегготи начала вдруг разыскивать дырку на пятке чулка, но, должно быть, это была очень маленькая дырочка и ее не стоило штопать.

– Пегготи! Ведь не может же она остаться совсем одна?

– Господи помилуй! – воскликнула наконец Пегготи, снова подняв на меня глаза. – Да разве вы не знаете? Она будет гостить две недели у миссис Грейпер. А у миссис Грейпер соберется большое общество.

О, в таком случае я готов был ехать! Я с величайшим нетерпением ждал, когда моя мать вернется от миссис Грейпер (это и была наша соседка), чтобы удостовериться, разрешено ли нам будет привести в исполнение наш замечательный план. Моя мать, удивившаяся гораздо меньше, чем я ожидал, охотно приняла его, и в тот же вечер все было решено; условились, что она заплатит за мой стол и помещение.

Вскоре настал день отъезда. Срок был назначен такой короткий, что этот день настал скоро даже для меня, а я ожидал его с лихорадочным нетерпением и немного опасался, как бы землетрясение, или извержение вулкана, или какое-нибудь другое стихийное бедствие не помешали нашей поездке. Нам предстояло ехать с возчиком, который отправлялся в путь утром после завтрака. Я готов был отдать что угодно, только бы мне позволили одеться с вечера и лечь спать в шляпе и башмаках.

Хотя я говорю об этом веселым тоном, но и теперь волнуюсь, припоминая, с какой охотой собирался я покинуть дом,

где был так счастлив, и даже не подозревал, какая ждет меня утрата.

Когда повозка стояла у калитки и моя мать целовала меня, чувство любви и благодарности к ней и к старому дому, которого я никогда еще не покидал, заставило меня расплакаться, и я с радостью вспоминаю об этом. Мне приятно думать, что заплакала и моя мать и я почувствовал, как у моего сердца бьется ее сердце.

Я с радостью вспоминаю, что моя мать выбежала за калитку, когда возчик тронулся в путь, и приказала ему остановиться, чтобы она могла поцеловать меня еще раз. Я с радостью припоминаю, с какой горячею любовью приблизила она свое лицо к моему и поцеловала меня.

Когда мы покинули ее одну на дороге, к ней подошел мистер Мэрдстон и, по-видимому, стал упрекать ее за то, что она так взволнована. Я выглядывал из-под навеса повозки и недоумевал, какое ему до этого дело. Пегготи, которая тоже оглянулась назад, казалась не очень-то довольной, о чем свидетельствовало ее лицо, когда она повернулась ко мне.

Я сидел и долго смотрел на Пегготи, погрузившись в размышления: а что, если ей поручили бы потерять меня по дороге, как мальчика в сказке; удалось ли бы мне добраться до дому с помощью пуговиц, которые она теряла по пути?

Глава III
Перемена в моей жизни

Лошадь – мне думается, самая ленивая лошадь на свете, – опустив голову, еле передвигала ноги, словно ей было приятно томить ожиданием владельцев багажа, который лежал в повозке. Мне даже показалось, будто она явственно хихикала, размышляя об этом, но возчик сказал, что у нее кашель.

Возчик тоже норовил клюнуть носом, как и его лошадь, и наконец голова у него опустилась на грудь; он дремал и правил лошадью, а руки его покоились на коленях. Я говорю «правил», но мне пришло в голову, что повозка могла бы добраться до Ярмута и без него, – лошадь и одна отлично справлялась; что же касается до разговоров, то об этом он и не помышлял и только посвистывал.

На коленях у Пегготи была корзинка с припасами, которых хватило бы нам с избытком до самого Лондона, если бы мы решили отправиться туда в этой же самой повозке. Мы изрядно закусили и неплохо выспались. Пегготи спала, опершись подбородком на ручку корзинки и не переставая караулить ее даже во сне; и если бы я сам не услышал, то не поверил бы, что беззащитная женщина может так громко храпеть.

Мы так долго плутали по проселочным дорогам и так мно-

го потратили времени, чтобы доставить кровать в трактир или заехать еще куда-то, что я совсем выбился из сил и очень обрадовался, когда мы увидели Ярмут. Он показался мне мокрым, как губка; мой взор охватил унылое пространство за рекой, и я недоумевал, в самом ли деле Земля круглая, как утверждал мой учебник географии, раз одна ее часть может быть такой плоской. Впрочем, я рассудил, что Ярмут, возможно, находится на одном из полюсов, чем все дело и объясняется.

Когда мы подъехали к городу ближе и он представился нам в виде прямой линии, сливающейся с небом, я заметил Пегготи, что какой-нибудь холм или что-нибудь подобное могли бы его приукрасить и было бы куда приятнее, если бы земля резче отделялась от моря, а город и море не были так перемешаны, как сухари с водой. Но Пегготи заявила более энергически, чем обычно, что надо принимать вещи как они есть и она-де очень гордится своим прозвищем «Ярмутская копченая селедка».

Когда мы въехали в улицу (вид ее показался мне очень странным), когда на нас пахнуло запахом рыбы, дегтя, пакли и смолы и мы увидали снующих моряков и повозки, громыхающие по камням, я почувствовал, что был несправедлив к этому деловому городку, и сказал об этом Пегготи, которую очень порадовало мое восхищение, и она заявила, будто всем хорошо известно (должно быть, тем, кому повезло родиться «копчеными селедками»), что Ярмут, в общем, луч-

шее место на белом свете.

– А вот и мой Эм! Вырос так, что его и не узнать! – воскликнула Пегготи.

И в самом деле, он ждал нас у дверей трактира и, на правах старого знакомца, осведомился, как я поживаю. Поначалу я не признал его, потому что он не бывал у нас с того вечера, когда я появился на свет, и, естественно, у него было передо мной преимущество. Но наше знакомство стало более близким, пока он нес меня на спине домой. Это был крупный, крепкий парень шести футов росту, сильный и широкоплечий, но ухмыляющееся мальчишеское лицо и вьющиеся светлые волосы придавали ему застенчивый вид. На нем была парусиновая куртка и штаны из такой жесткой материи, что они могли стоять самостоятельно, не облекая ног. Носит ли он шляпу – этого нельзя было сказать с уверенностью, поскольку его голову, словно старый дом, прикрывал какой-то просмоленный лоскут.

Хэм тащил меня на спине, под мышкой он держал наш сундучок, другой сундучок несла Пегготи, и так мы пробирались какими-то проулками, устланными щепками и засыпанными песком, шли мимо газового завода, канатной фабрики, верфей, плотничьих, бондарных, конопатных, такелажных мастерских, кузниц и великого множества тому подобных заведений, пока не вышли на унылую пустошь, которую я уже видел издали, и тогда Хэм проговорил:

– А вот там наш дом, мистер Дэви.

Я стал глядеть по сторонам, озирая эту пустошь, смотрел и на море, и на речку вдали, но никакого дома найти не мог. Неподалеку виднелся темный баркас или какое-то другое судно, отслужившее свой век; оно лежало на суше, железная труба, прилаженная к нему в качестве дымохода, уютно дымила; но ничего другого, напоминавшего жилье, на мой взгляд, здесь не было.

– Это не там? Не тот корабль?

– Вот-вот, он самый, мистер Дэви, – ответил Хэм.

Если бы это был дворец Аладдина, яйцо птицы или что-нибудь подобное, едва ли я был бы больше прельщен романтической идеей там поселиться. Сбоку была прорублена восхитительная дверца, была здесь и крыша, и маленькие оконца, но самое большое очарование заключалось в том, что это был настоящий корабль, несчетное число раз бороздивший морские волны и отнюдь не предназначенный служить жильем на суше. Вот это меня и пленило. Если бы когда-нибудь он был построен для жилья, я счел бы его тесным, неудобным или расположенным слишком уединенно; но он, конечно, не был создан для такой цели и показался мне самым лучшим пристанищем.

Внутри он отличался чистотой и опрятностью. Был тут и стол, и голландские часы, и комод, а на комоде чайный поднос с изображенной на нем леди под зонтиком, гуляющей с воинственным на вид ребенком, катившим обруч. Поднос, дабы он не упал, подперли Библией; если бы поднос низверг-

ся, он вдребезги разбил бы чашки, блюдца и чайник, окружавшие Библию. На стенах висели незамысловатые цветные картинки, в рамках и под стеклом, на темы из Священного Писания; впоследствии всякий раз, видя такие картинки у разносчиков, я невольно сразу же вспоминал дом брата Пегготи. Авраам в красном одеянии, собирающийся принести в жертву Исаака в голубом, Даниил в желтом, ввергнутый в логово зеленых львов, особенно бросались в глаза. На небольшой каминной доске красовалось изображение люгера «Сара-Джейн», построенного в Сандерленде, с прилаженной к нему настоящей маленькой деревянной кормой, – произведение искусства, сочетавшее художественное мастерство со столярным ремеслом и казавшееся мне одной из самых привлекательных вещей на свете. В стропилах торчали крюки, назначение которых я не мог в то время угадать; и было там несколько сундучков, ящиков и тому подобных вещей, служивших для сидения и заменявших стулья.

Все это я охватил с первого взгляда, едва переступив порог, – что, по моей теории, свойственно детям, – а затем Пегготи открыла дверцу и показала мне мою спальню. Это была самая лучшая, самая миленькая спальня, какую только можно себе представить, – в корме судна – с оконцем в том месте, где прежде руль выходил наружу, с маленьким зеркалом, повешенным на высоте моих плеч и головы и обрамленным устричными ракушками, с небольшой кроватью – как раз по моему росту, а на столе в синем кувшине стоял букет мор-

ских водорослей. Выбеленные стены были белы как молоко, а стеганое лоскутное одеяло так пестро, что у меня зарябило в глазах. В этом замечательном доме я обратил особое внимание на запах рыбы, такой прилипчивый, что, когда я вытащил из кармана носовой платок, чтобы высморкаться, платок успел так пропахнуть, будто я завертывал в него омара. Когда я потихоньку поделился своим открытием с Пегготи, та сообщила, что ее брат промышляет омарами, крабами и лангустами; позднее я обнаружил, что целая куча этих тварей, перемешанных в беспорядке и норовящих ущипнуть все, что им удается захватить клешнями, обычно копошится в маленьком деревянном сарайчике, где стояли чаны и горшки.

Нас учтиво приветствовала женщина в белом переднике: ее реверансы я приметил еще за четверть мили до баркаса, сидя на спине у Хэма. Так же приветствовала нас и очаровательная крошка (во всяком случае, мне она показалась очаровательной) с голубыми бусами на шее; когда я спросил у нее, можно ли мне ее поцеловать, она убежала и где-то спряталась. После того как мы роскошно пообедали вареной камбалой с топленым маслом и картошкой – для меня была еще особо приготовлена котлета, – вошел человек с густыми длинными волосами и добродушным лицом. Так как он назвал Пегготи «моя девочка» и крепко поцеловал ее в щеку, я, зная, как строго соблюдает она правила приличия, догадался, что это ее брат. Он и в самом деле оказался ее братом

– мне представили его как мистера Пегготи, хозяина дома.

– Рад вас видеть, сэр, – сказал мистер Пегготи. – Мы, может, и грубоваты, сэр, но всегда к вашим услугам.

Я поблагодарил его и сказал, что мне будет очень хорошо в таком чудесном доме.

– Как поживает ваша матушка, сэр? – спросил мистер Пегготи. – Вы оставили ее в добром здравии?

Я сообщил мистеру Пегготи, что не могу пожаловаться на ее здоровье и что она передает ему привет, – это была ложь, к которой я прибег из вежливости.

– Очень ей признателен, – продолжал мистер Пегготи. – Значит, сэр, коли вы недельки две будете ладить с ней, – он кивнул в сторону сестры, – с Хэмом и малюткой Эмли, нам будет очень приятно…

Поддержав столь гостеприимным манером честь своего дома, мистер Пегготи отправился мыться; чайник с горячей водой уже ждал его, и, уходя, он заметил, что «его грязи холодная вода ни за что не смоет». Вскоре он вернулся, причем внешность его весьма выиграла, но вернулся столь багровым, что мне поневоле пришло в голову, не имеет ли его лицо нечто общее с омарами, крабами и раками, так как оно перед погружением в горячую воду было почти черным, а появилось оттуда совсем красным.

После чаепития, когда дверь заперли, а все окна плотно прикрыли (ночи были холодные и пасмурные), это убежище показалось мне самым привлекательным из всех, какие толь-

ко может нарисовать воображение. Слушать ветер, дующий с моря, знать, что туман расползается над пустынной равниной, глядеть на огонь камелька и думать о том, что поблизости нет ни одного дома, кроме нашего дома-корабля, – это было похоже на волшебную сказку. Малютка Эмли поборола свою робость и сидела рядом со мной на самом низеньком и маленьком сундучке, достаточно, однако, просторном для нас обоих и помещавшемся в углу у камелька. Миссис Пегготи в белом переднике вязала на спицах по другую сторону очага. Пегготи, со своим шитьем, собором Св. Павла и огарком восковой свечи, казалось, была у себя дома, словно никакой иной кров не был ей знаком. Хэм, только что преподавший мне первый урок игры во «все четыре», старался припомнить, как гадают на картах, и оставлял рыбный отпечаток большого пальца на каждой замусоленной карте. Мистер Пегготи сосал свою трубку. Мне показалось, что настала пора для доверительной беседы.

– Мистер Пегготи! – начал я.

– Да, сэр? – отозвался он.

– Вы назвали своего сына Хэмом потому, что живете вроде как бы в ковчеге?

Казалось, мистер Пегготи почел эту мысль глубокой, однако он ответил:

– Нет, сэр. Я никогда не давал ему никакого имени.

– Ну а кто же ему дал это имя? – задал я мистеру Пегготи второй вопрос по катехизису.

– Кто, сэр? Это имя дал ему отец, – сказал мистер Пегготи.

– Я думал, что вы его отец!

– Его отцом был мой брат Джо, – сказал мистер Пегготи.

– Он умер, мистер Пегготи? – почтительно помолчав, осведомился я.

– Утонул, – сказал мистер Пегготи.

Меня очень удивило, что мистер Пегготи не приходится отцом Хэму, и у меня мелькнула мысль, не ошибаюсь ли я касательно родственных отношений между ним и остальными членами семейства. Мне так не терпелось это узнать, что я решил попросить разъяснения у мистера Пегготи.

– Ну а малютка Эмли? – Тут я взглянул на нее. – Она ваша дочь, мистер Пегготи?

– Нет, сэр. Ее отцом был муж моей сестры, Том.

Я не мог удержаться и снова, после почтительной паузы, спросил:

– Он умер, мистер Пегготи?

– Утонул, – сказал мистер Пегготи.

Было нелегко продолжать разговор на эту тему, но я еще не все выяснил, и так или иначе надо было добраться до сути дела. Поэтому я спросил:

– А у вас есть дети, мистер Пегготи?

– Нет, мистер Дэвид, – отозвался он со смешком. – Я холостяк.

– Холостяк? – удивился я. – А кто же тогда она? – указал я на особу в переднике, которая вязала на спицах.

– Это миссис Гаммидж, – сообщил мистер Пегготи.

– Гаммидж, мистер Пегготи?

Но тут Пегготи – я разумею мою родную Пегготи – сделала мне такой явный знак воздержаться от дальнейших расспросов, что оставалось только сидеть и взирать на всю эту безмолвную компанию, пока не пришла пора идти спать. Здесь, в моей маленькой каюте, Пегготи сообщила мне, что Хэм и Эмли – сироты, племянник и племянница, которых мой хозяин усыновил, когда они остались без средств к существованию, а миссис Гаммидж – вдова его компаньона, владевшего вместе с ним баркасом и умершего в нищете. И он сам бедняк, – сказала Пегготи, – но сердце у него золотое, а надежен он, как сталь, – таковы были ее сравнения. Но есть один предмет – сообщила она, – который всегда вызывает у него буйное раздражение, и тут он даже начинает ругаться: упоминание о его великодушии; если кто-нибудь из них заговорит об этом, он бьет кулаком по столу (однажды он даже расколол его) и клянется страшной клятвой, что пусть его «разразит» на этом самом месте, если он не удерет, коли услышит об этом еще раз. Выяснилось также (после моих расспросов), что никто не имеет понятия, каково значение этого страшного глагола «разразит», но все почитают его самым торжественным заклятьем.

Я был растроган добротой моего хозяина и в самом благодушном настроении, усугубленном сонливостью, прислушивался, как женщины укладываются спать в такой же, как

моя, каморке в другом конце баркаса и как мистер Пегготи и Хэм подвешивают койки к тем самым крючьям, какие я заметил в стропилах. Погружаясь мало-помалу в дремоту, я слышал вой ветра, который с такой яростью мчался над равниной, что я стал опасаться, не разверзлась ли пучина морская. Но тут я вспомнил, что нахожусь на баркасе и, если что-нибудь случится, не худо иметь на борту человека, подобного мистеру Пегготи.

Впрочем, ничего не случилось, кроме того, что наступило утро. Как только засияло оно на устричных ракушках, обрамлявших мое зеркало, я уже был на ногах и вместе с Эмли отправился собирать камешки на берегу.

– Ты заправский моряк, верно? – обратился я к Эмли.

Не знаю, был ли я в том уверен, но я почитал необходимым сказать ей какую-нибудь любезность, а сверкающий парус неподалеку от нас отразился в этот момент в ее ясных глазах так красиво, что мне пришло в голову сказать именно это.

– Нет, – покачала головкой Эмли, – я боюсь моря.

– Боишься? – сказал я храбро, взирая с высокомерным видом на могучий океан. – А я не боюсь!

– Что ты! Но оно такое жестокое! Я вижу, как оно жестоко к нам. Я видела, как оно разбило судно, такое же большое, как наш дом…

– Надеюсь, это было не то судно, на котором…

– На котором потонул мой отец? – перебила Эмли. – Нет.

Не то. Того я никогда не видела.

– И отца тоже? – спросил я.

Малютка Эмли покачала головой:

– Не помню.

Какое совпадение! Я тотчас же сообщил, что никогда не видел своего отца и что мы с матерью всегда жили очень счастливо вдвоем и так же собираемся жить впредь, а что могила отца находится неподалеку от нашего дома на кладбище, осененная деревом, под которым я часто гулял и много раз слушал в ясное утро пение птичек. Но оказывается, сиротство Эмли не совсем походило на мое. Она лишилась матери раньше, чем отца, да к тому же никто не знал, где находится его могила, – знали только, что он покоится где-то на дне моря.

– И вот что еще, – сказала Эмли, разыскивая раковины и камешки, – твой отец – джентльмен, а мать – леди, а мой отец – рыбак, и мать – дочь рыбака, и мой дядя Дэн – рыбак.

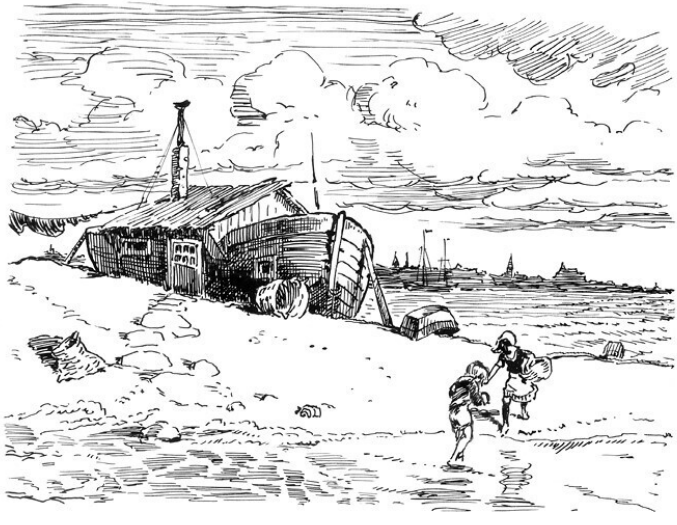
– Дэн – это мистер Пегготи? – спросил я.

– Дядя Дэн. Вон там, – кивнула Эмли, указывая на дом-баркас.

– Вот-вот. Я о нем и говорю. Должно быть, он очень хороший?

– Хороший? – переспросила Эмли. – Будь я леди, я подарила бы ему небесно-голубой сюртук с алмазными пуговицами, нанковые штаны, красный бархатный жилет, треуголку, большие золотые часы, серебряную трубку и ящик с деньга-

ми.



Я заявил, что, несомненно, мистер Пегготи вполне достоин этих сокровищ. Но должен сознаться, что мне было трудновато представить его в наряде, предназначенном для него благодарной маленькой племянницей; в особенности вызывала у меня сомнения треуголка; но об этом я умолчал.

Малютка Эмли притихла и подняла глаза к небу, словно перечисленные предметы предстали перед ней как прекрасное видение. Мы пошли дальше, собирая ракушки и камешки.

– Тебе хочется быть леди? – спросил я.

Эмли взглянула на меня, засмеялась и кивнула:

– Очень хочется. Тогда мы бы все стали леди и джентльменами. И я, и дядя, и Хэм, и миссис Гаммидж. Тогда бы мы не боялись бурной погоды. Не боялись бы за себя, я хочу сказать. Но конечно, за бедных рыбаков боялись бы и давали им деньги, когда им приходилось бы плохо.

Это показалось мне совершенно правильным, а стало быть, и не вполне невероятным. Подумав, я похвалил ее, и, приободренная этим, Эмли нерешительно спросила:

– Ты и теперь уверен, что не боишься моря?

Оно было достаточно спокойным, чтобы рассеять мои опасения, но я не сомневаюсь, что, покажись только волна, даже не слишком большая, – и я пустился бы наутек при страшном воспоминании об утонувших родственниках Эмли. Тем не менее я сказал «да» и добавил: «Но и ты, кажется, не боишься, хотя и говоришь совсем другое», так как она шла по самому краю старой деревянной дамбы и я опасался, что она сорвется.

– Я не боюсь, когда оно такое, – сказала малютка Эмли. – Но я просыпаюсь, когда поднимается ветер, и дрожу, когда думаю о дяде Дэне и о Хэме, и мне все чудится, что они зовут на помощь. Вот почему мне хочется быть леди. Но сейчас я не боюсь! Ничуть! Погляди!

Она побежала в сторону по неровным бревнам, тянувшимся от того места, где мы стояли, и наклонилась над пучиной, ничем не защищенная. Эта картина так запомнилась

мне, что, будь я рисовальщиком, я мог бы, думается, точно изобразить ее: малютка Эмли летит навстречу своей гибели (так мне тогда казалось), взгляд устремлен в открытое море, а выражения ее лица мне никогда не забыть.

Легкая, смелая, порхающая фигурка повернулась и прибежала ко мне целая и невредимая, и скоро я уже смеялся над моим страхом и над воплем, вырвавшимся у меня, – воплем бесцельным и бессмысленным, так как никого поблизости не было. Но с той поры не раз, в годы моей зрелости, не один, а много раз, размышляя о тайнах жизни, я думал и о том, что в неожиданном безрассудном поступке малютки и в ее безумном взгляде вдаль проявилось, быть может, некое благостное тяготение к опасности, какой-то соблазн уйти к покойному ее отцу – с его разрешения, дабы ее жизнь могла пресечься тогда же. С той поры нередко я думал о том, что, если бы предстоящая ей жизнь открылась мне сразу в тот момент, открылась, доступная моему детскому пониманию, и ее спасение зависело от одного только движения моей руки, я должен был бы удержаться от попытки спасти ее. С той поры не раз – я не скажу, в течение долгого времени, но тем не менее так было – я задавал себе вопрос, не лучше ли было бы для малютки Эмли, если бы в то утро волны сомкнулись над ее головой на моих глазах; и я отвечал: «Да».

Быть может, я предвосхищаю события. Может быть, я слишком рано пишу об этом. Но все равно, пусть будет так, как есть.

Бродили мы долго, нагрузились разными вещами, которые показались нам занимательными, бережно пускали назад в воду выброшенные на берег морские звезды – я и сейчас слишком мало знаю об их природе и не уверен, следовало ли им благодарить нас или как раз наоборот, – и наконец отправились домой, к мистеру Пегготи. Мы замешкались под сенью сарая с омарами, чтобы обменяться невинным поцелуем, и, бодрые и веселые, явились к утреннему завтраку.

«Как два молоденьких камышника», – сказал мистер Пегготи. Я знал, что на местном диалекте это означает: «Как два молоденьких дрозда», и принял его слова за комплимент.

Разумеется, я влюбился в малютку Эмли. И уверен, что моя любовь к этой крошке была такой же преданной, такой же нежной, но более чистой и самозабвенной, чем самая прекрасная любовь в моей последующей жизни, сколь бы эта любовь ни была высокой и облагораживающей. Я уверен, что мое воображение создавало вокруг этой голубоглазой малютки какой-то ореол, превращало ее в эфирное существо, в настоящего ангела. Если бы в какое-нибудь солнечное утро она раскрыла крылышки и на моих глазах упорхнула, я не думаю, чтобы это намного превзошло мои ожидания.

Мы гуляли по туманной древней равнине близ Ярмута, как влюбленные, целыми часами. Весело текли для нас дни, словно само Время еще не подросло, и оставалось ребенком, и всегда готово было играть. Я говорил Эмли, что обожаю ее и что, если она не признается в любви ко мне, я буду вы-

нужден заколоть себя шпагой. Она сказала, что тоже обожает меня, и я в этом не сомневался.

Что касается сознания неравенства, молодости или иных трудностей на нашем пути, малютка Эмли и я не задумывались над этим, так как о будущем не помышляли. О том, что мы станем взрослыми, мы думали ничуть не больше, чем о том, что можем стать еще моложе. Когда по вечерам мы нежно восседали рядышком на своем сундучке, миссис Гаммидж и Пегготи восхищались нами и перешептывались: «Господи, ну что за прелесть!» Мистер Пегготи ухмылялся, взирая на нас из-за своей трубки, а Хэм целый вечер только и делал, что скалил зубы от удовольствия. Мне кажется, они нами забавлялись, как могли бы забавляться красивой игрушкой или миниатюрной моделью Колизея.

Вскоре я пришел к заключению, что миссис Гаммидж не всегда бывает так любезна, как можно было бы ожидать, принимая во внимание, на каком положении она жила в доме мистера Пегготи. У миссис Гаммидж был характер раздражительный, и по временам она хныкала больше, чем могло прийтись по вкусу остальным обитателям такого маленького домика. Мне было очень жаль ее, но бывали минуты, когда я сетовал, что у миссис Гаммидж нет своего жилья, куда она могла бы удаляться, оставаясь там, пока ее расположение духа не улучшится.

Время от времени мистер Пегготи захаживал в трактир «Добро пожаловать». Об этом я узнал на второй или третий

день после нашего приезда, узнал от миссис Гаммидж, взглянувшей на голландские часы между восемью и девятью часами вечера и заявившей, что он находится именно там и, более того, что она знала еще утром о его намерении туда пойти.

Целый день миссис Гаммидж была в дурном расположении духа и разразилась слезами около полудня, когда очаг стал дымить.

– Я женщина одинокая, покинутая, и всё против меня! – вот что сказала миссис Гаммидж, когда случилось это неприятное происшествие.

– Ничего! Дым скоро выйдет, да к тому же и нам не лучше, чем тебе, – заметила Пегготи – я снова имею в виду нашу Пегготи.

– Я более чувствительна, – сказала миссис Гаммидж.

День был очень холодный, с резкими порывами ветра. Обычное место миссис Гаммидж у камелька было, как мне казалось, самое теплое и уютное, а стул – самый удобный, но в тот день ничто не приходилось ей по вкусу. Она жаловалась все время на холод и на каких-то «мурашек», бегавших у нее по спине. Наконец она пустила слезу по этому поводу и снова заявила, что она «женщина одинокая, покинутая и всё против нее».

– Очень холодно, это верно, – согласилась Пегготи. – Все это чувствуют.

– Я более чувствительна, чем другие, – проговорила мис-

сис Гаммидж.

Так было и за обедом; миссис Гаммидж получала свою порцию тотчас же после меня, а мне оказывали это предпочтение как почетному гостю. Рыба попалась мелкая и костистая, а картошка слегка пригорела. Все мы были не очень довольны, но миссис Гаммидж сообщила, что она более чувствительна, чем мы, снова пролила слезу и снова повторила с великим раздражением свою жалобу.

Итак, когда мистер Пегготи вернулся около девяти часов домой, эта злополучная миссис Гаммидж вязала на спицах в своем углу, пребывая в весьма мрачном состоянии. Пегготи весело работала. Хэм чинил пару огромных непромокаемых сапог, а я, сидя рядом с малюткой Эмли, читал им вслух. После чая миссис Гаммидж, не делая больше никаких замечаний, издавала только жалобные вздохи и ни разу не подняла глаз.

– Ну, как вы поживаете, друзья? – усаживаясь, осведомился мистер Пегготи.

Все мы ответили что-то или приветствовали его взглядом – все, за исключением миссис Гаммидж, которая только покачала головой над своим вязаньем.

– Что за беда стряслась? – спросил мистер Пегготи, хлопнув в ладоши. – Смотри веселей, мамаша! (Мистер Пегготи имел в виду старую вдову.)

Похоже было на то, что миссис Гаммидж не обнаруживает желания смотреть веселей. Она достала старый черный

шелковый платок и вытерла им глаза, но, вместо того чтобы спрятать его в карман, подержала в руках, снова вытерла глаза и продолжала держать его наготове.

– Что за беда стряслась, черт побери, миссис Гаммидж? – повторил мистер Пегготи.

– Никакой. Ты пришел из «Добро пожаловать», Дэниел?

– Вот-вот. Малость посидел сегодня вечерком в «Добро пожаловать», – сказал мистер Пегготи.

– Жаль, что я тебя туда загоняю, – сказала миссис Гаммидж.

– Загоняешь? Меня незачем загонять, – возразил мистер Пегготи и от души расхохотался. – Я хожу в трактир даже слишком охотно.

– Слишком охотно! – повторила миссис Гаммидж, покачивая головой и вытирая глаза. – Да-да, очень охотно. Жаль, что это из-за меня ты так охотно туда ходишь.

– Из-за тебя? Вовсе не из-за тебя. Неужто ты в самом деле так думаешь?

– Да, да, думаю! – воскликнула миссис Гаммидж. – Я знаю, кто я такая. Я знаю, что я женщина одинокая, покинутая и не только всё против меня, но и я всем стою поперек дороги. Да, да! Я более чувствительна, чем другие, и этого не скрываю. Это мое несчастье.

Я сидел, прислушивался и не мог не прийти к выводу, что это несчастье не только миссис Гаммидж, но и других членов семьи. Однако мистер Пегготи не привел такого возра-

жения, он снова обратился к миссис Гаммидж с увещанием «смотреть веселей».

– Я не такая, какой хотелось бы мне быть, – сказала миссис Гаммидж. – Совсем не такая. Я знаю, какая я. Мои невзгоды сделали меня непокладистой. Я чувствительна к моим невзгодам, а они делают меня непокладистой. Хотела бы я быть не такой чувствительной, но не могу. Я хочу привыкнуть к ним и не могу. Дома из-за меня неуютно. Я это понимаю. Целый день я надоедала и твоей сестре, и мистеру Дэви.

Тут я внезапно растрогался и закричал вне себя от волнения:

– Что вы, миссис Гаммидж, совсем нет!

– Нехорошо я поступаю, – продолжала миссис Гаммидж. – Неблагодарная я. Лучше мне уйти в работный дом и там умереть. Я женщина одинокая, покинутая, и лучше мне не стоять здесь всем поперек дороги. Если всё против меня и даже я сама против себя, то пусть уж лучше это будет в моем приходе. Дэниел, мне нужно бы уйти в работный дом и там умереть, и все избавятся от меня.

С этими словами миссис Гаммидж удалилась и легла спать. Когда она ушла, мистер Пегготи, который не проявлял никаких других чувств, кроме глубокого сострадания, окинул нас взглядом, покачал головой и все с тем же состраданием, освещавшим его лицо, прошептал:

– Это она думает о старике!

Я не совсем понимал, о каком старике думает миссис Гам-

мидж, пока Пегготи, укладывая меня спать, не объяснила, что речь идет о покойном мистере Гаммидже и что ее брат в подобных случаях считает такое объяснение непреложной истиной и всегда приходит в умиление. Немного погодя, когда он улегся в свою койку, я услышал, как он говорит Хэму:

– Бедняжка! Она думает о старике!

И когда бы на миссис Гаммидж ни находил такой стих (а за время нашего там пребывания это случалось несколько раз), мистер Пегготи всегда приводил тот же довод как смягчающее обстоятельство, и всегда с самым трогательным сочувствием.

Так прошли две недели, в однообразное течение которых только морские приливы и отливы вносили некоторое разнообразие, изменяя часы ухода и прихода мистера Пегготи, а также рабочие часы Хэма. Когда Хэм бывал свободен, он гулял с нами и показывал парусные и гребные суда, а один или два раза катал нас в шлюпке. Не знаю почему, но одни впечатления связаны с тем или иным местом больше, чем другие, хотя это бывает почти со всеми людьми, в особенности если речь идет о впечатлениях детства. И каждый раз, когда я слышу или читаю слово «Ярмут», в моей памяти возникает воскресное утро на берегу, звонят колокола, призывая в церковь, малютка Эмли прислонилась к моему плечу, Хэм лениво швыряет камешки в воду, а солнце высоко над морем только что пробилось сквозь густой туман, и перед нами предстают корабли, похожие на собственные свои тени.

Наконец наступил день отъезда. Я еще мирился с мыслью о разлуке с мистером Пегготи и миссис Гаммидж, но мучительно страдал, расставаясь с малюткой Эмли. Мы шли рука об руку к трактиру, где ждал возчик, и на пути туда я обещал ей писать. (Это обещание я исполнил – выводя буквы более крупные, чем те, какими обычно бывают написаны объявления о сдаче внаем квартир.) Прощаясь, мы были убиты горем, и если когда-нибудь я чувствовал в своем сердце зияющую пустоту, то это было в тот день.

Все время, покуда я там гостил, я не скучал по родному дому и думал о нем очень мало или вовсе не думал. Но мои мысли сразу же обратились к нему, как только чуткая детская совесть уверенным перстом указала мне этот путь, а уныние заставило еще сильнее почувствовать, что там мое родное гнездо и моя мать – мой друг и утешитель. Эти чувства овладели мною в дороге, и, по мере приближения к дому, чем более знакомыми становились места, мимо которых мы проезжали, тем сильней жаждал я добраться до дому и упасть в объятия матери. Однако Пегготи не только не разделяла моего волнения, но пыталась (впрочем, очень ласково) его сдержать и казалась смущенной и расстроенной.

Тем не менее бландерстонский «Грачовник» должен был появиться (как скоро – это зависело от желания лошади возчика) – и он появился. Я хорошо помню его в тот холодный серый день, под хмурым небом, угрожавшим дождем!

Дверь отворилась, и в радостном волнении, не то плача,

не то смеясь, я искал взглядом мать. Но это была не она, а незнакомая служанка.

– Пегготи! Разве она не вернулась домой? – воскликнул я горестно.

– Нет-нет, она вернулась. Подождите немного, мистер Дэви, и я… я вам кое-что расскажу… – ответила Пегготи.

Вылезая из повозки, Пегготи от волнения и по врожденной своей неловкости зацепилась и повисла, словно самой неожиданной формы гирлянда, но я был слишком огорчен и растерян и ничего ей не сказал. Спустившись наземь, она взяла меня за руку, повела в кухню и закрыла за собой дверь.

– Пегготи, что случилось? – спросил я, перепугавшись.

– Ничего не случилось, дорогой мистер Дэви, – ответила она, притворяясь веселой.

– Нет, нет, я знаю, что-то случилось! Где мама?

– Где мама, мистер Дэви? – повторила Пегготи.

– Да! Почему она не вышла мне навстречу и зачем мы здесь, Пегготи?

Слезы застлали мне глаза, и я почувствовал, что вот-вот упаду.

– Что с вами, мой мальчик? – воскликнула Пегготи, подхватывая меня. – Скажите, мой миленький!

– Неужели она тоже умерла? Пегготи, она не умерла?

Пегготи крикнула необычайно громко: «Нет!» – опустилась на стул, начала тяжело вздыхать и сказала, что я нанес ей тяжелый удар.

Я обнял ее, чтобы исцелить от удара или, быть может, нанести его в надлежащее место, затем остановился перед ней, тревожно в нее вглядываясь.

– Дорогой мой, – сказала Пегготи, – следовало бы сообщить вам об этом раньше, но не было удобного случая. Может быть, я должна была это сделать, но китагорически, – (на языке Пегготи это всегда означало «категорически»), – не могла собраться с духом.

– Ну говори же, Пегготи! – торопил я, пугаясь все более и более.

– Мистер Дэви, – задыхаясь, продолжала Пегготи, дрожащими руками снимая шляпку. – Ну как вам это понравится? У вас теперь есть папа.

Я вздрогнул и побледнел. Что-то – не знаю что и как, – какое-то губительное дуновение, связанное с могилой на кладбище и с появлением мертвеца, пронизало меня.

– Новый папа, – сказала Пегготи.

– Новый? – повторил я.

Пегготи с трудом открыла рот, словно проглотив что-то очень твердое, и, протянув мне руку, сказала:

– Пойдите поздоровайтесь с ним.

– Я не хочу его видеть.

– И с вашей мамой, – сказала Пегготи.

Я перестал упираться, и мы пошли прямо в парадную гостиную, где Пегготи меня покинула. По одну сторону камина сидела моя мать, по другую – мистер Мэрдстон. Моя мать

уронила рукоделие и поспешно – но, мне показалось, неуверенно – встала.

– Клара! Моя дорогая! Помните: сдерживайте себя! Всегда сдерживайте, – проговорил мистер Мэрдстон. – Ну, Дэви, как поживаешь?

Я подал ему руку. Поколебавшись одно мгновение, я подошел и поцеловал мать; она поцеловала меня, нежно погладила по плечу и, усевшись, снова принялась за работу. Я не мог смотреть на нее, не мог смотреть на него, я знал, что он глядит на нас обоих; и, повернувшись к окну, я стал смотреть на поникшие от холода кусты.

Как только я почувствовал, что мне можно уйти, я пробрался наверх. Моей старой милой спальни уже не было, и я должен был спать в другом конце дома. Я спустился вниз, чтобы найти хоть что-нибудь, оставшееся неизменным, – настолько, казалось мне, все стало другим, – и вышел во двор. Очень скоро я убежал, так как в доселе пустовавшей конуре обитал огромный пес с большущей пастью и с такой же черной шерстью, как *у него*. Мой вид разъярил пса, и он выскочил и бросился на меня.

Глава IV
Я впадаю в немилость

Если бы комната, куда переставили мою кровать, – хотел бы я знать, кто живет в ней теперь, – была существом разумным и способным давать показания, я призвал бы ее в свидетели того, с каким тяжелым сердцем отправился я спать в ту ночь. Взбираясь наверх по лестнице, я все время слышал за собой лай собаки во дворе; озирая комнату таким же печальным и чуждым взглядом, каким комната озирала меня, я сел, скрестив руки, и задумался.

Задумался я о самых странных вещах. О размере комнаты, о трещинах в потолке, об обоях на стене, о неровном стекле, сквозь которое ландшафт казался подернутым рябью, о расшатанном трехногом умывальнике, словно чем-то недовольном; он вызывал у меня в памяти миссис Гаммидж, когда она тосковала о «старике». Все это время я плакал, но почему я плачу – не думал, сознавая лишь, что мне грустно и холодно. И наконец мое отчаяние завершилось размышлениями о том, что я безумно влюблен в малютку Эмли и оторван от нее ради того, чтобы приехать сюда, где я, наверное, никому не нужен так, как нужен Эмли, и где никто не любит меня. Тут мое отчаяние стало совсем нестерпимым, я натянул на себя краешек одеяла и плакал, пока не заснул.

Меня разбудил чей-то голос: «Вот он!» – и с моей разгоряченной головы сняли одеяло. Это мать и Пегготи пришли ко мне, и кто-то из них откинул одеяло.

– Дэви, что случилось? – спросила моя мать.

Странным мне показался ее вопрос, и я ответил: «Ничего». Помню, я лег лицом вниз, чтобы скрыть дрожащие губы, которые могли бы дать более правдивый ответ.

– Дэви! Дэви, дитя мое! – сказала мать.

Не знаю, какое другое слово могло бы растрогать меня больше, чем этот возглас: «Дитя мое». Я уткнулся заплаканным лицом в одеяло и оттолкнул ее руку, когда она попыталась поднять меня.

– Это ваша вина, Пегготи, жестокая вы женщина! – сказала мать. – Мне это ясно. Как вам позволила совесть восстановить моего родного сына против меня или против того, кто мне дорог? Чего вы добивались, Пегготи?

Бедняжка Пегготи возвела глаза к небу, всплеснула руками и могла только ответить, перефразируя молитву, которую я всегда повторял после обеда:

– Да простит вам Бог, миссис Копперфилд, пусть никогда не придется вам пожалеть о том, что вы сейчас сказали!

– Есть от чего прийти в отчаяние! – воскликнула мать. – И это в мой медовый месяц, когда, кажется, даже злейший мой враг и тот смягчился бы и не захотел отнять у меня крупицу покоя и счастья! Дэви, злой мальчик! Пегготи, какая вы жестокая! О боже! – раздраженно и капризно восклица-

ла моя мать, поворачиваясь то ко мне, то к ней. – Сколько огорчений, и как раз тогда, когда можно было бы ждать одних только радостей!

Я почувствовал прикосновение руки, которая не могла быть рукой матери или Пегготи, и соскользнул с кровати. Это была рука мистера Мэрдстона, он положил ее на мою руку и произнес:

– Что это значит? Клара, любовь моя, вы забыли?.. Твердость, дорогая моя!..

– Простите, Эдуард, – проговорила моя мать. – Я хотела держать себя как можно лучше, но мне так неприятно…

– Неужели? Печально услышать это так скоро, Клара, – произнес мистер Мэрдстон.

– Я и говорю, что тяжело в такое время… – сказала моя мать, надувая губки. – Это… это очень тяжело… не правда ли?

Он привлек ее к себе, шепнул ей что-то на ухо и поцеловал. И когда я увидел голову моей матери, склонившуюся к его плечу, и ее руку, обвивавшую его шею, я понял, что он способен придать ее податливой натуре любую форму по своему желанию, – я знал это тогда не менее твердо, чем знаю теперь, после того как он этого добился.

– Идите вниз, любовь моя. Мы с Дэвидом придем вместе, – проговорил мистер Мэрдстон. – А вы, мой друг, – тут он обратился к Пегготи, проводив сначала мою мать улыбкой и кивками, – знаете ли вы, как зовут вашу хозяйку?

– Она уже давно моя хозяйка, сэр. Я должна бы знать, как ее зовут, – отвечала Пегготи.

– Совершенно верно. Но когда я поднимался по лестнице, мне послышалось, будто вы называете ее по фамилии, которая уже ей не принадлежит. Знайте, что она носит мою фамилию. Вы это запомните?

Пегготи в замешательстве взглянула на меня, присела и молча покинула комнату, понимая, мне кажется, что ее ухода ждут, а мешкать нет ни малейшего повода.

Когда мы остались вдвоем с мистером Мэрдстоном, он закрыл дверь, уселся на стул, поставил меня перед собой и пристально посмотрел мне в глаза. Я чувствовал, что смотрю ему в глаза не менее пристально. И когда я вспоминаю, как мы остались с ним лицом к лицу, сердце мое и теперь начинает колотиться в груди.

– Дэвид! – начал он, сжав губы и растянув рот в ниточку. – Если мне приходится иметь дело с упрямой лошадью или собакой, как, по-твоему, я поступаю?

– Не знаю.

– Я ее бью.

Я что-то беззвучно пробормотал и почувствовал, как у меня перехватило дыхание.

– Она у меня дрожит от боли. Я говорю себе: «Ну, с этой-то я справлюсь». И хотя бы мне пришлось выпустить всю кровь из ее жил, я все-таки добьюсь своего! Что это у тебя на лице?

– Грязь, – сказал я.

Мы оба знали, что это следы слез. Но если бы он повторил свой вопрос двадцать раз и при каждом вопросе наносил мне двадцать ударов, я уверен, мое детское сердце разорвалось бы, но другого ответа я бы не дал.

– Ты очень понятлив для своих лет, – продолжал он со своей обычной мрачной улыбкой, – и, вижу, ты очень хорошо понял меня. Умойтесь, сэр, и пойдем вниз.

Он указал на умывальник, напоминавший мне миссис Гаммидж, и кивком головы приказал немедленно повиноваться.

Я почти не сомневался, как не сомневаюсь и сейчас, что он сбил бы меня с ног без малейших угрызений совести, если бы я замешкался.

– Клара, дорогая, – начал он, когда я исполнил его требование и он привел меня в гостиную, причем его рука покоилась на моем плече, – Клара, дорогая, теперь, я надеюсь, все уладится. Скоро мы отучимся от наших детских капризов.

Видит Бог, что я отучился бы от них на всю жизнь и на всю жизнь, быть может, стал бы другим, услышь я в то время ласковое слово! Слово ободряющее, объясняющее, слово сострадания моему детскому неведению, слово приветствия от родного дома, заверяющее, что это *мой* родной дом, – такое слово родило бы в моем сердце истинную покорность мистеру Мэрдстону вместо лицемерной и могло бы внушить мне уважение к нему вместо ненависти. Кажется, моя мать была

огорчена, видя, как я стою посреди комнаты, такой испуганный, сам на себя непохожий, а когда я бочком пробирался к стулу какой-то скованной, несвойственной детям походкой, она следила за мной взглядом еще более печальным, но слово не было сказано, и все сроки для него миновали.

Мы пообедали одни – мы трое. Казалось, он был очень влюблен в мою мать – боюсь, что по этой причине он не стал мне более приятен, – и она была очень влюблена в него. Из их разговора я понял, что его старшая сестра поселится у нас и ее ждут сегодня вечером. Не знаю, тогда ли или позднее я узнал, что мистер Мэрдстон, не принимая сам участия в делах, был совладельцем либо просто получал ежегодно какую-то часть прибылей Лондонского торгового дома по продаже вин, с которым был связан еще его прадед, и из тех же доходов получала свою долю его сестра; упоминаю теперь об этом между прочим.

После обеда, когда мы сидели у камина и я помышлял о бегстве к Пегготи, но не решался ускользнуть, опасаясь нанести обиду хозяину дома, к садовой калитке подъехала карета, и мистер Мэрдстон вышел встретить гостя. Моя мать последовала за ним. Я неуверенно двинулся за нею, как вдруг она круто повернулась в дверях полутемной гостиной и, обняв меня, как бывало прежде, шепнула мне, чтобы я любил своего нового отца и слушался его. Сделала она это быстро, как бы тайком, словно совершала нечто запретное, но очень ласково, сжала мою руку и удерживала в своей, пока мы не

подошли к мистеру Мэрдстону, стоявшему в саду, после чего она отпустила мою руку и взяла под руку его.

Оказывается, это приехала мисс Мэрдстон, мрачная на вид леди, черноволосая, как ее брат, которого она напоминала и голосом, и лицом; брови у нее, почти сросшиеся над крупным носом, были такие густые, словно заменяли ей бакенбарды, которых, по вине своего пола, она была лишена. Она привезла с собой два внушительных твердых черных сундука со своими инициалами из твердых медных гвоздиков на крышках. Расплачиваясь с кучером, она достала деньги из твердого металлического кошелька, а кошелек, словно в тюремной камере, находился в сумке, которая висела у нее через плечо на тяжелой цепочке и защелкивалась, будто норовя укусить. Я никогда еще не видел такой металлической леди, как мисс Мэрдстон.

С чрезвычайным радушием ее провели в гостиную, и здесь она церемонно приветствовала мою мать как новую близкую родственницу. Затем она взглянула на меня и спросила:

– Это ваш мальчик, невестка?

Моя мать ответила утвердительно.

– Вообще говоря, я не люблю мальчиков, – сообщила мисс Мэрдстон. – Как поживаешь, мальчик?

После такого ободряющего вступления я ответил, что поживаю очень хорошо и надеюсь, что и она поживает очень хорошо; но сказал я это столь равнодушно, что мисс Мэрд-

стон расправилась со мной двумя словами:

– Плохо воспитан!

Произнеся эти слова очень отчетливо, она попросила указать ей ее комнату, которая с той поры стала для меня местом, наводящим страх и ужас; там стояли оба черных сундука, каковые я никогда не видел открытыми или оставленными не на запоре и где висели (я подглядел, когда хозяйки не было) в боевом порядке вокруг зеркала многочисленные стальные цепочки, надеваемые мисс Мэрдстон, когда она наряжалась.

Я выяснил, что она приехала к нам навсегда и вовсе не собиралась уезжать. На следующее утро она принялась «помогать» моей матери, весь день возилась в кладовой и перевернула все вверх дном, наводя там порядок. Чуть ли не сразу меня поразила в ней одна особенность: она была словно одержима подозрением, что служанки прячут где-то в доме мужчину. Пребывая в таком заблуждении, она совала нос в подвал для угля в самое неподходящее время и, открывая дверцы темного шкафа, почти всегда тотчас же захлопывала их в полной уверенности, что наконец-то она поймала *его*.

Хотя в мисс Мэрдстон не было ничего воздушного, но просыпалась она вместе с жаворонками. Она была на ногах (подстерегая неизвестного мужчину, как я и теперь убежден), когда все в доме еще спали. Пегготи полагала, что она и спит, оставляя один глаз открытым, но я не разделял ее мнения, так как, выслушав предположение Пегготи, попытался

это сделать и у меня ничего не вышло.

Уже на следующее утро она встала с петухами и тотчас же позвонила в колокольчик. Когда моя мать спустилась вниз к утреннему завтраку и собиралась заварить чай, мисс Мэрдстон клюнула ее в щеку – это означало поцелуй – и сказала:

– Вы знаете, дорогая Клара, я приехала сюда освободить вас по мере сил от хлопот. Вы слишком хорошенькая и беззаботная, – тут моя мать покраснела и засмеялась, как будто ей пришлось по вкусу такое мнение, – чтобы исполнять обязанности, которые я могу взять на себя. Если вы, моя дорогая, дадите мне ключи, я позабочусь обо всем сама.

С этой минуты мисс Мэрдстон держала ключи в своей сумочке-тюрьме днем и под подушкой ночью, а мать имела к ним не большее касательство, чем я.

Моя мать отнеслась к потере власти не без возражений. Однажды, когда мисс Мэрдстон развивала планы ведения домашнего хозяйства в беседе с братом, одобрившим их, моя мать вдруг расплакалась и сказала, что, по ее мнению, с ней могли бы посоветоваться.

– Клара! – строго произнес мистер Мэрдстон. – Клара, я удивляюсь вам.

– О! Хорошо вам говорить, Эдуард, что вы удивляетесь! – воскликнула моя мать. – И хорошо вам говорить о твердости, но, будь вы на моем месте, это не понравилось бы и вам.

Твердость, должен я заметить, была самым важным качеством, которым мистер и мисс Мэрдстон козыряли. Не знаю,

как бы я объяснил это слово в то время, если бы меня спросили, но, на свой лад, я понимал ясно, что оно означает тиранический, мрачный, высокомерный, дьявольский нрав, отличавший их обоих. Их символ веры, как сказал бы я теперь, был таков: мистер Мэрдстон – тверд; никто из окружающих его не смеет быть столь твердым, как мистер Мэрдстон; вокруг него вообще нет твердых людей, так как перед его твердостью должны преклоняться все. Исключение – мисс Мэрдстон. Она может быть твердой, но только по праву родства, она зависит от него и менее тверда, чем он. Моя мать – также исключение. Она может и должна быть твердой, но только покоряясь их твердости и твердо веря, что на белом свете другой твердости нет.

– Очень тяжело, что в моем доме… – начала моя мать.

– В *моем* доме? – перебил мистер Мэрдстон. – Клара!

– Я хочу сказать: в *нашем* доме! – поправилась моя мать, явно испугавшись. – Мне кажется, вы должны знать, что я хотела сказать, Эдуард. Очень, я говорю, тяжело, что в нашем доме я не могу сказать ни слова о домашнем хозяйстве. Право же, я хозяйничала очень хорошо до нашей свадьбы! Есть свидетели… – всхлипывала моя мать. – Спросите Пегготи… Разве я не справлялась с домашним хозяйством, когда в мои дела не вмешивались?

– Эдуард, прекратите это! – произнесла мисс Мэрдстон. – Завтра же я уезжаю.

– Джейн Мэрдстон! Помолчите! Можно подумать, что вы

плохо знаете мой характер, – сказал ее брат.

– Право же, я не хочу, чтобы кто-нибудь уезжал! – продолжала моя бедная мать, теряя почву под ногами и заливаясь горючими слезами. – Я буду чувствовать себя очень несчастной, если кто-нибудь уедет… Я не прошу многого. Я не безрассудна. Я только хочу, чтобы со мной иногда советовались. Я очень благодарна тем, кто мне помогает, я только хочу, чтобы со мной иногда советовались, хотя бы для виду. Прежде я думала, что моя молодость и неопытность нравятся вам, Эдуард. Я помню, вы это говорили… А теперь, мне кажется, вы меня за это ненавидите. Вы так суровы…

– Эдуард, прекратите это, – сказала мисс Мэрдстон. – Завтра я уезжаю.

– Джейн Мэрдстон! – загремел мистер Мэрдстон. – Вы будете молчать? Как вы осмелились?

Мисс Мэрдстон извлекла из тюрьмы носовой платок и поднесла его к глазам.

– Клара, вы меня удивляете, – продолжал мистер Мэрдстон, глядя на мою мать. – Вы меня поражаете! Да, меня радовала мысль о женитьбе на неопытной и простодушной особе, мысль о том, что я могу сформировать ее характер, придать ей немного твердости и решительности, чего ей так не хватало. Но когда Джейн Мэрдстон по доброте своей согласилась помочь мне в этом и, ради меня, принять на себя обязанности… скажу прямо… экономки, и когда ей хотят отплатить черной неблагодарностью…

– Эдуард! Прошу вас, прошу, не обвиняйте меня в неблагодарности! – вскричала моя мать. – Я не повинна в неблагодарности. И раньше никто меня этим не попрекал. У меня много недостатков, но этого нет! О, не говорите так, мой дорогой!

– Когда Джейн Мэрдстон, говорю я, – продолжал он, выждав, чтобы моя мать умолкла, – хотят отплатить черной неблагодарностью, мои чувства охладевают и изменяются.

– О, не надо так говорить, любовь моя! – жалобно умоляла моя мать. – Не надо, Эдуард! Я не могу это слышать. Какова бы я ни была, но сердце у меня любящее, я знаю. Я не говорила бы так, если бы не была уверена, что сердце у меня любящее. Спросите Пегготи! Я знаю, она вам скажет, что у меня любящее сердце.

– Никакая слабость не имеет в моих глазах оправдания. Но вы слишком волнуетесь, – сказал в ответ мистер Мэрдстон.

– Прошу вас, давайте жить дружно! – продолжала моя мать. – Я не могу вынести холодного и сурового обращения. Мне так горько! Я знаю, у меня много недостатков, и с вашей стороны очень хорошо, Эдуард, что вы, такой сильный, помогаете мне избавиться от них. Джейн, я ни в чем вам не перечу. Если вы решили уехать, это разобьет мне сердце…

Она не в силах была продолжать.

– Джейн Мэрдстон, – обратился мистер Мэрдстон к сестре, – нам несвойственно обмениваться резкими словами. Не

моя вина, что сегодня произошел столь необычайный случай. Меня на это вызвали. И не ваша вина. Вас также вызвали на это. Постараемся о нем забыть.

После таких великодушных слов он добавил:

– Но эта сцена не для детей. Дэвид, иди спать.

Я с трудом нашел дверь, так как глаза мои заволоклись слезами. Я глубоко страдал, видя горе матери. Вышел я ощупью, ощупью же пробрался в темноте к себе в комнату, даже не решившись зайти к Пегготи, чтобы пожелать ей доброй ночи или взять у нее свечу. Когда приблизительно через час Пегготи заглянула ко мне и ее приход разбудил меня, она сообщила, что моя мать ушла спать очень грустная, а мистер и мисс Мэрдстон остались одни.

Наутро, спустившись вниз раньше, чем обычно, я остановился перед дверью в гостиную, заслышав голос матери. Она униженно вымаливала у мисс Мэрдстон прощение и получила его, после чего воцарился полный мир. Впоследствии я никогда не слышал, чтобы моя мать выражала по какому-нибудь поводу свое мнение, не справившись предварительно о мнении мисс Мэрдстон или не установив сперва по каким-нибудь явным признакам, что думает та по сему поводу. И я видел, что моя мать приходила в ужас всякий раз, когда мисс Мэрдстон, пребывая в дурном расположении духа (в этом смысле она отнюдь не была твердой), протягивала руку к своей сумке, делая вид, будто собирается достать оттуда ключи и вручить их матери.

Мрачность, отравлявшая кровь Мэрдстонов, бросала тень и на их набожность, которая была суровой и злобной. Теперь мне кажется, что эти качества неизбежно вытекали из твердости мистера Мэрдстона, не допускавшего мысли, будто кто-нибудь может ускользнуть от самого жестокого возмездия, какое он почитал себя вправе измыслить. Как бы то ни было, но я хорошо помню наши испуганные лица, когда мы идем в церковь, помню, как изменилась для меня сама церковь. И снова и снова я вижу эти страшные воскресенья: я прохожу к нашей старой скамье первым, будто арестант под конвоем, которого привели на церковную службу для заключенных. Снова идет позади меня, почти вплотную, мисс Мэрдстон в черном бархатном платье, словно скроенном из нагробного покрова; вслед за ней моя мать; затем ее супруг. Пегготи нет с нами, как это бывало в прошлые времена. Снова я прислушиваюсь к мисс Мэрдстон, которая бормочет молитвы, с какой-то кровожадностью смакуя все грозные слова. Снова я вижу ее черные глаза, озирающие церковь, когда она произносит: «Несчастные грешники», как будто осыпает бранью всех прихожан. Снова я посматриваю изредка на мою мать, она робко шевелит губами, а справа и слева от нее те двое гудят ей в уши, будто гром рокочет вдали. Снова меня внезапно пронзает страх: что, если не прав наш добрый старый священник, а правы мистер и мисс Мэрдстон, и все ангелы небесные – ангелы разрушения? Снова, когда я пошевельну пальцем или ослаблю мускулы лица, мисс Мэрд-

стон пребольно тычет меня молитвенником в бок…

И снова я замечаю, как перешептываются соседи, глазея на мою мать и на меня, когда мы шествуем из церкви домой. Снова, когда те трое идут рука об руку, а я плетусь один позади, я ловлю эти взгляды и думаю: неужели и впрямь так сильно изменилась легкая походка матери и увяла радость на ее прекрасном лице? И снова я стараюсь угадать, не вспоминают ли, подобно мне, соседи о тех днях, когда мы возвращались с ней вдвоем домой; и я тупо размышляю об этом в течение целого дня – дня угрюмого и пасмурного.

Стали поговаривать, не отправить ли меня в пансион. Подали эту мысль мистер и мисс Мэрдстон, а моя мать, конечно, с ними согласилась. Однако ни к какому решению не пришли. И покуда я учился дома.

Забуду ли я когда-нибудь эти уроки? Считалось, что их дает мне мать, но в действительности моими наставниками были мистер Мэрдстон с сестрой, которые всегда присутствовали на этих занятиях и не упускали случая, чтобы не преподать матери урок этой пресловутой твердости – проклятья нашей жизни. Мне кажется, именно для этого меня и оставили дома. Я был понятлив и учился с охотой, когда мы жили с матерью вдвоем. Теперь мне смутно вспоминается, как я учился у нее на коленях азбуке. Когда я гляжу на жирные черные буквы букваря, их очертания кажутся мне и теперь такими же загадочно-незнакомыми, а округлые линии О, С, З такими же благодушными, как тогда. Они не вызы-

вают у меня ни вражды, ни отвращения. Наоборот, мне кажется, я иду по тропинке, усеянной цветами, к моей книге о крокодилах, и всю дорогу меня подбадривают ласки матери и ее мягкий голос. Но эти торжественные уроки, последовавшие за теми, прежними, я вспоминаю как смертельный удар, нанесенный моему покою, как горестную, тяжкую работу, как напасть. Они тянулись долго, их было много, и были они трудны – а некоторые и вовсе непонятны – и наводили на меня страх, такой же страх, какой, думается мне, наводили они и на мою мать.

Мне хочется припомнить, как все это происходило, и описать одно такое утро.

После завтрака я вхожу в маленькую гостиную с книгами, тетрадью и грифельной доской. Моя мать уже ждет меня за своим письменным столом, но совсем не так охотно, как мистер Мэрдстон в кресле у окна (хотя он делает вид, будто читает) или мисс Мэрдстон, которая восседает возле матери, нанизывая стальные бусы. Одно только присутствие их обоих оказывает на меня такое действие, что я чувствую, как уплывают неведомо куда все слова, которые я с превеликим трудом втиснул себе в голову. Кстати говоря, мне хочется узнать, куда же они деваются.

Я протягиваю матери первую книгу. Это грамматика, а быть может, история или география. Прежде чем оставить книгу в ее руках, я кидаю на страницу последний взгляд утопающего и сразу, галопом, начинаю отвечать урок, пока

страница еще свежа в памяти. Но вот я спотыкаюсь. Мистер Мэрдстон поднимает глаза. Я спотыкаюсь вторично. Поднимает глаза мисс Мэрдстон. Я краснею, перескакиваю через полудюжину слов и останавливаюсь. Я думаю, что мать показала бы мне книгу, если бы посмела, но она не смеет и только произносит тихо:

– О! Дэви, Дэви!..

– Клара, будьте тверды с мальчиком! – вмешивается мистер Мэрдстон. – Не говорите: «О! Дэви, Дэви!» Это ребячество. Он либо знает урок, либо не знает.

– Он его не знает, – грозно говорит мисс Мэрдстон.

– Боюсь, что так, – соглашается моя мать.

– В таком случае, Клара, верните ему книгу, и пусть он выучит! – продолжает мисс Мэрдстон.

– Да-да, конечно, дорогая Джейн, я так и хотела сделать… Дэви, начни сначала и не будь таким тупицей, – говорит моя мать.

Я подчиняюсь первому приказу и начинаю сначала, но что касается второго, то тут меня постигает неудача, ибо я ужасный тупица. Я спотыкаюсь еще раньше, чем в первый раз, спотыкаюсь на том самом месте, которое только что благополучно миновал, и замолкаю, чтобы подумать. Но думаю я не об уроке. Я думаю о том, сколько ярдов тюля пошло на чепец мисс Мэрдстон, сколько стоит халат мистера Мэрдстона, или о других подобных же нелепых вещах, к которым я не имею никакого отношения и не желаю иметь. Мистер Мэрдстон

делает нетерпеливый жест, которого я давно ждал. Так же поступает и мисс Мэрдстон. Моя мать смотрит на них покорно, закрывает книгу и кладет ее возле себя, словно это недоимка, по которой мне придется рассчитаться, когда я покончу с другими уроками.

Количество этих недоимок растет как снежный ком. Чем больше их становится, тем тупей становлюсь я. Дело безнадежное, я чувствую, что барахтаюсь в трясине чепухи и решительно не могу выкарабкаться, а потому покоряюсь судьбе. Есть нечто глубоко печальное в тех полных отчаяния взглядах, какими мы обмениваемся с матерью, когда я делаю все новые и новые ошибки. Но самый страшный момент этих злосчастных уроков наступает тогда, когда мать (полагая, будто ее не слышат) пытается, едва шевеля губами, подсказать мне. В это мгновение мисс Мэрдстон, давно уже подстерегавшая нас, произносит внушительно:

– Клара!

Мать вздрагивает, краснеет и слабо улыбается. Мистер Мэрдстон встает с кресла, хватает книгу и швыряет в меня или дает мне ею подзатыльник, а затем берет за плечи и выталкивает из комнаты.

Даже в том случае, если урок проходит благополучно, меня ждет самое худшее испытание в образе устрашающей арифметической задачи. Она придумана для меня и продиктована мне мистером Мэрдстоном: «Если я зайду в сырную лавку и куплю пять тысяч глостерских сыров по четыре с по-

ловиной пенса каждый и заплачу за них наличными деньгами…»

Тут я замечаю, как мисс Мэрдстон втайне ликует. Над этими сырами я ломаю себе голову без всякого толка и превращаюсь наконец в мулата, забив все поры лица грязью с моей грифельной доски; так продолжается до самого обеда, когда мне дают кусок хлеба, чтобы помочь мне справиться с моими сырами, и весь вечер я пребываю в немилости.

Теперь, по прошествии многих лет, мне кажется, будто все эти несчастные уроки обычно кончались именно так. Я готовил бы их превосходно, не будь Мэрдстонов. Но Мэрдстоны зачаровывали меня взглядом, словно две змеи – жалкую птичку. Даже тогда, когда утреннее испытание проходило благополучно, я достигал этим только того, что не оставался без обеда. Мисс Мэрдстон не могла видеть меня свободным от занятий, и, как только это случалось, она обращала на меня внимание своего братца и говорила:

– Клара, дорогая, нет ничего лучше работы, задайте вашему сыну какие-нибудь упражнения.

И меня снова засаживали за книгу.

Игр со сверстниками я почти не знал, так как мрачная теология Мэрдстонов превращала всех детей в маленьких ехидн (хотя был в далекие времена некий ребенок, которого окружали ученики!) и внушала, что они портят друг друга.

От такого обращения я через полгода, естественно, стал печален, мрачен и угрюм. Этому способствовало также и то,

что я чувствовал, как меня ежедневно отстраняют, оттесняют от матери. И мне кажется, я и в самом деле превратился бы в тупицу, если бы одно обстоятельство этому не помешало.

После моего отца осталось небольшое собрание книг, находившихся в комнате наверху, куда я имел доступ (она примыкала к моей комнате); никто из домашних никогда о них не вспоминал. Из этой драгоценной для меня комнатки вышли Родрик Рэндом, Перигрин Пикль, Хамфри Клинкер, Том Джонс, векфильдский священник, Дон Кихот, Жиль Блаз и Робинзон Крузо – славное воинство, составившее мне компанию. Они не давали потускнеть моей фантазии и моим надеждам на совсем иную жизнь в будущем, где-то в другом месте. Эти книги, так же как и «Тысяча и одна ночь» и «Сказки джиннов», не принесли мне вреда; если некоторые из них и могли причинить какое-то зло, то, во всяком случае, не мне, ибо я его просто не понимал. Теперь я удивляюсь, как ухитрялся я находить время для чтения, несмотря на то что корпел над своими тягостными уроками. Мне кажется странным, как мог я утешаться в своих маленьких горестях (для меня они были большими), воплощаясь в своих любимых героев, а мистера и мисс Мэрдстон превращая во всех злодеев. Я был Томом Джонсом в течение недели (Томом Джонсом в представлении ребенка – самым незлобивым существом) и целый месяц крепко верил в то, что я Родрик Рэндом. Я жадно проглотил стоявшие на полках несколько

книг о путешествиях – я забыл, какие это были книги; припоминаю, как в течение нескольких дней я ходил по дому, вооруженный бруском из старой стойки для сапожных колодок, – превосходное подобие капитана Королевского британского флота, который окружен дикарями и решил дорого продать свою жизнь. Но капитан никогда не терял своего достоинства, получая подзатыльники латинской грамматикой. Что до меня, то я его терял. Тем не менее капитан оставался капитаном и героем, невзирая на все грамматики всех языков в мире – живых и мертвых.

Эти книги были единственным и неизменным моим утешением. Когда я думаю об этом, передо мной всегда возникает картина летнего вечера, на кладбище играют мальчики, а я сижу у себя на постели и читаю с таким рвением, словно от этого зависит все мое будущее. Каждый амбар по соседству, каждый камень церкви и каждый уголок кладбища были связаны у меня с этими книгами и вызывали в памяти отдельные прославленные сцены. Я видел, как Том Пайпс взбирается на колокольню, я наблюдал, как Стрэп со своим мешком за плечами присаживается на изгородь отдохнуть, и я *знал*, что коммодор Траньон встречается с мистером Пиклем в зальце нашего деревенского трактирчика.

Теперь читатель столь же хорошо, как и я, представляет себе, кем я был в ту пору моего детства, к которой я снова возвращаюсь.

Однажды утром, когда я со своими книгами вошел в го-

стиную, моя мать была чем-то обеспокоена, мисс Мэрдстон казалась особенно твердой, а мистер Мэрдстон что-то привязывал к концу своей трости – тонкой, гибкой тросточки; когда я вошел, он замахнулся и рассек ею воздух.

– Говорю же вам, Клара, меня самого нередко секли, – произнес мистер Мэрдстон.

– Совершенно верно, – подтвердила мисс Мэрдстон.

– Вполне… возможно, дорогая Джейн, – робко пролепетала моя мать. – Но… вы думаете, это принесло пользу Эдуарду?

– А вы, Клара, думаете, что это принесло Эдуарду вред? – хмуро спросил мистер Мэрдстон.

– Вот-вот, в том-то и дело! – сказала мисс Мэрдстон.

Моя мать промолвила только: «Вы правы, дорогая Джейн» – и умолкла.

Я почувствовал, что этот разговор имеет прямое касательство ко мне, и поймал взгляд мистера Мэрдстона, устремленный на меня.

– Дэвид, сегодня ты должен быть более внимателен, чем всегда, – сказал мистер Мэрдстон, снова метнув в меня взгляд и снова рассекая тросточкой воздух; затем, закончив свои приготовления, положил ее около себя с многозначительным видом и взялся за книжку.

Это было недурное начало и недурное средство подбодрить меня. Я почувствовал, как мой урок улетучивается из головы – не одно слово за другим и не строчка за строчкой, а

вся страница сразу, целиком. Я попытался поймать слова, но казалось, если можно так выразиться, они скользили прочь от меня на коньках, плавно и быстро, и задержать их было невозможно.

Плохое было начало, а дальше пошло еще хуже. Я явился с намерением отличиться, уверенный в том, что сегодня выучил урок превосходно, но, увы, я заблуждался. Груда отложенных в сторону учебников все росла, возвещая о моих ошибках, а мисс Мэрдстон не сводила с нас глаз. И когда в конце концов мы пришли к пяти тысячам сыров (помню, в тот день он заменил их палками), моя мать залилась слезами.

– Клара! – предостерегла мисс Мэрдстон.

– Мне что-то нездоровится, дорогая Джейн, – отозвалась моя мать.

Я увидел, как *он* важно подмигнул сестре, встал и, взяв трость, сказал:

– Едва ли, Джейн, можно ожидать, что Клара с достойной твердостью вынесет терзания и мучения, которые причинил ей сегодня Дэвид. Это было бы стоицизмом. Клара весьма укрепилась и сделала успехи, но едва ли можно ждать от нее так много. Мы пойдем с тобой наверх, Дэвид.

Когда он уводил меня из комнаты, мать рванулась к нам. Мисс Мэрдстон сказала:

– Клара, вы с ума сошли! – и удержала ее.

Мать заткнула уши и заплакала.

Он вел меня наверх в мою комнату медленно и важно –

я уверен, ему доставлял удовольствие этот торжественный марш правосудия, – и, когда мы там очутились, внезапно зажал под мышкой мою голову.

– Мистер Мэрдстон! Сэр! – закричал я. – Не надо! Пожалуйста, не бейте меня! Я так старался, сэр! Но я не могу отвечать уроки при вас и мисс Мэрдстон! Не могу!

– Не можешь, Дэвид? Ну, мы попробуем вот это средство.

Он зажимал рукой мою голову, словно в тисках, но я обхватил его обеими руками и помешал ему нанести удар, умоляя его не бить меня. Помешал я только на мгновение, через секунду он больно ударил меня, и в тот же момент я вцепился зубами в руку, которой он держал меня, и прокусил ее. До сих пор меня всего передергивает, когда я вспоминаю об этом.

Он сек меня так, будто хотел засечь до смерти. Несмотря на шум, который мы подняли, я услышал, как кто-то быстро взбежал по лестнице – то были моя мать и Пегготи, – и я слышал, как мать закричала. Затем он ушел и запер дверь на ключ. А я лежал на полу, дрожа как в лихорадке, истерзанный, избитый и беспомощный в своем исступлении.

Как ясно помню я, какая странная тишина царила во всем доме, когда постепенно я пришел в себя! Как ясно вспоминаю, каким преступником почувствовал я себя, когда ярость и боль чуть-чуть утихли!

Я сел и долго прислушивался, но не было слышно ни звука. С трудом я поднялся с пола и увидел в зеркале свое лицо,

такое красное, опухшее и безобразное, что я ужаснулся. Боль во всем теле, когда я двигался, была мучительна, и я заплакал снова. Но эта боль была ничто по сравнению с сознанием моей вины. Оно тяготило мое сердце больше, чем если бы я был самым страшным преступником.

Начинало темнеть, я закрыл окно (почти все время я лежал, припав головой к подоконнику, то плача, то задремывая или тупо глядя в окно), как вдруг в двери щелкнул ключ и появилась мисс Мэрдстон с хлебом, молоком и мясом. Молча поставив все это на стол и взглянув на меня с примерной твердостью, она ретировалась, и снова в двери щелкнул ключ.

Долго я сидел, после того как спустились сумерки, и гадал, придет ли кто-нибудь еще. Когда ждать было уже нечего, я разделся и лег в постель; и тут я со страхом подумал о том, что сделают со мной. Является ли преступлением совершенный мной поступок? Арестуют ли меня и заключат ли в тюрьму? Не угрожает ли мне опасность попасть на виселицу?

Никогда не забуду своего пробуждения на следующее утро, бодрого и радостного расположения духа, уже в следующий момент изменившегося под гнетом горестных, тяжелых воспоминаний. Не успел я встать, как появилась мисс Мэрдстон, коротко сказала, что я могу полчаса, но не дольше, походить по саду, и удалилась, не заперев двери, чтобы я мог воспользоваться этим разрешением.

Я так и сделал и поступал так каждое утро в течение пяти дней, пока пребывал в заключении. Если бы я увидел мою мать одну, я бросился бы перед ней на колени, умоляя простить меня, но в течение всего этого времени я не видел никого, кроме мисс Мэрдстон; правда, мисс Мэрдстон приводила меня на вечернюю молитву в гостиную, когда все были уже в сборе, но там я стоял одиноко, как юный изгой, у двери, и мой тюремщик торжественно уводил меня, покуда никто еще не поднимался с колен. Я замечал только, что моя мать стоит как можно дальше от меня и смотрит в другую сторону, так что лица ее я не мог видеть, а у мистера Мэрдстона рука обвязана широким полотняным платком.

Как долго длились эти пять дней, я не могу передать. В моих воспоминаниях они мне кажутся годами. Вот я прислушиваюсь ко всему, что происходит в доме, ко всему, что доносится до меня: позвякивают колокольчики, открываются и закрываются двери, слышатся голоса, шаги на лестнице, смех, посвистывание и пение за окном (они кажутся мне особенно невыносимыми в моем позорном заточении), неуловимое скольжение часов, особенно в темноте, когда, просыпаясь, я принимал вечер за утро, а потом убеждался, что домашние еще не ложились спать и меня еще ждет длинная-длинная ночь, печальные сновидения и кошмары… Снова утро, полдень и вечер, мальчики играют на церковном дворе, а я слежу за ними из комнаты, стараясь не подходить близко к окну, чтобы они не узнали о моем заточе-

нии… Непривычное сознание, что я не слышу собственного голоса… Короткие промежутки, когда я почти бодр, – ощущение это приходит за едой, но вот с ней покончено, и снова нет бодрости… Дождь однажды вечером, дождь, несущий свежие ароматы; он льет все сильней и сильней, между моим окном и церковью, и наконец, вместе с наступающей ночью, словно обволакивает меня унынием, страхом и раскаянием, – все это, кажется мне, длилось не дни, а годы – так глубоко врезалось оно мне в память.

В последнюю ночь моего заключения меня разбудил шепот – кто-то окликал меня по имени. Я вскочил с постели и, протягивая в темноте руки, сказал:

– Пегготи, это ты?

Ответа не было, но скоро я снова услышал свое имя, произнесенное таким таинственным и страшным шепотом, что со мной сделался бы припадок, если бы у меня не мелькнула догадка – не доносится ли шепот из замочной скважины.

Я пошел ощупью к двери и, приникнув к замочной скважине, прошептал:

– Пегготи, милая, это ты?

– Я, мой дорогой Дэви! Но тише, тише, будьте как мышка, а то кошка услышит! – ответила она.

Она имела в виду мисс Мэрдстон, и я понял, сколь основательны ее опасения: комната мисс Мэрдстон была смежная с моей.

– Что с мамой, милая Пегготи? Она очень на меня сер-

дится?

Мне было слышно, как Пегготи беззвучно заплакала по ту сторону двери, а я плакал по эту сторону, пока не услышал:

– Нет, не очень.

– Милая Пегготи, что со мной сделают? Ты не знаешь?

– Школа. Недалеко от Лондона, – был ответ Пегготи.

Я попросил ее повторить, так как позабыл приложить ухо и отнять губы от замочной скважины, и в первый раз она говорила прямо мне в рот, и потому слова щекотали мне губы, но я не расслышал их.

– Когда, Пегготи?

– Завтра.

– Так вот почему мисс Мэрдстон достала мой костюм из комода!

Она именно так и сделала, но я забыл упомянуть об этом.

– Да, – сказала Пегготи, – уложила в сундучок.

– Я увижусь с мамой?

– Да. Завтра.

Затем Пегготи вплотную прижала губы к замочной скважине и с горячностью, с нежностью, к которой замочные скважины, смею думать, не были привычны, произнесла следующие фразы, разбив их на части, которые судорожно проскакивали одна за другой:

– Дэви, дорогой! Если я не была ласкова с вами… как бывало раньше… это не потому, что я вас не люблю… так же, и даже больше, мой маленький… это потому, что так лучше

для вас… и еще кое для кого… Дэви, дорогой, вы меня слушаете? Вы слышите?..

– Да-а-а, Пегготи! – всхлипывал я.

– Сокровище мое! – продолжала Пегготи с бесконечной жалостью. – Вот что я хотела сказать… никогда не забывайте меня… Я вас никогда не забуду… и я буду очень заботиться о вашей маме… как заботилась о вас… и я не покину ее… может, наступит день, когда ей снова захочется приклонить свою бедную головку… к плечу глупой Пегготи… и я буду писать вам, дорогой… хоть я и неученая… и я… и я…

И Пегготи, не имея возможности поцеловать меня, принялась целовать замочную скважину.

– О, спасибо, дорогая Пегготи! Спасибо, спасибо! Ты обещаешь мне одну вещь? Ты напишешь мистеру Пегготи, и малютке Эмли, и миссис Гаммидж, и Хэму, что я совсем не такой плохой, как им может показаться? И что я посылаю им самый нежный привет, в особенности малютке Эмли… Ты напишешь, Пегготи?

Добрая душа обещала мне это, мы оба горячо поцеловали замочную скважину – помню, я погладил ее рукой, словно это было милое лицо Пегготи, – и мы расстались. С той ночи в моей душе зародилось новое чувство к Пегготи, которое мне трудно определить. Нет, она не заменила мне мать, этого никто не смог бы сделать, но она заполнила пустоту в моем сердце, и во мне возникло такое чувство к ней, которого я не испытывал ни к одному человеческому существу. Было

что-то забавное в этой привязанности к ней, и, однако, умри Пегготи – я не знаю, как бы я вел себя и какой трагедией это бы для меня было.

Поутру мисс Мэрдстон появилась как обычно и сказала, что я отправляюсь в школу (что уже не было для меня новостью, как она полагала). Она сообщила также, что, одевшись, я должен спуститься в гостиную и позавтракать. Там я застал мою мать, очень бледную, с покрасневшими глазами; я упал в ее объятия и от всего исстрадавшегося моего сердца умолял простить меня.

– О Дэви! – сказала она. – Как ты мог причинить боль тому, кого я люблю! Старайся исправиться, молись, чтобы исправиться! Я тебя прощаю, но мне так горько, Дэви, что у тебя в сердце таятся такие недобрые чувства.

Они убедили ее в том, что я никуда не годный мальчишка, и это ее печалило больше, чем мой отъезд. Я с горечью это почувствовал. Я старался проглотить свой прощальный завтрак, но слезы капали на бутерброд и струились в чашку с чаем. Я видел, как моя мать время от времени посматривает на меня, затем, бросив взгляд на бдительную мисс Мэрдстон, опускает глаза или отворачивается.

– Сундучок мистера Копперфилда! – распорядилась мисс Мэрдстон, когда у калитки послышался стук колес.

Я искал взглядом Пегготи, но это была не она; ни Пегготи, ни мистер Мэрдстон не появлялись. В дверях стоял возчик, мой старый знакомый; принесли сундучок и поставили

в повозку.

– Клара! – произнесла мисс Мэрдстон предостерегающим тоном.

– Сейчас, милая Джейн! – ответила мать. – До свиданья, Дэви. Ты уезжаешь, но это для твоей же пользы. До свиданья, дитя мое. Ты будешь приезжать домой на каникулы. Постарайся исправиться.

– Клара! – повторила мисс Мэрдстон.

– Да, да, милая Джейн! – отозвалась мать, обнимая меня. – Я прощаю тебя, мой мальчик. Да благословит тебя Бог!

– Клара! – снова повторила мисс Мэрдстон.

Мисс Мэрдстон любезно вызвалась проводить меня до повозки и по дороге выразила надежду, что я раскаюсь и избегну плохого конца; затем я взобрался в повозку, и лошадь лениво тронулась в путь.

Глава V
Меня отсылают из родного дома

Мы проехали, быть может, около полумили, и мой носовой платок промок насквозь, когда возчик вдруг остановил лошадь.

Выглянув, чтобы узнать причину остановки, я, к изумлению своему, увидел Пегготи, которая выбежала из-за живой изгороди и уже карабкалась в повозку. Она обхватила меня обеими руками и с такой силой прижала к своему корсету, что очень больно придавила мне нос, хотя я заметил это гораздо позднее, обнаружив, каким он стал чувствительным. Ни единого слова не сказала Пегготи. Освободив одну руку, она погрузила ее по локоть в карман и извлекла оттуда несколько бумажных мешочков с пирожными, которые рассовала по моим карманам, а также и кошелек, который сунула мне в руку, но ни единого слова не сказала она. Еще раз, в последний раз обхватив меня обеими руками, она вылезла из повозки и побежала прочь; и я убежден теперь, и всегда придерживался такого мнения, что у нее не осталось ни одной пуговицы на платье. Одну из тех, что отлетели, я подобрал и долго хранил как память о ней.

Возчик посмотрел на меня, словно спрашивая, вернется ли она. Я покачал головой и сказал, что вряд ли.

– Ну так пошла! – обратился возчик к своей ленивой лошади, и та пошла.

Выплакав все свои слезы, я стал подумывать, стоит ли плакать еще, тем более что, насколько я мог припомнить, ни Родрик Рэндом, ни капитан Королевского британского флота, попав в тяжелое положение, никогда не плакали. Возчик, видя, что я утвердился в этом решении, предложил расстелить мой носовой платочек на спине лошади, чтобы он просох. Я поблагодарил и согласился, и каким маленьким показался он тогда!

Теперь я мог на досуге рассмотреть кошелек. Это был кошелек из толстой кожи, с застежкой, а в нем лежали три блестящих шиллинга, которые Пегготи, очевидно, начистила мелом для вящего моего удовольствия. Но в этом кошельке была еще бо`льшая драгоценность: две полукроны, завернутые в бумажку, на которой было написано рукою моей матери: «Для Дэви. С любовью». Я пришел в такое волнение, что спросил возчика, не будет ли он так любезен и не достанет ли мой носовой платок, но он сказал, что лучше мне обойтись без него, и я решил, что, пожалуй, это так; поэтому я вытер глаза рукавом и перестал плакать.

Да, перестал; впрочем, после недавних потрясений я все еще изредка громко всхлипывал. Мы протрусили рысцой еще некоторое время, и я спросил возчика, будет ли он везти меня всю дорогу.

– Всю дорогу куда? – осведомился возчик.

– Туда! – сказал я.

– Куда – туда? – спросил возчик.

– Туда, недалеко от Лондона, – объяснил я.

– Да ведь эта лошадь… – тут возчик дернул вожжой, чтобы указать мне, какая именно, – эта лошадь свалится, как околевшая свинья, раньше, чем мы проедем полпути.

– Значит, вы едете только до Ярмута? – спросил я.

– Правильно, – сказал возчик. – А там я вас доставлю к почтовой карете, а почтовая карета доставит вас туда… куда понадобится…

Так как для возчика (звали его мистер Баркис) это была длинная речь – я уже заметил в одной из предшествующих глав, что он был темперамента флегматического и отнюдь не словоохотлив, – я предложил ему, в знак внимания, пирожное, которое он проглотил целиком, точь-в-точь как слон, и его широкая физиономия осталась такой же невозмутимой, какою была бы в подобных обстоятельствах физиономия слона.

– Это она их делала? – спросил мистер Баркис, ссутулившийся на передке повозки и упершийся локтями в колени.

– Вы говорите о Пегготи, сэр?

– Вот-вот. О ней, – сказал мистер Баркис.

– Да, она делает всякие пирожные и все для нас готовит.

– Да ну? – вымолвил мистер Баркис.

Он выпятил губы так, будто собирался свистнуть, однако не свистнул. Он сидел и смотрел на уши лошади, словно уви-

дел там что-то до сей поры невиданное; так сидел он довольно долго. Затем он спросил:

– А любимчиков нет?

– Вы говорите о блинчиках, мистер Баркис? – Я решил, что он не прочь закусить и явно намекает на это лакомство.

– Любимчиков, – повторил мистер Баркис. – Она ни с кем не гуляет?

– Кто? Пегготи?

– Да. Она.

– О нет! У нее никогда не было никаких любимчиков.

– Вот оно как! – сказал мистер Баркис.

Снова он выпятил губы так, как будто собирался свистнуть, и снова не свистнул, но по-прежнему смотрел на уши лошади.

– Так, значит, она, – сказал мистер Баркис после долгого раздумья, – так, значит, она делает все эти яблочные пироги и стряпает все что полагается?

Я отвечал, что так оно и есть.

– Ну так вот что я вам скажу, – начал мистер Баркис. – Может, вы будете ей писать?

– Я непременно ей напишу, – ответил я.

– Так. Ну так вот, – сказал он, медленно переводя взгляд на меня. – Если вы будете ей писать, может, не забудете сказать, что Баркис очень не прочь, а?

– Что Баркис очень не прочь, – наивно повторил я. – И это все, что я должен передать?

– Да-а… – раздумчиво сказал он. – Да-а-а… Баркис очень не прочь.

– Но вы завтра же вернетесь в Бландерстон, мистер Баркис, – сказал я и запнулся, вспомнив о том, что я тогда буду уже очень далеко, – и сами сможете передать это гораздо лучше, чем я.

Однако он, мотнув головой, отверг это предложение и снова повторил свою прежнюю просьбу, с величайшей серьезностью сказав:

– Баркис очень не прочь. Вот какое поручение.

Я охотно взялся его выполнить. В тот же день, дожидаясь кареты в ярмутской гостинице, я раздобыл лист бумаги и чернильницу и написал такую записку Пегготи:

«Дорогая моя Пегготи. Я приехал сюда благополучно. Баркис очень не прочь. Передай маме мой горячий привет. Твой любящий Дэви. P. S. Он говорит, что непременно хочет, чтобы ты знала: Баркис очень не прочь».

Когда я взял это дело на себя, мистер Баркис снова погрузился в глубокое молчание, а я, совершенно измученный всеми недавними событиями, улегся на мешке в повозке и заснул. Я спал крепко, пока мы не прибыли в Ярмут, который показался мне таким незнакомым и чужим, когда мы въехали во двор гостиницы, что я сразу распрощался с тайной надеждой встретить кого-нибудь из членов семейства мистера Пегготи – может быть, даже малютку Эмли.

Карета, вся сверкающая, стояла во дворе, но лошадей еще

не впрягали, и благодаря такому ее виду казалось совершенно невероятным, чтобы она когда-нибудь отправилась в Лондон. Я размышлял об этом и недоумевал, что станется в конце концов с моим сундучком, который мистер Баркис поставил на мощеном дворе возле шеста (он въехал во двор, чтобы повернуть свою повозку), и что станется в конце концов со мной, когда из окна, в котором висели битая птица и части мясной туши, выглянула какая-то леди и спросила:

– Это и есть юный джентльмен из Бландерстона?

– Да, сударыня, – ответил я.

– Как фамилия? – осведомилась леди.

– Копперфилд, сударыня, – сказал я.

– Это не то, – возразила леди. – Ни для кого с такой фамилией не заказывали здесь обеда.

– Может быть, Мэрдстон, сударыня? – сказал я.

– Если вы мистер Мэрдстон, то почему же вы называете сначала другую фамилию? – спросила леди.

Я объяснил этой леди положение дел, после чего она позвонила в колокольчик и крикнула:

– Уильям, покажи ему, где столовая!

Из кухни в другом конце двора выбежал лакей и, по-видимому, очень удивился, что показать столовую он должен всего-навсего мне.

Это была большая, длинная комната с большими географическими картами на стене. Вряд ли я почувствовал бы себя более бесприютным, если бы эти карты были настоящими

чужеземными странами, а меня забросило судьбою в одну из них. Мне казалось непростительной вольностью сидеть с шапкой в руках на краешке стула у двери, а когда лакей накрыл стол скатертью специально для меня и поставил судки, я, должно быть, весь покраснел от смущения.

Он принес мне отбивных котлет и овощей и так порывисто снял крышки с блюд, что я испугался, не обидел ли я его. Но опасения мои рассеялись, когда он придвинул мне стул к столу и очень приветливо сказал:

– Ну-с, великан, пожалуйте!

Я поблагодарил его и занял место за столом, но убедился, что чрезвычайно трудно управляться ножом и вилкой и не обливаться соусом, когда он стоит тут же, против меня, смотрит в упор и заставляет меня заливаться жгучим румянцем всякий раз, как я встречаюсь с ним глазами. Когда я приступил ко второй котлете, он сказал:

– Для вас заказано полпинты эля. Не желаете ли выпить его сейчас?

Я поблагодарил его и сказал:

– Да.

Он налил мне эля из кувшина в большой стакан и поднял его, держа против света, чтобы я мог полюбоваться.

– Ей-ей, многовато как будто? – сказал он.

– В самом деле многовато, – согласился я, улыбаясь: я был в восторге оттого, что он оказался таким любезным.

Он был прыщеват, глаза у него блестели, волосы на голове

стояли торчком, и вид он имел очень дружелюбный, когда, подбоченившись одной рукой, держал в другой руке против света стакан.

– Был здесь вчера один джентльмен, – сказал он, – дородный джентльмен по фамилии Топсойер, – может быть, вы его знаете?

– Нет, не думаю… – сказал я.

– В коротких штанах и гамашах, широкополой шляпе, сером сюртуке, на шее платок с крапинками, – объяснил лакей.

– Нет, я не имею удовольствия… – смущенно вымолвил я.

– Он явился сюда, – продолжал лакей, глядя на свет сквозь стакан, – заказал стакан этого эля – требовал во что бы то ни стало, как я его ни отговаривал! – выпил и… упал мертвый. Эль оказался слишком старым для него. Не следовало и нацеживать, что правда, то правда.

Я был поражен, услыхав о таком печальном событии, и заявил, что, пожалуй, лучше выпью воды.

– Видите ли, – сказал лакей, который, закрыв один глаз, по-прежнему смотрел на свет сквозь стакан, – у нас здесь не любят, когда что-нибудь заказано зря. Хозяйка и повар обижаются. Но если хотите, я выпью этот эль. Я-то к нему привык, а привычка – это все. Не думаю, чтобы он мне повредил, если я запрокину голову и выпью залпом. Не возражаете?

Я отвечал, что он окажет мне большую услугу, выпив эль, но только в том случае, если, по его мнению, это для него безопасно. Признаюсь, когда он запрокинул голову и залпом

выпил стакан, я ужасно боялся, что его постигнет судьба злополучного мистера Топсойера и он бездыханный упадет на ковер. Но эль ему не повредил. Наоборот, мне показалось, что он даже повеселел и приободрился.

– Что у нас тут такое? – осведомился он, тыча вилкой в блюдо. – Не котлеты ли?

– Котлеты, – подтвердил я.

– Помилуй бог! – воскликнул он. – А я и не знал, что это котлеты! Да ведь котлета как раз и нужна, чтобы это пиво не имело дурных последствий! Вот удача!

Одной рукой он взял за косточку котлету, а другой картофелину и уплел их с большим аппетитом, к величайшему моему удовольствию. После этого он взял еще одну котлету и еще одну картофелину, а потом еще котлету и еще картофелину. Покончив с ними, он принес пудинг и, поставив его передо мной, как будто призадумался и несколько минут предавался размышлениям.

– Ну, как пирог? – спросил он, очнувшись.

– Это пудинг, – возразил я.

– Пудинг! – воскликнул он. – Ах, боже мой, и в самом деле. Как? – Он придвинулся ближе. – Неужели вы хотите сказать, что это слоеный пудинг?

– Да, совершенно верно.

– Слоеный пудинг! – повторил он, беря столовую ложку. – Да ведь это мой любимый пудинг! Вот удача! А ну-ка, малыш, посмотрим, кому больше достанется.

Ему, несомненно, досталось больше. Несколько раз он умолял меня приналечь и выйти победителем, но так велика была разница между его столовой ложкой и моей чайной, его быстротой и моей, его аппетитом и моим, что я после первого же глотка остался далеко позади и не имел никаких шансов догнать его. Мне кажется, я не видывал человека, который так наслаждался бы пудингом; а когда с пудингом было покончено, он все еще посмеивался, словно продолжал наслаждаться.

Вот тогда-то, убедившись в его дружелюбии и общительности, я и попросил у него перо, чернила и лист бумаги, чтобы написать Пегготи. Он не только принес все это немедленно, но и был так внимателен, что смотрел через мое плечо, пока я писал. Когда я закончил письмо, он спросил меня, в какую школу я еду.

Я отвечал: «Недалеко от Лондона», – это было все, что я знал.

– Ах, боже мой! – воскликнул он, впадая в уныние. – Вот жалость-то!

– Почему? – спросил я его.

– О господи! – сказал он, покачивая головой. – Это та самая школа, где мальчику сломали ребра… два ребра… Маленькому мальчику. Я думаю, ему было… позвольте-ка, вам примерно сколько лет?

Я отвечал, что мне пошел девятый год.

– Как раз ровесник ему, – сказал он. – Ему было восемь

лет и восемь месяцев, когда сломали второе и покончили с ним.

Я не мог скрыть ни от самого себя, ни от лакея, что это весьма неприятное совпадение, и осведомился, как это случилось. Его ответ не улучшил моего расположения духа, ибо состоял из двух мрачных слов: «Его секли».

Звук рожка во дворе раздался как раз вовремя, чтобы отвлечь меня от моих мыслей, я встал и с чувством гордости и смущения оттого, что у меня есть кошелек (который я достал из кармана), нерешительно осведомился, нужно ли за что-нибудь платить.

– За лист почтовой бумаги, – ответил лакей. – Вы покупали когда-нибудь лист почтовой бумаги?

Я не мог припомнить такого случая.

– Он стоит дорого из-за налогов, – пояснил лакей. – Три пенса. Вот какими налогами нас обкладывают в этой стране. Больше ничего платить не надо, разве что лакею. О чернилах нечего говорить. На этом теряю я.

– Скажите, пожалуйста, а сколько бы вы… сколько я… сколько следовало бы мне… какую сумму полагается заплатить лакею? – краснея и заикаясь, осведомился я.

– Не будь у меня семьи и не заболей эта семья ветряной оспой, – сказал лакей, – я не взял бы и шести пенсов. Если бы я не содержал престарелой мамаши и хорошенькой сестры, – тут лакей пришел в крайнее волнение, – я не взял бы и фартинга. Если бы я служил на хорошем месте и со мной

обращались здесь по-хорошему, я попросил бы сам принять от меня какую-нибудь мелочь, вместо того чтобы брать чаевые. Но я питаюсь объедками и сплю на мешках с углем…

Тут лакей залился слезами.

Я был очень огорчен его невзгодами и почувствовал, что дать ему меньше чем девять пенсов было бы поистине жестоко и бессердечно. Поэтому я вручил ему один из моих блестящих шиллингов, который он принял очень смиренно и почтительно и немедленно вслед за этим подбросил монету большим пальцем, чтобы убедиться в ее полноценности.

Когда мне помогли взобраться на заднее сиденье на крыше кареты, я пришел в некоторое замешательство, обнаружив, что меня заподозрили в том, будто я съел весь обед без всякой посторонней помощи. Узнал я об этом, услышав, как леди, высунувшись из окна, сказала кондуктору: «Последи за этим ребенком, Джордж, как бы он не лопнул!» Кроме того, я заметил, что служанки, работавшие в доме, вышли, чтобы похихикать и поглазеть на меня как на юного феномена. Мой несчастный друг, лакей, который уже совсем пришел в себя, не проявляя ни малейших признаков смущения, дивился вместе со всеми. Если бы могли возникнуть у меня какие-нибудь сомнения на его счет, они должны были возникнуть именно тогда, но я склонен думать, что благодаря простодушному доверию ребенка и присущему детям уважению к старшим (качества, которые, к сожалению, у иных детей слишком рано уступают место житейской мудрости) у

меня даже в ту минуту не мелькнуло никаких серьезных подозрений.

Признаюсь, мне было совсем несладко, когда я, отнюдь того не заслуживая, стал мишенью шуток, которыми обменивались кучер и кондуктор, утверждая, что карета оседает на задние колеса – поскольку я сижу сзади – и что куда правильнее было бы, если бы я путешествовал в фургоне. Весть об обжорстве, в котором меня заподозрили, разнеслась среди наружных пассажиров, и они также стали подсмеиваться надо мной, осведомлялись, будут ли платить за меня в школу вдвойне или втройне, заключен ли особый договор, или же я поступаю на обычных условиях, и задавали другие подобного рода вопросы. Но вот что было хуже всего: я знал, что, когда представится случай, мне стыдно будет есть и после весьма легкого обеда я обречен страдать от голода всю ночь, так как второпях оставил свои пирожные в гостинице. Мои опасения оправдались. Когда мы сделали остановку, чтобы поужинать, у меня не хватило храбрости принять участие в ужине, хотя я был очень не прочь это сделать, и я уселся у камина и сказал, что ничего не хочу. Это не спасло меня от новых насмешек; джентльмен с хриплым голосом и обветренным лицом, почти всю дорогу жевавший сандвичи, а в промежутках прикладывавшийся к бутылке, заявил, что я похож на пятнистого удава, который за один прием поглощает столько, чтобы потом уже долго не есть. Вслед за этими словами он сам покрылся пятнами от съеденной им вареной

говядины.

Мы выехали из Ярмута в три часа дня, а в Лондон должны были прибыть часов в восемь утра. Стояла середина лета, и вечер был погожий. Когда мы проезжали через какую-нибудь деревню, я мысленно представлял себе, что делается в домах и чем занимаются жители; а когда мальчишки бежали вслед за нами и подвешивались сзади к нашей карете, я задавал себе вопрос, живы ли их отцы и счастливо ли живется им дома. Да, мне было о чем подумать; к тому же мысли мои постоянно обращались к цели моего путешествия – и это были страшные мысли. Помню, несколько раз я принимался думать о родном доме и о Пегготи и смутно, неуверенно пытался восстановить в памяти, что я чувствовал и каким был до того дня, как укусил мистера Мэрдстона; однако я никак не мог прийти к сколько-нибудь удовлетворяющему меня заключению – мне казалось, что укусил я его в давно минувшие времена.

Ночью было не так хорошо, как вечером, потому что похолодало; меня посадили между двумя джентльменами (тем самым, у кого было обветренное лицо, и еще одним), чтобы я не свалился с крыши кареты, и они, засыпая, едва меня не задушили, так как навалились на меня с обеих сторон. По временам они так сильно меня стискивали, что я невольно вскрикивал: «Ох, прошу вас!» – а это им совсем не нравилось, потому что я их будил. Против меня сидела пожилая леди в широкой меховой ротонде, походившая в темноте

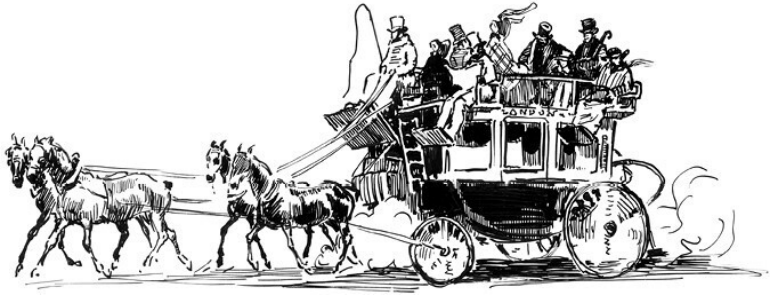
скорее на стог сена, чем на леди, – так была она укутана. У нее была корзинка, и она долго не знала, что с ней делать, пока не решила подсунуть ее мне под ноги, даром, что ли, они у меня такие короткие? Я больно ударялся об эту корзинку и чувствовал себя совсем несчастным, но стоило мне пошевельнуться, как стакан, находившийся в корзине, обо что-то стукался и дребезжал (иначе и быть не могло), а леди пребольно толкала меня ногой и говорила:

– Да перестань же вертеться! Ведь у тебя-то кости молодые!

Наконец взошло солнце, и мои спутники заснули более спокойным сном. Трудно вообразить себе те мученья, какие они претерпевали всю ночь, давая о них знать самыми устрашающими вздохами и храпеньем. По мере того как солнце все выше поднималось над горизонтом, сон их становился более чутким и постепенно, один за другим, они стали просыпаться. Помню, меня очень удивило, что каждый притворялся, будто вовсе не спал, и с величайшим негодованием отвергал подобное обвинение. Я и по сей день не перестаю дивиться, неизменно замечая, что люди готовы признаться в любой слабости, свойственной человеческой природе, но всегда отрицают (неведомо почему), что они спали в карете.

Нет нужды пересказывать, каким изумительным местом показался мне Лондон, когда я увидел его издали, и как я воображал, будто здесь вновь и вновь повторяются все приключения всех моих любимых героев, и как я пришел к ту-

манному заключению, что чудес и пророков здесь больше, чем во всех столицах мира. Мы приблизились к городу не сразу и в положенный час подъехали к гостинице в Уайтчепле – к месту нашего назначения. Я забыл, называлась ли гостиница «Синий Бык» или «Синий Боров»; знаю только, что это было нечто синее, чье изображение было намалевано на задней стенке кареты.



Когда кондуктор спускался с козел, взгляд его упал на меня, и он объявил, заглянув в дверь конторы:

– Кто-нибудь пришел за мальчиком, который значится как Мэрдстон из Бландерстона в Суффолке? Мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют.

Никто не отвечал.

– Будьте добры, сэр, попробуйте назвать Копперфилда, – сказал я, беспомощно посматривая вниз.

– Кто-нибудь пришел за мальчиком, который значится как

Мэрдстон из Бландерстона в Суффолке, но откликается на фамилию Копперфилд? Мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют, – повторил кондуктор. – Чего молчите? Пришел кто-нибудь за ним или нет?

Нет. Никто не пришел. Я с тревогой озирался, но вопрос кондуктора не произвел ни малейшего впечатления на присутствующих, если не считать одноглазого человека в гетрах, который посоветовал надеть мне медный ошейник и поставить меня в конюшню.

Принесли лестницу, и я спустился вниз вслед за леди, походившей на стог сена: пока не убрали ее корзинку, я не осмеливался двинуться с места. Пассажиры вышли из кареты, багаж был очень скоро убран, лошадей выпрягли, и конюхи уже откатили карету в сторонку. Но все еще никто не появлялся, чтобы затребовать покрытого пылью мальчика из Бландерстона в Суффолке.

Более одинокий, чем Робинзон Крузо, – на того хотя бы никто не смотрел и никто не видел, что он одинок, – я отправился в контору, прошел по приглашению дежурного клерка за прилавок и присел на весы, на которых взвешивали багаж. Тут, пока я сидел и смотрел на свертки, тюки и конторские книги и вдыхал запах конюшни (с той поры навеки связанный с этим утром), меня начали осаждать самые мрачные мысли, сменяя одна другую. Если допустить, что никто так и не зайдет за мной, долго ли согласятся держать меня здесь? Может быть, до тех пор, пока я не истрачу свои семь шил-

лингов? Придется ли мне ночевать в одном из этих деревянных ящиков, вместе с другим багажом, а утром умываться во дворе под насосом? Или меня будут выгонять на ночь, чтобы по утрам, когда открывается контора, я возвращался и ждал, не затребуют ли меня? А если допустить, что никакой ошибки не случилось и мистер Мэрдстон придумал этот план с целью избавиться от меня, что мне тогда делать? Если мне и разрешат оставаться здесь, пока я не истрачу моих семи шиллингов, то ведь у меня нет надежды остаться, когда я начну голодать! Ну да, ведь это будет неудобно и неприятно для посетителей и вдобавок введет в расходы по похоронам этого «Синего Быка» – или как его там зовут! Если же я немедленно уйду и постараюсь добраться до дому пешком, разве удастся мне найти дорогу, разве есть у меня надежда благополучно проделать такое большое путешествие, а если даже я и вернусь домой, разве я могу положиться на кого-нибудь, кроме Пегготи? Если бы я обратился к надлежащим властям где-нибудь по соседству и выразил бы желание пойти в солдаты или в матросы, то, по всей вероятности, меня бы не приняли – слишком я был еще мал. От этих и сотни других подобных мыслей меня бросило в жар, и голова начала кружиться от страха и тоски. Лихорадка моя была в самом разгаре, когда вошел какой-то человек и шепотом заговорил с клерком, который наклонил весы и подтолкнул меня к нему, словно я был взвешен, куплен, выдан и оплачен.

Когда я выходил из конторы, держась за руку этого нового

знакомца, я украдкой посмотрел на него. Это был худощавый, бледный молодой человек, со впалыми щеками и подбородком, почти таким же черным, как у мистера Мэрдстона; но на этом сходство и заканчивалось, так как щеки он брил, а волосы у него были не глянцевитые, а сухие и рыжеватые. На нем был черный костюм, также сухой и порыжевший, причем рукава и брюки были слишком коротки, а белый шейный платок не очень чист. Я не предполагал тогда – да и теперь не предполагаю, – что, кроме этого платка, он не носил никакого белья, но только один платок и был виден.

– Вы новый ученик? – спросил он.

– Да, сэр, – сказал я.

Я полагал, что это так. Точно я не знал.

– Я один из учителей Сэлем-Хауса, – сказал он.

Я отвесил ему поклон и почувствовал благоговейный страх. Мне было так неловко сообщать ученому мужу и наставнику из Сэлем-Хауса о таких пустяках, как мой сундучок, что мы уже вышли со двора и прошли некоторое расстояние, прежде чем я собрался с духом и о нем упомянул. Когда я смиренно заикнулся о том, что впоследствии он может мне пригодиться, мы повернули назад, и учитель сказал клерку, что возчик получил приказ заехать за ним в полдень.

– Простите, сэр, это далеко отсюда? – спросил я, когда мы снова прошли примерно тот же путь.

– Близ Блекхита, – ответил он.

– А это далеко, сэр? – робко осведомился я.

– Порядочно, – сказал он. – Мы поедем в почтовой карете. Примерно шесть миль.

Я так ослабел и устал, что перспектива продержаться еще шесть миль была мне не по силам. Набравшись храбрости, я сказал, что со вчерашнего дня ничего не ел и что я буду ему очень признателен, если он позволит мне купить чего-нибудь съестного. Он как будто удивился (я как сейчас вижу: он остановился и посмотрел на меня) и, подумав, сказал, что намерен зайти к одной пожилой особе неподалеку и лучше всего, если я куплю себе хлеба или чего-нибудь другого по собственному выбору, только бы это было полезно для здоровья, и позавтракаю у нее в доме, где мы можем достать молока.

Итак, мы заглянули в окно булочной, и, после того как я сделал ряд предложений, намереваясь закупить все, что было здесь вредного для желудка, а он отверг их одно за другим, мы остановили наш выбор на аппетитном хлебце из непросеянной муки, который стоил мне три пенса. Потом мы купили в бакалейной лавке яйцо и кусок копченой грудинки, после чего у меня, по моему мнению, осталось еще немало сдачи со второго из блестящих шиллингов, и я пришел к заключению, что в Лондоне жизнь очень дешева. Закупив провизию, мы продолжали путь среди оглушительного шума и грохота, отчего усталая моя голова совсем помутилась, прошли по мосту, который, несомненно, был Лондонским мостом (кажется, учитель так мне и сказал, но я почти что спал

на ходу), и подошли к жилищу пожилой особы; это был один из нескольких домов для призрения бедных, о чем я догадался по их виду и по надписи на камне над воротами, гласившей, что они построены для двадцати пяти бедных женщин.

Учитель из Сэлем-Хауса приподнял щеколду одной из многочисленных маленьких черных дверей, похожих одна на другую – подле каждой двери было оконце с частым переплетом и такое же оконце с частым переплетом наверху, – и мы вошли в маленький домик одной из этих бедных старух, которая раздувала огонь в камельке, чтобы вскипятить воду в кастрюльке. При виде вошедшего учителя старуха положила раздувальные мехи на колени, и мне послышалось, будто она сказала что-то вроде: «Мой Чарли!» – но, видя, что я вхожу вслед за ним, она встала, потирая руки, и в смущении сделала нечто похожее на реверанс.

– Скажите, не можете ли вы приготовить завтрак для этого молодого джентльмена? – спросил учитель из Сэлем-Хауса.

– Завтрак? – повторила старуха. – Да, конечно, могу!

– Как себя чувствует сегодня миссис Фиббетсон? – спросил учитель, взглянув на другую старуху, которая сидела в большом кресле перед камином и чрезвычайно походила на узел с тряпьем, я и по сей день благодарен судьбе, что не уселся на нее по ошибке,

– Ох, ей неможется, – ответила первая старуха. – Сегодня у нее плохой день. Право же, если бы огонь в камине случай-

но угас, она тоже угасла бы и уже не вернулась к жизни.

Они оба посмотрели на нее, и вслед за ними взглянул и я. Хотя день был теплый, старуха, по-видимому, была поглощена одной только мыслью – о затопленном очаге. Мне показалось, что она завидует даже стоящей на огне кастрюле; и у меня есть основания думать, что она пришла в негодование, когда этот огонь заставили служить мне, чтобы сварить для меня яйцо и поджарить грудинку: я с удивлением увидел, как она один раз погрозила мне кулаком, пока происходили эти кулинарные операции и никто на нее не смотрел. Солнце светило в оконце, но она сидела, повернувшись к нему спиной, и заслоняла огонь спинкой большого кресла, словно заботилась о том, чтобы согреть его, вместо того чтобы он ее согревал, и следила за ним с величайшим недоверием. Когда приготовление завтрака закончилось и его сняли с огня, она пришла в такое восхищение, что громко засмеялась, причем смех ее, должен сказать, был совсем не мелодический.

Я принялся за мой хлебец из непросеянной муки, за яйцо и грудинку, запивая молоком из миски, и чудесно поел. Пока я еще наслаждался этим завтраком, старая хозяйка дома спросила учителя:

– Ты захватил с собой флейту?

– Да, – отвечал он.

– Подуй-ка в нее, – ласково попросила старуха. – Пожалуйста.

Учитель сунул руку под фалды фрака, извлек флейту, со-

стоявшую из трех колен, которые он свинтил вместе, и тотчас начал играть. После многих лет раздумья у меня сохранилась уверенность, что не было еще на свете человека, который бы играл хуже. Он извлекал такие заунывные звуки, каких не производило еще ни одно существо – ни натуральным, ни искусственным способом. Не знаю, каковы были мелодии – если он вообще исполнял какую-нибудь мелодию, в чем я сомневаюсь, – но влияние на меня этой музыки выразилось сначала в размышлениях о моих горестях, так что я едва мог удержаться от слез; затем я лишился аппетита и наконец почувствовал такую сонливость, что не в силах был раскрыть глаза. Даже теперь, когда я вспоминаю об этом, глаза мои слипаются и я начинаю клевать носом. Маленькая комнатка с открытым шкафом для посуды в углу, стулья с квадратными спинками, и кривая лесенка, ведущая на второй этаж, и три павлиньих пера, красующихся над каминной полкой, – войдя сюда, я задал себе вопрос: что подумал бы павлин, если бы знал, какая участь суждена его наряду? – все это постепенно уплывает, и я клюю носом и засыпаю. Не слышно больше флейты, вместо нее грохочут колеса кареты, и я снова в пути. Карета тряская; вздрогнув, я просыпаюсь, и снова слышится флейта, и учитель из Сэлем-Хауса сидит, положив ногу на ногу, и жалобно наигрывает, а старуха, хозяйка дома, смотрит на него с восхищением. Но и она уплывает, уплывает и он, уплывает все, и нет ни флейты, ни учителя, ни Сэлем-Хауса, ни Дэвида Копперфилда, нет ничего,

кроме тяжелого сна.

Мне показалось, что я вижу во сне, будто один раз, когда он дул в эту унылую флейту, старая хозяйка дома, которая придвигалась к нему в экстазе все ближе и ближе, наклонилась над спинкой его стула и нежно обняла его за шею, вследствие чего он на секунду перестал играть. То ли тогда, то ли в следующее мгновение я был между сном и явью, потому что, когда он снова заиграл – а он и в самом деле на секунду перестал играть, – я видел и слышал, как все та же старуха обратилась с вопросом к миссис Фиббетсон, – «Не правда ли, это чудесно?» (имея в виду флейту) – на что миссис Фиббетсон ответила: «А! А! Да!» – и закивала головой, глядя на огонь, который, я уверен, она считала виновником этого концерта.

Я дремал, по-видимому, очень долго; наконец учитель из Сэлем-Хауса развинтил свою флейту на три части, спрятал их и увел меня. Тут же поблизости мы нашли карету и заняли места на крыше; но мне смертельно хотелось спать, и, когда мы по дороге остановились, чтобы забрать еще кого-то, меня посадили в карету, где не было ни одного пассажира и где я спал крепким сном, пока не обнаружил, что карета ползет вверх по крутому холму среди зеленой листвы. Вскоре она остановилась, добравшись до места своего назначения.

Мы – я говорю об учителе и о себе – прошли небольшое расстояние, отделявшее нас от Сэлем-Хауса, огороженного высокой кирпичной стеной и весьма хмурого на вид. Над

дверью в этой стене была доска с надписью: *«Сэлем-Хаус»*, а сквозь решетку в двери мы, позвонив, увидели обращенное к нам угрюмое лицо, которое – как убедился я, когда открылась дверь, – принадлежало коренастому человеку с бычьей шеей, деревяшкой вместо ноги, впалыми висками и коротко остриженными волосами.

– Новый ученик, – сказал учитель.

Человек с деревяшкой осмотрел меня с головы до пят – это заняло немного времени, потому что я был очень мал, – запер за нами калитку и вынул ключ. Мы шли к дому среди темных, мрачных деревьев, когда он крикнул вслед моему спутнику:

– Эй, послушайте!

Мы оглянулись: он стоял в дверях маленькой сторожки, где жил, а в руке у него была пара башмаков.

– Вот! – сказал он. – Когда вас не было, мистер Мелл, приходил сапожник. Он говорит, что больше не может их чинить. Говорит, что от прежних башмаков не осталось ни кусочка и он не понимает, чего вы хотите.

С этими словами он швырнул башмаки в сторону мистера Мелла, который вернулся, чтобы подобрать их, и когда мы двинулись дальше, стал их рассматривать, насколько я помню, с безутешным видом. Тут только я заметил, что надетые на нем башмаки были сильно изношены и в одном месте носок вылезал наружу, словно бутон.

Сэлем-Хаус, квадратное кирпичное здание с флигелями,

казался пустым и необитаемым. Вокруг была такая тишина, что я высказал мистеру Меллу предположение, не ушли ли все мальчики, но его как будто удивило мое неведение, что теперь каникулы, что все ученики разъехались по домам, что мистер Крикл, владелец пансиона, уехал на морское побережье вместе с миссис и мисс Крикл и что меня прислали во время каникул в наказание за мои прегрешения. Все это он объяснил мне, пока мы шли.

Классная комната, куда он меня привел, мне показалась самым унылым и заброшенным местом, какое мне когда-либо приходилось видеть. Я вижу ее и сейчас. Длинная комната с тремя длинными рядами пюпитров и шестью рядами скамеек, стены ощетинились гвоздями для шляп и грифельных досок. На грязном полу обрывки старых тетрадей для чистописания и сочинений. Домики для шелковичных червей, сделанные из того же материала, разбросаны по партам. Две несчастные белые мышки, покинутые своим хозяином, бегают вверх и вниз по старому замку из картона и проволоки и заглядывают красными глазками во все уголки в поисках чего-нибудь съестного. Птица в клетке, которая немногим больше, чем она сама, горестно мечется, то вспрыгивая на свою жердочку на высоте двух дюймов, то соскакивая с нее, но она не поет и не чирикает. В комнате какой-то странный, нездоровый запах, как будто пахнет прелой одеждой, залежавшимися яблоками и книжной плесенью. Столько здесь чернильных пятен, словно с первого дня постройки

комната оставалась без крыши, а небеса во все времена года поливали ее чернилами, вместо того чтобы ниспосылать дождь, снег, град или ветер.

Когда мистер Мелл понес наверх свои башмаки, которые уже невозможно было починить, и оставил меня одного, я стал осторожно пробираться в дальний конец комнаты, разглядывая все, что попадалось мне на пути. И вдруг я увидел лежавший на парте картонный плакат с красиво выведенными словами: «Осторожно! Кусается!»

Уже через секунду я очутился на пюпитре, решив, что где-то внизу прячется громадная собака. С тревогой я озирался по сторонам, но ее нигде не было видно. Я все еще занимался этими поисками, когда вернулся мистер Мелл и спросил меня, что я тут делаю.

– Простите, сэр, но… я… с вашего разрешения, я ищу собаку, – сказал я.

– Собаку? – переспросил он. – Какую собаку?

– Разве это не собака, сэр?

– Кто? Какая собака?

– Которой нужно остерегаться? Которая кусается?

– Нет, Копперфилд, это не собака. Это мальчик, – внушительно произнес он. – Я получил распоряжение, Копперфилд, повесить этот плакат вам на спину. Сожалею, что приходится так поступать с вами с первого же дня, но я должен это сделать.

С этими словами он снял меня с пюпитра и привязал к мо-

им плечам, как ранец, приспособленный для этой цели плакат. И с той поры, куда бы я ни шел, я имел удовольствие носить его.

Сколько я выстрадал из-за этого плаката, немыслимо себе представить. Видел ли кто-нибудь меня или нет, все равно мне всегда чудилось, что его читают. Я не чувствовал никакого облегчения, когда оборачивался и обнаруживал, что никого нет: куда бы я ни повернулся, все равно мне мерещилось, что за моей спиной кто-то стоит. Жестокий человек с деревяшкой усугублял мои страдания. Он был облечен властью, и стоило ему увидеть, что я прислонился к стене, к дереву или к дому, как он уже орал оглушительным голосом из дверей своей сторожки:

– Эй, вы, сэр! Вы, Копперфилд! Носите этот ярлык так, чтобы всем было видно, а не то я на вас пожалуюсь!

Площадкой для игр служил пустынный, усыпанный гравием двор, куда выходили все задние окна дома и служб: и я знал, что слуги читают мой плакат, и мясник читает, и булочник читает. Короче говоря, каждый, кто приходил или уходил из дома утром, в часы, когда мне было приказано гулять во дворе, читал, что меня нужно остерегаться, потому что я кусаюсь. Припоминаю, что я положительно начал бояться самого себя, словно я был бешеный мальчик, который и в самом деле кусается.

Выходила на эту площадку одна старая дверь, на которой ученики имели обыкновение вырезывать свои имена. Она

была сплошь покрыта такими надписями. Страшась окончания каникул и возвращения учеников, я не мог прочесть ни одного имени, не задав себе вопроса, каким тоном и с каким выражением будет он читать: «Осторожно! Кусается!» Был тут один ученик, некий Стирфорт – его имя было вырезано особенно глубоко и встречалось особенно часто, – который, по моим предположениям, зычно прочитает плакат, а потом дернет меня за волосы. Был другой мальчик, некий Томми Трэдлс, который, как я опасался, будет потешаться над этой надписью и сделает вид, будто ужасно меня боится. Был еще третий, Джордж Демпл, который, чудилось мне, станет гнусавить ее нараспев. Я, маленькое запуганное создание, разглядывал эту дверь до тех пор, пока мне не начинало мерещиться, что обладатели всех этих имен – по словам мистера Мелла, их было тогда в пансионе сорок пять человек – при всеобщем одобрении изгоняют меня из своей среды и орут каждый на свой лад: «Осторожно! Кусается!»

Так же обстояло дело и с партами. Так же обстояло дело и с рядами покинутых кроватей, на которые я посматривал, когда проходил мимо и ложился в свою кровать. Помню, ночь за ночью мне снилось, что я снова с матерью, такою, какой бывала она прежде, или еду гостить к мистеру Пегготи, или путешествую на крыше почтовой кареты и вновь обедаю с моим злополучным приятелем-лакеем и всякий раз окружающие вскрикивают и с испугом смотрят на меня, когда, на мою беду, обнаруживают, что на мне нет ничего, кроме

ночной рубашонки и этого плаката.

При однообразии моей жизни и вечном страхе перед возобновлением занятий в школе это была нестерпимая мука: каждый день я подолгу занимался с мистером Меллом, но я справлялся с уроками, не покрывая себя позором, потому что не было ни мистера, ни мисс Мэрдстон. До и после уроков я гулял – под надзором, как я уже упоминал, человека с деревяшкой. Как живо вспоминаю я плесень повсюду вокруг дома, позеленевшие плиты во дворе, все в трещинах, старую протекавшую бочку с водой и облезлые стволы хмурых деревьев, на долю которых, казалось, приходилось больше дождя и меньше солнечных лучей, чем на долю других деревьев! В час дня мы обедали – мистер Мелл и я – в конце длинной столовой с голыми стенами, заставленной сосновыми столами и пропитанной запахом сала. Затем мы снова занимались – до чая, который мистер Мелл пил из синей чашки, а я из оловянного котелка. Весь долгий день, до семи-восьми часов вечера, мистер Мелл сидел за особым пюпитром в классной комнате и трудился, вооружившись перьями, чернилами, линейкою, книгами и писчей бумагой, – он составлял (как узнал я) счета за последнее полугодие. Спрятав все это на ночь, он доставал свою флейту и дул в нее, пока у меня не начинала мелькать мысль, что он постепенно вдунет всего себя в широкое отверстие, а потом просочится наружу сквозь клапаны.

Я вижу себя, совсем маленького, в тускло освещенной

комнате, – я сижу, подперев голову рукой, прислушиваюсь к заунывной игре мистера Мелла и зубрю урок к завтрашнему дню. Вот я вижу себя: книги мои закрыты, я все еще прислушиваюсь к заунывной игре мистера Мелла, а сквозь нее прислушиваюсь к тому, что бывало дома, к завыванию ветра на ярмутском побережье, и чувствую себя печальным и одиноким. Вот я вижу, как иду ложиться спать, минуя пустые комнаты, присаживаюсь на край кровати и плачу, тоскуя о ласковом слове Пегготи. Вижу, как опускаюсь поутру вниз, смотрю в длинную мрачную щель – лестничное окно – на школьный колокол над крышей сарая с флюгером и страшусь той минуты, когда он зазвонит, призывая к урокам Стирфорта и остальных. Но зловещие опасения мои еще усиливаются при мысли о той минуте, когда человек с деревяшкой отопрет калитку, чтобы впустить ужасного мистера Крикла. Я не могу всерьез поверить, что способен показаться кому-нибудь из них опасным преступником, однако как бы там ни было, а я ношу на спине все тот же предостерегающий плакат.

Мистер Мелл никогда не бывал со мной словоохотлив, но не был он также и суров со мной. Мне кажется, что, и не вступая в разговор, мы составляли друг другу компанию. Я забыл упомянуть о том, что иногда он разговаривал сам с собой, ухмылялся, сжимал кулаки, скрежетал зубами и каким-то странным образом ерошил себе волосы. Но такие уж были у него причуды. Сначала они пугали меня, но скоро я к ним привык.

Глава VI
Я расширяю круг знакомых

Я вел такую жизнь почти целый месяц, когда однажды человек с деревяшкой заковылял по дому со шваброй и ведром воды, из чего я заключил, что готовятся к встрече мистера Крикла и учеников. Я не ошибся, так как швабра скоро вторглась в классную и изгнала мистера Мелла вместе со мной, и в течение нескольких дней мы жили неведомо где и как, но все время оказывались помехой двум-трем женщинам, которых прежде я видел всего раза два-три, и постоянно находились в таком облаке пыли, что я чихал так, словно Сэлем-Хаус был огромной табакеркой.

Наступил день, когда мистер Мелл сказал, что сегодня вечером приезжает мистер Крикл. Вечером, после чая, я услышал, что он прибыл. Я еще не ложился спать, когда явился человек с деревяшкой и повел меня к нему.

Та часть дома, где обитал мистер Крикл, была куда лучше нашей; перед нею был разбит уютный садик, казавшийся очень привлекательным после пыльной площадки для игр, столь напоминавшей пустыню в миниатюре, что только верблюд или дромадер мог чувствовать себя на ней как дома. Я так боялся предстать перед мистером Криклом, что считал дерзостью даже поднять глаза и осмотреть красивый ши-

рокий коридор, по которому мы шли: присутствие мистера Крикла, когда меня поставили перед ним, привело меня в такое замешательство, что я вряд ли заметил миссис и мисс Крикл (они обе находились в гостиной) или вообще что-нибудь, кроме мистера Крикла, тучного джентльмена с гроздью брелоков и печаток на часовой цепочке, восседавшего в кресле рядом с бутылкой и рюмкой.

– А! Так это тот молодой человек, которому нужно подпилить зубы! Поверни-ка его, – произнес мистер Крикл.

Человек с деревяшкой повернул меня, выставляя напоказ плакат, и, когда прошло достаточно времени, чтобы с ним ознакомиться, снова повернул меня лицом к мистеру Криклу, а сам поместился рядом с ним. У мистера Крикла было багровое лицо и крохотные, глубоко сидящие глазки; на лбу его вздувались вены, нос был маленький, а подбородок тяжелый. На макушке у него красовалась плешь, редкие сальные волосы, начинавшие седеть, он зачесывал на виски так, чтобы концы их встречались на лбу. Но особенно сильное впечатление произвело на меня то, что он был почти лишен голоса и не говорил, а сипел. То ли ему трудно было так сипеть, то ли он досадовал на свой недостаток, но, когда он говорил, его злое лицо становилось еще злей, а вены на лбу вздувались еще больше; и, оглядываясь назад в прошлое, я не удивляюсь, что эта странность поразила меня больше всего.

– Так-так, – сказал мистер Крикл. – Что же ты можешь мне сообщить об этом мальчике?

– Еще ничего сказать против него не можем, – ответил человек с деревяшкой, – пока не было случая.

Мне кажется, мистер Крикл был разочарован. Но мне показалось, что миссис и мисс Крикл (тут я взглянул на них в первый раз, и они обе оказались худыми и молчаливыми) не были разочарованы.

– Подойдите сюда, сэр, – поманил меня пальцем мистер Крикл.

– Подойдите сюда! – повторил за ним человек с деревяшкой, также поманив меня пальцем.

– Я имею честь быть знакомым с вашим отчимом, человеком достойным и обладающим твердым характером, – просипел мистер Крикл, беря меня за ухо. – Он знает меня, а я знаю его. А *вы* знаете меня? А?

И он ущипнул мое ухо с жестокой игривостью.

– Еще нет, сэр, – ответил я, скорчившись от боли.

– Еще нет? А? – повторил мистер Крикл. – Ну, так скоро узнаете.

– Скоро узнаете! – повторил человек с деревяшкой.

Позднее я выяснил, что, обладая громким голосом, он был посредником между мистером Криклом и учениками.

Я очень испугался и сказал, что, с его разрешения, надеюсь на это. При этих словах я чувствовал, как пылает мое ухо, – очень уж сильно он стиснул его.

– Я вам скажу, каков я! – засипел он, выпуская наконец мое ухо, и напоследок крутнул его так, что слезы показались

у меня на глазах. – Я – зверь!

– Зверь! – повторил человек с деревяшкой.

– Когда я говорю, что сделаю то-то и то-то, я это делаю, – продолжал мистер Крикл, – а когда я говорю, что то-то должно быть сделано, оно будет сделано.

– Должно быть сделано и будет сделано, – повторил человек с деревяшкой.

– У меня характер решительный, – сипел мистер Крикл. – Вот я каков! Я исполняю свой долг… Вот что я делаю! Ес-

ли моя плоть и кровь, – тут он взглянул на миссис Крикл, – восстают против меня, значит, это не моя плоть и кровь! Я отрекаюсь от нее! Этот парень приходил еще сюда? – обратился он к человеку с деревяшкой.

– Нет, – ответил тот.

– Нет! – повторил мистер Крикл. – Он знает, что делает. Он знает меня. Пусть носа сюда не показывает. Я говорю: пусть носа сюда не показывает! – Тут мистер Крикл ударил кулаком по столу и посмотрел на миссис Крикл. – Потому что он меня знает. Ну а теперь и вы также начинаете меня узнавать, мой молодой друг, и можете идти. Уведи его!

Я очень обрадовался этому приказанию, так как миссис и мисс Крикл обе утирали слезы и мне было так же неловко за них, как и за самого себя. Но у меня была просьба, столь для меня важная, что я не удержался, удивляясь сам своей храбрости.

– Сэр, если позволите…

Мистер Крикл засипел: «Что такое?» – и воззрился на меня так, будто хотел испепелить меня своим взглядом.

– Если позволите, сэр… – Я запнулся. – Если бы можно было… я очень раскаиваюсь, сэр, что я это сделал… снять эту надпись прежде, чем ученики вернутся…

Не знаю, всерьез или только для того, чтобы попугать меня, но мистер Крикл рванулся с кресла, а я стремительно ретировался, не дожидаясь человека с деревяшкой, и без остановки мчался до моей спальни, где, убедившись в том, что

погони нет, улегся в постель – ибо пора было ложиться спать – и часа два дрожал.

Наутро вернулся мистер Шарп. Мистер Шарп был старший учитель, начальник мистера Мелла. Мистер Мелл столовался с учениками, а мистер Шарп обедал и ужинал за столом мистера Крикла. Это был хилый джентльмен с крупным носом, и голова его свисала набок, словно ему трудно было ее носить. Его волнистые волосы красиво блестели, но от первого же мальчика, который появился в школе, я узнал, что это парик (к тому же подержанный, как тот утверждал) и мистер Шарп каждую субботу днем отправляется завивать его.

Мне это сообщил не кто иной, как Томми Трэдлс. Он вернулся первым. Он представился мне, сообщив, что его имя я могу найти в правом углу ворот над верхним засовом, и на мой вопрос: «Трэдлс?» – ответил: «Он самый», а затем попросил меня дать полный отчет о себе и о моей семье.

Мне повезло, что Трэдлс вернулся первым. Ему так понравился мой плакат, что он избавил меня от неуверенности – скрывать его или показывать, – ибо каждому вновь прибывшему ученику немедленно представлял меня так:

– Погляди-ка! Вот так умора!

К счастью, большинство учеников возвращались в весьма плохом расположении духа и, вопреки моим ожиданиям, не склонны были чрезмерно потешаться надо мной. Правда, некоторые плясали вокруг меня наподобие диких индейцев,

а большинство поддались искушению и стали забавляться, словно я был настоящей собакой, – они ласкали и поглаживали меня, чтобы я их не укусил, командовали: «Куш, сэр!» – и называли меня «дворняга». Разумеется, мне было стыдно, и я всплакнул, но в общем все обошлось куда лучше, чем я ожидал.

Однако меня сочли формально принятым только после приезда Стирфорта. К этому ученику, слывшему многоученым, к этому мальчику, бывшему лет на шесть старше меня и очень красивому, меня привели, словно к судье. Он допросил меня под навесом на площадке для игр, почему я подвергся такому наказанию, и объявил, что подобное обхождение со мной – «стыд и срам», чем завоевал навсегда мою преданность.

– Сколько у тебя денег, Копперфилд? – спросил он, шагая рядом со мной после того, как вынес свой приговор по моему делу.

Я отвечал, что у меня семь шиллингов.

– Тебе бы лучше дать их мне на сохранение, – сказал он. – Конечно, если хочешь. Если не хочешь, не давай.

Я поспешил принять это дружеское предложение и, достав кошелек Пегготи, высыпал содержимое ему на ладонь.

– Ты ничего не собираешься теперь тратить? – спросил он.

– О нет, благодарю вас, – ответил я.

– Но если захочешь, это очень легко… Скажи только слово.

– Нет, благодарю вас, сэр, – повторил я.

– Может быть, ты хочешь на один-два шиллинга купить бутылочку черносмородиновой наливки? Мы попивали бы ее в спальне. Оказывается, мы с тобой в одной спальне.

По правде говоря, эта мысль раньше не приходила мне в голову, но я сказал: «Да, мне бы хотелось».

– Прекрасно! – произнес Стирфорт. – А не хотелось бы тебе купить миндальных пирожных, скажем, на шиллинг?

Я сказал, что и против этого не возражаю.

– Затем бисквитов на шиллинг и еще на шиллинг фруктов? – продолжал Стирфорт. – Э, да ты собираешься кутнуть, Копперфилд!

Я улыбнулся, потому что улыбался он, но все же я был чуть-чуть встревожен.

– Отлично! – воскликнул Стирфорт. – Постараемся, чтобы денег хватило. Я сделаю для тебя все, что в моих силах. Я могу выходить, когда мне вздумается, и пронесу покупки тайком.

С этими словами он положил деньги в карман и любезно попросил меня не беспокоиться; он позаботится о том, чтобы все обошлось благополучно.

Он сдержал слово, если только можно было считать, что все обошлось благополучно, ибо в глубине души я чувствовал, что все далеко не благополучно, и опасался, что две полукроны моей матери истрачены зря, хотя я и сохранил бумажку, в которую они были завернуты. Драгоценное сбере-

жение!.. Когда мы поднялись вечером в дортуар, Стирфорт показал мне покупки, на которые ушли все мои семь шиллингов, и, раскладывая их при свете луны на моей кровати, сказал:

– Получай, юный Копперфилд! У тебя будет королевское угощение!

Принимая во внимание свой возраст, я не помышлял о том, чтобы возглавить пир, когда налицо был Стирфорт; при одной этой мысли у меня задрожали руки. Я попросил его оказать мне честь и взять на себя председательство; моя просьба была поддержана всеми присутствовавшими в спальне учениками, он соизволил согласиться, уселся на мою подушку, роздал яства – должен признаться, всем поровну – и каждому наливал смородиновой настойки в свою собственную маленькую рюмку без ножки. Что касается меня, то я сидел по левую его руку, а остальные разместились вокруг нас на полу и на ближайших кроватях.

Как хорошо я помню наше пиршество, разговор шепотом – вернее, их разговор и мое почтительное молчание! Лунный свет пробивается сквозь окно и рисует бледный его силуэт на полу, мы сидим в тени, но когда Стирфорт погружает спичку в коробок с фосфором, чтобы отыскать что-нибудь на столе, нас озаряет голубое сияние и исчезает в то же мгновение. Снова испытываю я таинственный страх, да и как же ему не быть, если вокруг тьма, у нас идет тайная пирушка, все вокруг шушукаются, а я прислушиваюсь к ним с благо-

говением и легким страхом, заставляющим меня радоваться, что они сидят так близко, и пугаюсь (хотя я делаю вид, будто смеюсь), когда Трэдлсу чудится привидение в углу комнаты.

Я узнал множество подробностей о жизни в пансионе и о его обитателях. Я узнал, что мистер Крикл с полным основанием утверждал, будто он зверь: что он самый строгий, самый жестокий из учителей, что он каждый день расправляется со всеми направо и налево, налетает на учеников, как рубака-кавалерист, и безжалостно их сечет. Узнал я, что он ничего не знает, кроме искусства порки, и более невежествен (по словам Стирфорта), чем самый последний ученик в школе; что в прошлом он торговал хмелем в Боро, а после банкротства открыл пансион на деньги миссис Крикл. Услышал я и много других подробностей такого же рода и только дивился, откуда они всё это знают.

Я узнал, что человек с деревяшкой, которого звали Тангей, был круглый неуч, раньше помогал мистеру Криклу торговать хмелем, а затем, по предположению учеников, пошел вместе с ним по ученой стезе потому, что сломал себе ногу у него на службе, занимался вместе с ним грязными делишками и знал все его тайны. Узнал я, что Тангей относится ко всем ученикам и учителям, за исключением мистера Крикла, как к своим исконным врагам и единственная его радость – злобствовать и делать пакости. Узнал я, что у мистера Крикла есть сын, который недолюбливал Тангея, а в один прекрасный день этот сын, помогавший мистеру Криклу в школе,

попрекнул его жестоким обращением с учениками и, кроме этого, кажется, протестовал против обхождения отца с матерью. В результате мистер Крикл выгнал его из дому, и с той поры миссис и мисс Крикл ведут невеселую жизнь.

Но больше всего удивило меня в этих рассказах о мистере Крикле то, что в школе есть один ученик, на которого он не смеет поднять руку, и этот ученик – Стирфорт. Сам Стирфорт подтвердил это и заявил, что хотелось бы ему поглядеть, как тот на это осмелится. Один робкий ученик (не я) спросил, что бы он сделал, если бы это случилось, и Стирфорт, погрузив спичку в коробок с фосфором, дабы придать своему ответу больший блеск, объявил, что первым делом он бацнул бы мистера Крикла по голове семишиллинговой бутылкой чернил, всегда стоявшей на каминной доске. Затаив дыхание, мы сидели некоторое время молча, во тьме.

Я узнал, что мистер Шарп и мистер Мелл, должно быть, получают ничтожное жалованье и, когда за столом у мистера Крикла подают жаркое и холодную говядину, полагается, чтобы мистер Шарп предпочитал холодную говядину; это было также подтверждено Стирфортом, единственным учеником, столовавшимся у мистера Крикла. Узнал я еще, что парик мистера Шарпа ему не впору и было бы куда лучше, если бы он не так чванился им (кто-то сказал: «Не так задирал нос»), потому что сзади из-под парика торчат его собственные рыжие волосы.

Я узнал и о том, что один из учеников, сын торговца уг-

лем, принят в пансион взамен уплаты за уголь и получил по этому случаю прозвище Товарообмен, взятое из того раздела в учебнике арифметики, где толкуется о подобных сделках. Узнал я, что пиво, подаваемое за столом, – просто-напросто грабеж родителей, а пудинг – сплошное мошенничество. Я узнал, что, по мнению всех, мисс Крикл влюблена в Стирфорта, что показалось мне весьма возможным, когда, сидя в темноте, я думал о его звучном голосе, красивом лице, любезных манерах и вьющихся волосах. Узнал я также, что мистер Мелл – неплохой человек, но у него нет за душой и шести пенсов, а старая миссис Мелл, его мать, конечно, бедна, как Иов. Тут я вспомнил свой завтрак и возглас: «Мой Чарли!» – но промолчал и притаился как мышь, о чем мне приятно теперь упомянуть.

Беседа продолжалась еще некоторое время после того, как пир окончился. Бо`льшая часть гостей отправилась спать, как только все было съедено и выпито, а мы, полураздетые, все еще сидели и шушукались, а затем последовали примеру остальных.

– Спокойной ночи, юный Копперфилд! – сказал Стирфорт. – Я о тебе позабочусь.

– Вы очень добры. Я вам очень признателен, – ответил я с благодарностью.

– У тебя нет сестры? – спросил Стирфорт, зевая.

– Нет, – сказал я.

– Жаль. Если бы у тебя была сестра, мне кажется, глаза

у нее были бы блестящие, а сама она была бы хорошенькая, робкая малютка. Мне хотелось бы с ней познакомиться. Спокойной ночи, юный Копперфилд!

– Спокойной ночи, сэр, – отозвался я.

Улегшись в постель, я долго о нем думал и, помнится, привстал, чтобы взглянуть на него, – он спал, освещенный луной, красивое его лицо обращено было ко мне, а руку он подложил под голову. Мне он казался всесильным, именно потому я был поглощен мыслями о нем. Даже смутного намека на сокрытое от нас будущее нельзя было увидеть на его лице при лунном свете. И тень не падала от него, когда во сне я гулял с ним всю ночь по саду.

Глава VII
Мое «первое полугодие» в школе Сэлем-Хаус

На следующий день ученье началось всерьез. Вспоминаю, как я был потрясен, когда внезапно стих шум и гам в классной комнате при появлении мистера Крикла, который вошел после завтрака и остановился у порога, озирая нас, словно великан в сказке, обозревающий своих пленников.

Тангей стоял рядом с мистером Криклом. Незачем было ему так грозно рявкать: «Молчать!» – ученики и без того застыли, безгласные и недвижимые.

Видно было, что мистер Крикл говорит, а от мистера Тангея мы услышали следующее:

– Итак, мальчики, начинается новое полугодие. Хорошенько приготовьтесь к тому, что вы будете делать в этом новом полугодии. Советую вам со всем рвением приступить к урокам, потому что я со всем рвением приступаю к наказаниям. Я не стану делать никаких поблажек. Напрасно вы будете почесывать да потирать спину – все равно вам не удастся стереть следы моих ударов. А теперь за работу!

Когда это страшное вступление закончилось и Тангей заковылял из комнаты, мистер Крикл подошел ко мне и сказал, что если я горазд кусаться, то и он на это дело мастер. Затем

он помахал тростью и спросил, что я думаю насчет *такого зуба*? Что это, клык? Или коренной зуб? Достаточно ли острый? Может он укусить? Может, а? При каждом вопросе он ударял меня тростью так, что я корчился от боли. И очень скоро я получил (по словам Стирфорта) права гражданства в Сэлем-Хаусе, а заодно столь же скоро залился слезами.

Я отнюдь не хочу сказать, что отмечен был я один. По мере того как мистер Крикл обходил классную комнату, такие знаки внимания получило большинство учеников (в особенности младших). Добрая половина мальчиков корчилась и заливалась слезами, прежде чем начались уроки, а сколько их корчилось и заливалось слезами, прежде чем уроки кончились, право, я не решаюсь припомнить, опасаясь, как бы меня не обвинили в преувеличении.

Мне кажется, на свете никто и никогда не любил своей профессии так, как любил ее мистер Крикл. Он бил мальчиков с таким наслаждением, словно утолял волчий голод. Я уверен, что особенно неравнодушен был он к толстощеким ученикам; такой мальчик казался ему чрезвычайно лакомым, и он не находил себе места, если не принимался лупцевать его с самого утра. У меня были пухлые щеки, – следовательно, кому же и знать, как не мне! Теперь, когда я думаю об этом человеке, кровь закипает в моих жилах от негодования, которое – я уверен – я испытал бы, даже если бы знал о нем только понаслышке и никогда не был в его власти. Кровь закипает у меня в жилах, ибо я знаю, что это невежествен-

ное животное имело столько же прав на то великое доверие, какое ему оказали, сколько на пост генерал-адмирала и главнокомандующего. Вполне вероятно, что на том и на другом посту он принес бы куда меньше зла!

А мы, несчастные, юные жертвы этого безжалостного идола, как пресмыкались мы перед ним! «Хороша заря жизни, – думаю я, оглядываясь назад, – ползать и унижаться перед человеком с такими наклонностями и притязаниями!»

Вот я снова сижу за партой и слежу за его взглядом, слежу смиренно за его взглядом, пока он разлиновывает тетрадку по арифметике для другой жертвы, которая, пытаясь утишить боль, обвязывает носовым платком пальцы, только что исхлестанные той же линейкой. Дела у меня много. Нет, не от безделья я слежу за взглядом мистера Крикла, этот взгляд болезненно притягивает меня, и я мучительно хочу знать, что будет дальше и мне ли придет черед страдать или кому-нибудь другому. Мальчуганы, сидящие за мной, следят за его взглядом с таким же томлением. Мне кажется, он это знает, хотя притворяется, будто не обращает на нас никакого внимания. Он зверски кривит рот, разлиновывая тетрадь, но вот он искоса поглядывает на нас, а мы все склоняемся над учебниками и дрожим. Еще секунда – и мы снова впиваемся в него глазами. Злосчастный преступник, сделавший ошибку в упражнении, приближается к нему по его команде. Преступник, заикаясь, бормочет что-то в свою защиту и уверяет, что завтра исправится. Мистер Крикл, прежде чем

прибить его, издевается над ним, а мы смеемся, несчастные собачонки, мы смеемся, бледные как полотно, и душа у нас уходит в пятки.

Снова сижу я за партой в летний, навевающий дремоту день. Слышу гул и жужжание, словно вокруг меня не ученики, а навозные мухи. Смутно ощущаю тяжесть в желудке от застывшего говяжьего жира (обедали мы часа два назад), и голова у меня налита свинцом. Я отдал бы весь мир за то, чтобы поспать. Я сижу, не отрывая глаз от мистера Крикла, и моргаю, как сова, а когда дремота на миг одолевает меня, я все-таки вижу, будто сквозь туман, как он разлиновывает тетрадки… Но тут он подкрадывается ко мне сзади и побуждает увидеть его ясней, оставляя у меня на спине багровую полосу.

А вот я на площадке для игр, и снова перед моими глазами маячит он, хотя я его не вижу. Окно неподалеку, за которым, как мне известно, он сейчас обедает, заменяет мне его, и я не спускаю глаз с окна. Если его лицо показывается за стеклом, на моем лице появляется выражение покорное и умоляющее. Если он смотрит в окно, самый храбрый мальчуган (за исключением Стирфорта), только что оравший во все горло, умолкает и погружается в раздумье. Однажды Трэдлс (самый злополучный мальчик в мире) нечаянно разбил это окно мячом. Я и теперь содрогаюсь и с ужасом вижу, как это произошло и как мяч угодил в священную голову мистера Крикла.

Бедняга Трэдлс! В костюмчике небесно-голубого цвета, таком узком, что руки его и ноги походили на немецкие сосиски или на рулет с вареньем, он был самым веселым и самым несчастным из учеников. Он всегда был излупцован тростью: мне кажется, его лупцевали ежедневно в течение всего полугодия – за исключением только одного понедельника (в тот понедельник занятий не было), когда ему попало линейкой по обеим рукам, – и он все время собирался писать об этом своему дяде, но так и не написал. Опустив голову на парту и посидев некоторое время, он снова приободрялся, начинал смеяться и рисовал на своей грифельной доске скелеты, хотя на глазах у него еще стояли слезы. Сперва я недоумевал, какое утешение находит Трэдлс в рисовании скелетов, и некоторое время взирал на него, как на своего рода отшельника, который напоминает себе этими символами бренности о том, что лупцовка палкой не может продолжаться вечно. Впрочем, вероятно, он их рисовал просто потому, что это было легко и они не нуждались ни в какой отделке.

Он был очень благороден, этот Трэдлс, и почитал священным долгом учеников стоять друг за друга. За это ему неоднократно приходилось расплачиваться, в частности – однажды, когда Стирфорт расхохотался в церкви, а бидл заподозрил Трэдлса и вывел его вон. Как теперь вижу его, шествующего под стражей и сопровождаемого презрительными взглядами прихожан. Он так и не выдал истинного виновника, хотя жестоко пострадал за это на следующий день

и просидел в заключении так долго, что вышел оттуда с целым кладбищем скелетов, кишмя кишевших в его латинском словаре. Но награду он получил. Стирфорт сказал, что он совсем не ябеда, и мы все сочли эти слова высшей похвалой. Что касается меня, то я готов был пойти на все, только бы заслужить такое отличие (хотя был гораздо моложе Трэдлса и отнюдь не так смел, как он).

Стирфорт рука об руку с мисс Крикл идет в церковь впереди всех нас – это зрелище было одно из самых знаменательных в моей жизни. В моих глазах мисс Крикл не могла равняться красотою с малюткой Эмли, и я не был в нее влюблен (на это я не осмеливался); но мне она казалась замечательно миловидной леди, никем не превзойденной в деликатности обращения. Когда Стирфорт, в белых брюках, нес ее зонтик, я гордился знакомством с ним и был убежден, что она не может не обожать его всем сердцем. Мистер Шарп и мистер Мелл тоже были значительными особами, но Стирфорт затмевал их, как солнце затмевает звезды.

Стирфорт продолжал покровительствовать мне и оказался очень полезным другом, так как никто не смел задевать того, кого он почтил своим расположением. Он не мог – да и не пытался – защитить меня от мистера Крикла, обращавшегося со мной весьма сурово, но, когда тот бывал более жесток, чем обычно, Стирфорт говорил, что мне не хватает его смелости и что он, Стирфорт, ни в коем случае не потерпел бы такого обращения; этим он хотел подбодрить меня, за

что я был ему очень благодарен. Жестокость мистера Крикла имела, впрочем, одно хорошее для меня последствие – единственное, насколько я могу припомнить. Он нашел, что мой плакат мешает ему, когда он, разгуливая позади моей парты, собирается огреть меня тростью по спине, а потому плакат скоро был снят, и больше я его не видел.

Благоприятный случай скрепил узы дружбы между мной и Стирфортом, преисполнив меня гордостью и удовлетворением, хотя он и повлек за собой некоторые неудобства. Однажды, когда он почтил меня беседой на площадке для игр, я между прочим сказал, что кто-то или что-то – теперь уже не помню, что именно, – напоминает кого-то или что-то в «Перигрине Пикле». Он промолчал, но вечером, когда мы ложились спать, спросил, есть ли у меня эта книга.

Я ответил, что нет, и рассказал, как я прочел ее, а также и другие книги, упомянутые мною выше.

– И ты помнишь их? – спросил Стирфорт.

– О да, – ответил я, – у меня хорошая память, и я помню их очень хорошо.

– Так знаешь что, юный Копперфилд, ты будешь их мне рассказывать. Я не могу сразу заснуть, а по утрам всегда просыпаюсь слишком рано. Рассказывай все книги по очереди, одну за другой. Это будет точь-в-точь как в «Тысяче и одной ночи».

Я почувствовал себя очень польщенным таким предложением, и в тот же вечер мы приступили к делу. Какие опусто-

шения я произвел в произведениях любимых мной писателей, пересказывая их по-своему, определить я не могу, да, признаться, и не хотел бы этого знать; но у меня была глубокая вера в то, что я рассказывал, а рассказывал я, как мне кажется, с воодушевлением и безыскусственно, и эти качества скрашивали многое.

Однако была и оборотная сторона медали: по вечерам меня часто клонило ко сну или я бывал не в духе и не расположен рассказывать; в таких случаях это была нелегкая работа, но ее надо было исполнять, ибо, разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы вызвать разочарование или неудовольствие Стирфорта. И по утрам, когда, утомленный, я хотел бы поспать еще часок, было нелегко просыпаться и, подобно султанше Шахразаде, вести длинный рассказ, пока не раздастся звон колокола. Но Стирфорт был настойчив; и поскольку он в свою очередь объяснял мне арифметические задачи, примеры и вообще все, что было для меня слишком трудно, я ничего не потерял при такой сделке. Впрочем, надо отдать мне справедливость. Мною руководили не желание извлечь пользу и не себялюбие, да и не страх перед Стирфортом. Я восхищался им, любил его, и одно его одобрение являлось для меня достаточной наградой. Оно было так для меня драгоценно, что и теперь, когда я вспоминаю об этих пустяках, сердце у меня сжимается.

Стирфорт был ко мне внимателен; свое внимание он проявил по одному поводу весьма открыто и причинил, как я по-

дозреваю, огорчение бедняге Трэдлсу и остальным мальчикам. Обещанное письмо от Пегготи – какое это было для меня утешение! – прибыло через несколько недель после начала занятий, а с ним прибыли пирог, лежавший, как в гнезде, среди апельсинов, и две бутылочки смородиновой настойки. Как повелевал мне долг, я сложил эти сокровища к ногам Стирфорта и просил ими распоряжаться.

– Вот что я скажу, юный Копперфилд, – заявил он, – вино надо сохранить, ты будешь смачивать им горло, когда рассказываешь.

Я покраснел и, по скромности своей, просил его об этом не беспокоиться. Но, по его словам, он давно заметил, что я иногда начинаю хрипеть – как он выразился, у меня «скребет в глотке», – и потому каждую каплю надлежит употребить для упомянутой им цели. Итак, настойка была заперта в его сундучок, он собственноручно отливал ее в пузырек и давал мне глотнуть через гусиное перо, просунутое в пробочку, когда, по его соображениям, я нуждался в подкреплении. Иногда, дабы усилить ее действие, он бывал так мил, что выжимал в пузырек апельсинный сок, подбавлял имбирю или мятных капель. И хотя я не уверен, выигрывало ли на вкус питье от этих экспериментов и можно ли было рекомендовать перед сном и рано утром такую смесь как целительное для желудка средство, но я выпивал его с благодарностью, и такая заботливость очень трогала меня.

Кажется, Перигрин занял у нас не один месяц, и еще мно-

го месяцев – другие произведения. Нашей затее, я уверен, не угрожал конец из-за недостатка книг, а настойки хватило почти на все это время. Бедняга Трэдлс – когда я думаю об этом мальчугане, мне почему-то всегда хочется смеяться, хотя на глазах у меня слезы, – бедняга Трэдлс играл роль хора: он делал вид, будто корчится от смеха в комических местах повествования и трясется от страха, когда речь идет о волнующих событиях. Но очень часто это было мне помехой. Помню, чтобы нас рассмешить, он стучал зубами при каждом упоминании об альгвазиле, участвовавшем в приключениях Жиля Блаза, а однажды этот злосчастный шутник так шумно изобразил приступ ужаса, когда Жиль Блаз встретился в Мадриде с главарем шайки разбойников, что его услышал бродивший по коридору мистер Крикл, который и высек нарушителя порядка в спальне.

Все, что было в моей душе романтического и мечтательного, укрепилось благодаря этим рассказам в темноте, и в этом отношении наша затея могла причинить мне вред. Но меня воодушевляло то обстоятельство, что в моем дортуаре ко мне относились как к своеобразной игрушке, а мой дар рассказчика приобрел в пансионе широкую известность и привлек ко мне внимание, хотя я был самым юным учеником. В школах, где царит неприкрытая жестокость, вряд ли могут обучать хорошо, даже безотносительно к тому, стоит ли во главе их тупица или человек знающий. Мне кажется, ученики моего пансиона были так же невежественны, как

любые другие школяры; их слишком много запугивали и колотили, чтобы учение пошло впрок, и они могли добиться успехов не больше, чем тот, кто, живя среди постоянных мучений, терзаний и невзгод, старается добиться преуспеяния в жизни. Но мое детское тщеславие и помощь Стирфорта все-таки побуждали меня трудиться, и хотя это не избавляло меня от наказания, тем не менее я представлял собою исключение среди учеников, так как настойчиво подбирал крохи школьной премудрости.

Большую помощь мне оказал мистер Мелл, питавший ко мне слабость, о чем я вспоминаю с благодарностью. Мне всегда было тяжело видеть, как Стирфорт старается унизить его, не упуская случая оскорбить его чувства или подбить на это других. Долгое время это мучило меня еще и потому, что Стирфорт, от которого я не мог скрыть тайну точно так же, как не мог утаить от него пирог или какой-нибудь другой осязаемый предмет, – Стирфорт очень скоро узнал от меня о двух старухах, к которым водил меня мистер Мелл; и я всегда опасался, как бы он не разболтал об этом и не начал его допекать.

Когда я завтракал в то первое утро и заснул под сенью павлиньих перьев и под звуки флейты, никто из нас, я уверен, не думал о возможных последствиях посещения богадельни столь незначительной, как я, особой. Но этот визит имел непредвиденные последствия, и вдобавок очень серьезные.

Однажды, когда мистер Крикл по нездоровью оставался у

себя, что, натурально, вызвало великую радость учеников, в классе во время утренних занятий было очень шумно. Трудно было справиться с мальчиками, вздохнувшими радостно и облегченно; и хотя ужасный Тангей два-три раза появлялся со своей деревяшкой и брал на заметку главных нарушителей тишины, это не произвело никакого впечатления, ибо ученики знали, что завтра им все равно попадет, как бы они себя ни вели, и, несомненно, считали более мудрым насладиться сегодняшним днем.

День был полупраздничный – суббота. Но шум на площадке для игр мог потревожить мистера Крикла, а для прогулки погода была неподходящая, и потому после полудня нам приказали идти в класс, хотя и задали более легкие уроки, чем обычно. В этот день, как всегда по субботам, мистер Шарп уходил завивать свой парик, и мистеру Меллу, привыкшему выполнять подсобную работу, пришлось управляться с учениками одному.

Если образ быка или медведя может прийти на ум в связи с таким кротким созданием, как мистер Мелл, то в этот день, когда шум и гам достигли самой высшей точки, я уподобил бы мистера Мелла одному из упомянутых животных, которого травит тысяча собак. Я вижу его: вот он склоняет над книгой, лежащей на пюпитре, голову, которая трещит от боли, поддерживает ее костлявой рукой и тщетно старается продолжать урок, несмотря на рев и гвалт, от которых даже у спикера палаты общин закружилась бы голова. Мальчишки

вскакивают со своих мест, играют в «четыре угла», одни хохочут, поют, болтают, другие пляшут, улюлюкают, шаркают ногами по полу, третьи вертятся вокруг мистера Мелла, скалят зубы, строят рожи, передразнивают его и за его спиной, и прямо перед его носом, издеваются над его бедностью, над его ботинками, над его фраком, над его матерью, надо всем, что с ним связано и что они должны были бы уважать.

– Тише! – восклицает мистер Мелл, вдруг подымаясь и хлопая книгой по пюпитру. – Что это? Это же невыносимо! Можно с ума сойти! Мальчики! Как вы смеете держать себя так со мной?!

Это была моя книга. Я стою возле него, слежу за его взглядом, озирающим комнату, и вижу, как все замерли – одни от изумления, другие чуть-чуть испугавшись, а некоторые, быть может, смущенные.

Место Стирфорта – в глубине длинной комнаты, в противоположном углу. Он стоит, прислонившись спиной к стене и заложив руки в карманы, и, когда взор мистера Мелла останавливается на нем, он складывает губы так, словно только что свистел.

– Тише, мистер Стирфорт! – говорит мистер Мелл.

– Сами вы тише! – отвечает, покраснев, Стирфорт. – Кому вы это говорите?

– Садитесь! – приказывает мистер Мелл.

– Сами садитесь и занимайтесь своим делом! – отвечает Стирфорт.

Слышится хихиканье и аплодисменты, но мистер Мелл так бледен, что мгновенно воцаряется тишина, а один из учеников, собравшийся за его спиной снова изобразить его мать, передумывает и делает вид, будто ему нужно очинить перо.

– Если вы думаете, Стирфорт, что мне неизвестно о вашем влиянии на них, – тут мистер Мелл кладет мне на голову руку, сам того не замечая, как мне кажется, – или что я не видел, как вы всего несколько минут назад подбивали малышей на разные наглые выходки против меня, то вы ошибаетесь.

– Я вообще о вас не думаю – не стоит труда, – а потому и не могу ошибаться, – холодно отвечает Стирфорт.

– И если вы пользуетесь здесь своим положением фаворита, – губы у мистера Мелла начинают дрожать, – чтобы оскорблять джентльмена…

– Джентльмена? А где он? – перебивает Стирфорт.

Тут кто-то восклицает:

– Стыдно, Стирфорт! Очень нехорошо!

Это кричит Трэдлс. Немедленно мистер Мелл приказывает ему замолчать.

– …оскорблять, сэр, того, кому в жизни не повезло и кто не причинил вам ни малейшей обиды… Вы уже не ребенок и достаточно умны, чтобы понять и этого не делать… – Губы мистера Мелла дрожат все больше. – Значит, вы поступаете низко и подло… Можете сесть или стоять, как вам будет

угодно. Копперфилд, продолжайте.

– Погоди, Копперфилд, – говорит Стирфорт, выходя на середину комнаты, – погоди… Вот что я вам скажу, мистер Мелл, раз и навсегда: вы осмеливаетесь называть меня низким и подлым, но вы-то сами – наглый нищий! Нищим вы были всегда, вы это знаете, но теперь оказывается, что вы наглый нищий!

Собирался ли он ударить мистера Мелла, или мистер Мелл – его, а может быть, у обоих было такое намерение – не знаю, но я вижу, как все каменеют и вдруг среди нас появляется мистер Крикл рядом с Тангеем, а в дверь заглядывают испуганные миссис и мисс Крикл. Мистер Мелл облокачивается на пюпитр, закрывает лицо руками и сидит неподвижно.

– Мистер Мелл! – произносит мистер Крикл, хватая его за плечо, и сипенье мистера Крикла слышно столь отчетливо, что Тангею нет нужды повторять его слова. – Мистер Мелл, надеюсь, вы не забылись?

– Нет, сэр… нет, – говорит учитель, открывая лицо, покачивая головой и судорожно потирая руки. – Нет, сэр… нет. Я опомнился, я… нет, я не забылся, сэр. Я опомнился, я… я бы хотел только, чтобы вы пораньше вспомнили обо мне, мистер Крикл. Это… это было бы более великодушно, более справедливо, сэр. Это избавило бы меня, сэр, от многого…

Мистер Крикл, не спуская глаз с мистера Мелла, опирается рукой на плечо Тангея, ставит ногу на скамейку и усажи-

вается на пюпитр. Бросив с этого трона суровый взгляд на мистера Мелла, который, все еще в страшном возбуждении, качает головой и потирает руки, мистер Крикл поворачивается к Стирфорту и говорит:

– Раз он не снисходит до объяснений, может быть, вы, сэр, скажете, что это все значит?

Сначала Стирфорт уклоняется от ответа, гневно и пренебрежительно смотрит на своего противника и молчит. Помню, даже в этот момент я не мог не подумать о том, какая благородная у него осанка и каким неказистым и простоватым кажется по сравнению с ним мистер Мелл.

– Что он подразумевал, когда говорил о фаворитах? – произносит наконец Стирфорт.

– О фаворитах?! – повторяет мистер Крикл, и вены у него на лбу сразу вздуваются. – Кто говорил о фаворитах?

– Он! – произносит Стирфорт.

– Объясните, сэр, что вы под этим подразумевали? – раздраженно спрашивает мистер Крикл, поворачиваясь к своему помощнику.

– Я подразумевал, мистер Крикл, то, что сказал, а именно что никто из ваших учеников не имеет права пользоваться своим положением фаворита, чтобы унижать меня, – тихо говорит мистер Мелл.

– Унижать вас?! – сипит мистер Крикл. – Бог ты мой! Но позвольте-ка вас спросить, мистер… как вас там зовут… – Тут мистер Крикл скрещивает на груди руки и так сдвигает

брови, что почти не видно его маленьких глазок. – Позвольте вас спросить, оказываете ли вы должное уважение *мне*, говоря о фаворитах? Мне, сэр? – Мистер Крикл вдруг наклоняется к нему, словно хочет его боднуть, и снова выпрямляется. – Мне, главе этого заведения и вашему хозяину?!

– Готов признать, что это было неуместно, сэр. Будь я поспокойнее, я не поступил бы так, – говорит мистер Мелл.

Тут вмешивается Стирфорт:

– Потом он сказал, что я низок, сказал, что я подл, и тогда я назвал его нищим. Если бы *я* был спокоен, возможно, я не назвал бы его нищим. Но я назвал и готов отвечать за последствия!

Меня бросает в жар от этой смелой речи, хотя, быть может, я не задумываюсь над тем, угрожают ли ему какие-нибудь последствия. Столь же сильное впечатление она производит на учеников; среди них легкое движение, хотя никто не произносит ни слова.

– Меня удивляет, Стирфорт, – говорит мистер Крикл, – хотя ваша искренность делает вам честь, да, делает вам честь, меня все же удивляет, Стирфорт, что вы могли так назвать человека, служащего, сэр, и получающего жалованье в Сэлем-Хаусе.

Стирфорт усмехается.

– Это не ответ на мое замечание, сэр. От вас, Стирфорт, я жду большего, – сипит мистер Крикл.

Если мистер Мелл казался мне неказистым по сравнению

с красивым юношей, то невозможно описать, сколь неказист был мистер Крикл.

– Посмотрим, как он будет это отрицать, – говорит Стирфорт.

– Отрицать, что он нищий? – восклицает мистер Крикл. – Да где же он просил милостыню?

– Если не он сам, то его ближайшая родственница. Это одно и то же, – заявляет Стирфорт.

Тут он взглядывает на меня, а рука мистера Мелла ласково поглаживает меня по плечу. Лицо у меня пылает, раскаяние гнетет мне сердце, я смотрю на мистера Мелла, но тот не сводит глаз со Стирфорта. Он не перестает ласково поглаживать меня по плечу, но смотрит на Стирфорта.

– Так как вы ждете от меня оправданий и объяснения, то я могу сказать, мистер Крикл, что` я имел в виду: его мать живет на подаяния в богадельне! – говорит Стирфорт.

Мистер Мелл все еще смотрит на него и все еще поглаживает меня по плечу, и – если я не ослышался – он тихо шепчет:

– Да, я так и знал.

Грозно нахмурившись, мистер Крикл с притворной вежливостью обращается к своему помощнику:

– Мистер Мелл! Вы слышите этого джентльмена? Не будете ли вы так любезны, прошу вас, опровергнуть перед всеми учениками справедливость его утверждения?

– Он прав, сэр… То, что он сказал, – чистая правда, –

раздается в мертвой тишине ответ мистера Мелла.

– Будьте добры, сообщите во всеуслышание, знал ли я об этом вплоть до сего момента? – спрашивает мистер Крикл, склонив голову набок и обводя взглядом комнату.

– Я не думаю, что вам это было достоверно известно, – говорит тот.

– Не думаете?! Да разве вы этого не знаете точно?

– Мне кажется, вы никогда не считали мое положение завидным. Вы знаете, каковы мои дела, и всегда это знали, – отвечает помощник.

– А мне кажется, уж коли на то пошло, что вы сильно ошибались и принимали мой пансион за бесплатную школу для бедняков, – говорит мистер Крикл, и вены у него на лбу вздуваются еще больше. – Мистер Мелл, мы должны расстаться. И чем скорей, тем лучше.

– Раз так, то лучше всего сделать это сейчас, – отвечает мистер Мелл и встает.

– Для вас это будет лучше всего, сэр! – говорит мистер Крикл.

– Я ухожу от вас, мистер Крикл, и покидаю вас всех, – говорит мистер Мелл, обводя взглядом комнату, и снова ласково поглаживает меня по плечу. – Лучшее, что я могу вам пожелать, Джеймс Стирфорт, – это устыдиться содеянного сегодня. А в настоящее время я меньше всего желал бы считать вас своим другом или другом тех, к кому я расположен.

Снова он кладет руку мне на плечо, а затем, вынув из пю-

питра свою флейту и стопку книг и оставив ключ для своего преемника, покидает пансион, унося под мышкой свое имущество. Вслед за этим мистер Крикл с помощью Тангея произносит речь, в которой благодарит Стирфорта за защиту (может быть, слишком горячую) независимости и репутации Сэлем-Хауса и в заключение пожимает ему руку, а мы трижды кричим «ура» – я не совсем понимаю почему, но полагаю, что в честь Стирфорта, – и я тоже кричу восторженно, хотя на сердце у меня тяжело. Потом мистер Крикл расправляется тростью с Томми Трэдлсом, когда обнаруживается, что тот не кричал «ура», а плакал по поводу ухода мистера Мелла. Наконец мистер Крикл возвращается к своему дивану или в постель, во всяком случае туда, откуда пришел.

Теперь мы предоставлены самим себе и смущенно посматриваем друг на друга. Я так огорчен и так укоряю себя за участие в происшедшем, что от слез меня удерживают только опасения, как бы Стирфорт, часто поглядывающий на меня, не почел недружелюбием или, вернее, непочтительностью – принимая во внимание разницу в возрасте и мое отношение к нему – проявление чувств, которые меня мучают. Он был очень рассержен на Трэдлса и выразил удовольствие, что того наказали.

Бедняга Трэдлс, чья голова уже поднялась с пюпитра, а сам он, как всегда, принялся утешаться вереницей скелетов, – бедняга Трэдлс заявил, что это ровно ничего не значит. С мистером Меллом поступили плохо.

– Кто же с ним плохо поступил, отвечай, девчонка? – спросил Стирфорт.

– Кто? Ты, вот кто! – был ответ.

– Что же я сделал?

– Что ты сделал? Оскорбил его и лишил службы! – немедленно ответил Трэдлс.

– Оскорбил? – презрительно повторил Стирфорт. – Ручаюсь, он недолго будет об этом помнить. У него не такое чувствительное сердце, как у вас, мисс Трэдлс. А что до службы – ах, какая у него была превосходная служба! – неужто ты думаешь, что я не напишу домой и не позабочусь о том, чтобы ему послали денег? Эх ты, девчонка!

Намерение Стирфорта мы сочли весьма благородным; его мать была богатая вдова и, по слухам, исполняла почти все, о чем бы он ни просил. Мы очень радовались поражению Трэдлса и до небес превозносили Стирфорта, в особенности когда он удостоил нас заявления, что сделал это только ради нас и ради нашего блага и этим бескорыстным деянием оказывает нам великую милость.

Но когда в тот вечер, как обычно, я начал в темноте свое повествование, то, сознаюсь, мне не раз слышались унылые звуки флейты мистера Мелла; когда же Стирфорт наконец устал, а я улегся в постель, мне чудилось: флейта звучит где-то так скорбно, что я почувствовал себя совсем несчастным.

Однако я скоро забыл о мистере Мелле, созерцая Стирфорта, который легко и охотно, без единой книжки (мне ка-

залось, он знает все наизусть), готовил с нами некоторые уроки, пока не нашли нового учителя.

Новый учитель пришел из грамматической школы и, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, обедал один раз у мистера Крикла, чтобы познакомиться со Стирфортом. Стирфорт отозвался о нем очень одобрительно и назвал его «хватом». Я не знал точно, какие ученые заслуги обозначает это слово, но проникся к нему большим уважением и не сомневался в его великой учености, хотя он никогда не уделял моей ничтожной особе столько внимания, сколько уделял мистер Мелл.

В то полугодие произошло еще одно событие, нарушившее течение школьной жизни и запечатлевшееся в моей памяти. Запечатлелось оно по многим причинам.

Однажды, когда мы дошли до полного отупения, а мистер Крикл свирепо колотил тростью направо и налево, вошел Тангей и провозгласил своим зычным голосом:

– Гости к Копперфилду!

Он обменялся несколькими словами с мистером Криклом, сообщил, кто такие эти гости, и осведомился, где их принять; я встал, как полагалось в таких случаях, и, едва держась на ногах от изумления, получил приказ идти через черный ход, надеть чистую манишку и отправиться в столовую. Я повиновался с такой стремительностью, которой не знал за собой раньше. Но когда я подошел к двери приемной, у меня вдруг мелькнула мысль, не приехала ли ко мне моя мать, –

раньше я думал только о мистере и мисс Мэрдстон, – и я отнял руку от двери и остановился на минуту, чтобы справиться со слезами, прежде чем войти.

Вначале я не увидел никого, но кто-то стоял за дверью, потому что она не открылась до конца, я заглянул за дверь и там, к моему удивлению, обнаружил мистера Пегготи и Хэма, которые махали мне шляпами, прижимая друг друга к стене. Я не мог удержаться от смеха, который был вызван не столько их видом, сколько радостью свидания. Мы пожали друг другу руки с большим чувством, а я все смеялся и смеялся, пока не вытащил носовой платок, чтобы вытереть глаза.

Мистер Пегготи (помнится, в течение всего визита он стоял с разинутым ртом) страшно взволновался, увидев меня плачущим, и подтолкнул Хэма, чтобы тот сказал мне что-нибудь.

– Веселей, мистер Дэви! – подбодрил меня Хэм, по своему обыкновению осклабившись. – Как вы выросли!

– Разве я вырос? – переспросил я, снова вытирая глаза. Не знаю, почему я плакал, – должно быть, от радости при виде старых друзей.

– Выросли, мистер Дэви! Еще как выросли! – сказал Хэм.

– Еще как выросли! – подтвердил мистер Пегготи.

И они начали смеяться, глядя друг на друга, и снова рассмешили меня, и так мы смеялись все трое, пока я не почувствовал, что вот-вот снова заплачу.

– Как поживает мама? Вы что-нибудь о ней знаете, мистер Пегготи? – спросил я. – И моя милая, добрая Пегготи?

– Как полагается, – ответил мистер Пегготи.

– А малютка Эмли и миссис Гаммидж?

– Как полагается! – сказал мистер Пегготи.

Наступило молчание. Дабы прервать его, мистер Пегготи вытащил из карманов двух огромных омаров, гигантского краба, большой мешок с креветками и нагрузил всем этим Хэма.

– Видите ли, мы помним, что вы не прочь были полакомиться, когда жили у нас, и потому решились… А старуха сварила их. Я хочу сказать – миссис Гаммидж сварила. Вот именно, миссис Гаммидж сварила их, будьте уверены… – медленно говорил мистер Пегготи, по-видимому уцепившись за эту тему потому, что не знал, как ухватиться за другую.

Я горячо поблагодарил их, а мистер Пегготи, бросив взгляд на Хэма, растерянно взиравшего на всех этих ракообразных и даже не помышлявшего прийти ему на помощь, – мистер Пегготи сказал:

– Изволите видеть, мы, значит, шли из Ярмута в Грейвзенд. А тут как раз отлив и попутный ветер… Моя сестра мне написала, где вы проживаете, и еще написала, что когда попаду я в Грейвзенд, то чтобы обязательно повидал мистера Дэви, сказал, что она кланяется, и еще сказал, что все семейство поживает как полагается. Изволите видеть, малютка

Эмли напишет сестре, как я вернусь домой, что я, мол, вас повидал и вы тоже поживаете как полагается. Вот так у нас и пойдет карусель…

Мне пришлось немного подумать, прежде чем я понял, что мистер Пегготи под этим выражением разумеет передачу сообщений от одного к другому по кругу. Я поблагодарил его от всего сердца и спросил, чувствуя, что краснею, не изменилась ли малютка Эмли с той поры, как мы собирали с ней на берегу ракушки и камешки.

– Да она стала совсем взрослой, вот как! – ответил мистер Пегготи. – Спросите-ка его.

Он имел в виду Хэма, который расплылся в улыбке и радостно закивал головой, прижимая к груди мешок с креветками.

– А личико-то какое красивое! – сказал мистер Пегготи, сияя от удовольствия.

– А какая ученая! – прибавил Хэм.

– А как пишет! – продолжал мистер Пегготи. – Буквы-то черные, как смола, и такие большие, что их видать откуда хочешь!

Приятно было наблюдать, в какой восторг пришел мистер Пегготи, вспоминая свою любимицу! Вот он словно стоит передо мной. Я вижу его добродушное, обросшее бородой лицо, светящееся такой любовью и гордостью, что и описать невозможно. Честные глаза сверкают, словно в глубине их вспыхивает огонек. Широкая грудь вздымается от удоволь-

ствия. Возбужденный, он стискивает свои сильные кулаки и, когда говорит, для пущей выразительности размахивает правой рукой, которая кажется мне, пигмею, огромным молотом.

Хэм был в таком же возбуждении, как и он. Мне кажется, они рассказали бы еще немало о малютке Эмли, если бы их не смутило внезапное появление Стирфорта, который, увидев меня в углу беседующим с незнакомцами, оборвал песенку и, бросив: «Я не знал, что ты здесь, Копперфилд» (гостей обычно принимали в другой комнате), повернулся, чтобы уйти.

Не знаю, захотел ли я похвастать таким другом, как Стирфорт, или объяснить ему, каким образом я приобрел такого друга, как мистер Пегготи, но я робко сказал (боже мой, как ясно припоминаю я все это столько времени спустя!):

– Пожалуйста, не уходите, Стирфорт. Это два моряка из Ярмута, очень славные, добрые люди, родственники моей няни, они приехали из Грейвзенда повидать меня.

– Ах вот что! – промолвил, возвращаясь, Стирфорт. – Рад познакомиться. Как поживаете?

В его обращении с людьми была какая-то простота, какая-то веселая, но отнюдь не развязная непринужденность, которая – я и теперь так думаю – просто очаровывала. Я и теперь думаю, что благодаря его обхождению, жизнерадостности, приятному голосу, красивому лицу, фигуре и врожденному дару привлекать людей (обладают им очень немногие)

казалось вполне естественным поддаться его чарам, которым мало кто мог противостоять. Я видел, как понравился он им обоим, немедленно открывшим ему свои сердца.

– Когда вы будете посылать свое письмо, мистер Пегготи, – сказал я, – пожалуйста, сообщите, что мистер Стирфорт очень добр ко мне и я не знаю, что бы я здесь делал, не будь его.

– Пустяки! – засмеялся Стирфорт. – Не пишите этого.

– И если мистер Стирфорт приедет в Норфолк или Суффолк, когда я там буду, то можете не сомневаться, мистер Пегготи, мне удастся привезти его в Ярмут посмотреть ваш дом. Вы никогда не видели такого чудесного дома, Стирфорт. Он сделан из баркаса!

– Сделан из баркаса? – переспросил Стирфорт. – Это самый подходящий дом для такого заправского моряка!

– Вот именно, сэр, – ухмыльнулся Хэм. – Вы совершенно правы, молодой джентльмен. Джентльмен прав, мистер Дэви! Заправский моряк! Здорово! Прямо в точку!

Мистер Пегготи был так же доволен, как и его племянник, но скромность мешала ему выразить свое одобрение столь же красноречиво.

– Спасибо вам, сэр, спасибо… – проговорил он, отвешивая поклоны, сияя от удовольствия и комкая концы шейного платка. – Делаю все, что полагается по моей части, сэр.

– Большего никто и не может сделать, мистер Пегготи, – сказал Стирфорт, который уже запомнил, как его зовут.

– Бьюсь об заклад, сэр, что и вы так делаете! – потряхивая головой, сказал мистер Пегготи. – И что бы вы ни делали – вы делаете хорошо. Спасибо вам, сэр. Очень признателен вам, сэр, за ваше доброе слово. Может, я и грубоват, сэр, но зато человек я покладистый, смею думать, я хочу сказать – надеюсь, сэр… Мой-то дом нечего смотреть, но он весь к вашим услугам, сэр, если бы вы приехали вместе с мистером Дэви. Но, право, я слизень! – продолжал он, разумея под этим словом улитку, ибо медлил уходить, хотя после каждой фразы порывался уйти, но почему-то оставался. – Желаю вам обоим удачи, желаю счастья…

Хэм, как эхо, повторил эти слова, и мы распростились с ними самым сердечным образом. В этот вечер я чуть было не рассказал Стирфорту о милой малютке Эмли, но постеснялся заговорить о ней и не был уверен, что он не поднимет меня на смех. Помнится, я много и с беспокойством размышлял о словах мистера Пегготи, будто она стала совсем взрослой, но решил, что это вздор.

Мы незаметно пронесли крабов и креветок – которых мистер Пегготи скромно назвал лакомством – в нашу спальню, и перед сном у нас был превосходный ужин. Но Трэдлсу это пиршество не пошло на пользу, не в пример всем остальным. Ему и тут не повезло. Ночью он заболел – он совсем обессилел, – и все из-за краба. А проглотив черную микстуру и синие пилюли в количестве вполне достаточном, по словам Демпла (его отец был доктор), чтобы свалить с ног лошадь,

он, в дополнение, отведал трости и получил, сверх обычных уроков, шесть глав Нового Завета по-гречески за нежелание сознаться во всем.

Конец полугодия оставил у меня сумбурное воспоминание о повседневных жизненных испытаниях: проходит лето, и наступает осень; морозные утра, когда нас будит колокол, и холодные-холодные вечера, когда снова звонит колокол и надо ложиться спать; классная комната по вечерам, тускло освещенная и почти не топленная, и классная комната по утрам, напоминающая огромный ледник; чередование вареной говядины с жареной говядиной, вареной баранины и жареной баранины, гора бутербродов с маслом, зачитанные до дыр учебники, треснувшие грифельные доски, закапанные слезами тетради, расправа тростью и линейкой, стрижка, дождливые воскресенья, пудинги на сале, и все это пропитано противным запахом чернил.

Однако я хорошо помню, как далекие каникулы, столь долго казавшиеся неподвижной точкой, начинают приближаться к нам и точка все растет и растет. Помню, как сперва мы ведем счет месяцами, затем неделями и, наконец, днями, помню, как я начинаю сомневаться, вызовут ли меня домой, а когда узнаю от Стирфорта, что меня вызвали и я непременно поеду домой, меня начинают томить мрачные предчувствия: а что, если я сломаю ногу до наступления каникул? И вот уже стремительно надвигается последний день занятий! На той неделе, на этой, послезавтра, завтра, сегодня, сегодня

вечером… и вот я в ярмутской почтовой карете и еду домой.

В ярмутской почтовой карете я спал урывками, и в неясных сновидениях возникало передо мной все, что за это время произошло. Но когда я просыпался, за окном кареты уже не было площадки для игр Сэлем-Хауса и до меня доносились не удары, расточаемые мистером Криклом Трэдлсу, а щелканье бича, которым кучер понукал лошадей.

Глава VIII
Мои каникулы. Один день, особенно счастливый

Когда мы прибыли еще до зари в гостиницу, где останавливалась почтовая карета, – не в ту гостиницу, в которой служил мой приятель-лакей, – меня проводили наверх, в уютную маленькую спальню с нарисованным на двери дельфином. Помню, мне было очень холодно, хотя меня и напоили внизу горячим чаем перед ярко пылавшим камином, и я с радостью улегся в постель Дельфина, закутался с головой одеялом Дельфина и заснул.

Возчик, мистер Баркис, должен был заехать за мной в девять часов утра. Я встал в восемь, голова у меня слегка кружилась, потому что я не выспался, и я был готов к отъезду раньше назначенного срока. Он встретил меня так, словно и пяти минут не прошло с тех пор, как мы расстались, и я только заглянул в гостиницу разменять шестипенсовик или что-нибудь в этом роде.

Как только я очутился со своим сундучком в повозке и возчик занял свое место, ленивая лошадка тронулась в путь привычным своим шагом.

– У вас прекрасный вид, мистер Баркис, – сказал я, полагая, что ему приятно будет это услышать.

Мистер Баркис потер щеку обшлагом рукава и посмотрел на обшлаг, словно ожидал увидеть на нем следы румянца, но ничего не сказал в ответ на мой комплимент.

– Я исполнил ваше поручение, мистер Баркис, я написал Пегготи, – сказал я.

– А! – отозвался мистер Баркис.

У мистера Баркиса был хмурый вид, и ответил он сухо.

– Что-нибудь я не так сделал, мистер Баркис? – нерешительно спросил я.

– Нет, ничего, – сказал мистер Баркис.

– И поручение исполнено?

– Поручение-то, может, и исполнено, да толку никакого нет, – отозвался мистер Баркис.

Не понимая, о чем он говорит, я стал допытываться:

– Никакого толку нет, мистер Баркис?

– Ничего из этого не вышло, – пояснил он, искоса посмотрев на меня. – Никакого ответа.

– Так, значит, нужен был ответ, мистер Баркис? – спросил я, широко раскрыв глаза: дело представилось мне в новом освещении.

– Если человек говорит, что он не прочь, – начал мистер Баркис, еще раз поглядев на меня, – значит, это все равно что сказать: человек ждет ответа.

– И что же, мистер Баркис?

– А человек и о сю пору ждет ответа, – произнес мистер Баркис, опять уставившись на уши своей лошади.

– Вы ей об этом сказали, мистер Баркис?

– Н-нет, – подумав, проворчал мистер Баркис. – Незачем мне было заезжать туда и говорить. Сам-то я никогда и полдесятка слов ей не сказал. И уж я-то не собираюсь с ней говорить.

– Вы бы хотели, чтобы я это сделал, мистер Баркис? – поколебавшись, спросил я.

– Можете сказать ей, коли хотите, – промолвил мистер Баркис, снова медленно переводя на меня взгляд, – можете сказать, что Баркис ждет ответа. Как, вы говорите, ее зовут?

– Как ее зовут?

– Да, – кивнул головой мистер Баркис.

– Пегготи.

– Это фамилия у нее такая или имя? – спросил мистер Баркис.

– О нет, не имя. Ее имя Клара.

– Вот оно как! – сказал мистер Баркис.

Казалось, это обстоятельство дало ему обильную пищу для размышлений, и некоторое время он сидел в раздумье и насвистывал себе под нос.

– Ну так вот, – произнес он наконец, – вы скажете: «Пегготи! Баркис ждет ответа». А она, может, скажет: «Какого ответа?» А вы скажете: «Ответа на то, что я вам передал». – «А что вы передали?» – скажет она. «Баркис не прочь», – скажете вы.

После такого хитроумного предложения мистер Баркис

толкнул меня локтем в бок, причинив весьма ощутительную боль. Затем он, по своему обыкновению, ссутулился перед крупом лошади и больше не возвращался к затронутой теме, но через полчаса достал из кармана кусок мела и написал с внутренней стороны навеса над повозкой: «Клара Пегготи», – очевидно, чтобы не запамятовать.

Ах, какое это было странное чувство – возвращаться в родной дом, уже переставший быть родным, убеждаясь, что каждый попадающийся мне на глаза предмет напоминает о счастливом старом доме, как о сне, который больше никогда не может мне присниться! Дни, когда моя мать, я и Пегготи жили друг для друга и между нами никто не стоял, – дни эти я вспоминал с такой тоской, пока ехал, что не был уверен, рад ли я своему возвращению и не лучше ли было мне остаться вдалеке от дома и забыть о нем в обществе Стирфорта. Но я уже вернулся; и скоро я подъехал к нашему саду, где в холодном зимнем воздухе ломали себе бесчисленные руки оголенные старые вязы, а по ветру неслись прутики старых грачиных гнезд.

Возчик поставил мой сундучок у калитки и уехал. Я пошел по дорожке к дому, посматривая на окна и на каждом шагу опасаясь увидеть в одном из них мрачную физиономию мистера Мэрдстона или мисс Мэрдстон. Но никто не появлялся; подойдя к дому и зная, что до наступления сумерек можно открыть дверь самому, без стука, я вошел тихими, робкими шагами.

Бог весть какие далекие, младенческие воспоминания могли пробудиться у меня при звуках голоса моей матери, доносившихся из старой гостиной, когда я вошел в холл. Мать тихонько напевала. Должно быть, давным-давно, когда я был еще младенцем, я лежал у нее на руках и слушал, как она мне поет… Напев показался мне новым и в то же время таким знакомым, что сердце мое переполнилось до краев, как будто старый друг вернулся после долгого отсутствия.

Одиноко и задумчиво звучала эта песенка, и я решил, что мать одна. Я тихо вошел в комнату. Она сидела у камина, кормила грудью младенца и придерживала у себя на шее его крошечную ручонку. Ее глаза были опущены и устремлены на личико ребенка, и она пела ему. Но больше никого с ней не было – отчасти моя догадка оказалась правильной.

Я заговорил с ней, а она встрепенулась и вскрикнула. Но, увидев, что это я, она назвала меня своим дорогим Дэви, своим родным мальчиком, пошла мне навстречу, опустилась на колени, поцеловала меня, положила мою голову себе на грудь рядом с маленьким существом, приютившимся там, и поднесла его ручонки к моим губам.

Почему не умер я тогда? Как хотел бы я умереть в ту минуту, когда мое сердце было переполнено! Больше, чем когда-либо, я достоин был в эту минуту быть взятым на небеса.

– Это твой брат, – сказала мать, лаская меня. – Дэви, милый мой мальчик! Мое бедное дитя!

Снова и снова она целовала меня и обнимала. Она все еще

меня ласкала, когда вбежала Пегготи, бросилась перед нами на колени и минут на десять как будто сошла с ума.

Выяснилось, что меня не ждали так рано, – возчик приехал гораздо раньше, чем обычно. Выяснилось также, что мистер и мисс Мэрдстон ушли в гости к соседям и вернутся только к ночи. На это я и надеяться не смел. Мне даже в голову не приходило, что мы трое сможем посидеть еще разок вместе, без помех, и теперь я почувствовал себя так, словно вернулись былые дни.

Мы обедали вместе у камина. Пегготи хотела прислуживать нам, но моя мать не позволила и заставила ее пообедать с нами. Мне подали мою собственную старую тарелку с изображенным на ней коричневым военным кораблем, плывущим на всех парусах, – тарелку, которую Пегготи все время где-то хранила, пока меня не было, и, как утверждала она, не разбила бы ее и за сто фунтов. Мне подали мою собственную старую кружку, украшенную надписью: «Дэвид», и мою собственную маленькую вилку и ножик, который ничего не резал.

Пока мы сидели за столом, я решил, что настал удобный момент сообщить Пегготи о мистере Баркисе, но не успел я договорить, как Пегготи начала смеяться и закрыла лицо передником.

– В чем дело, Пегготи? – спросила моя мать.

Но Пегготи захохотала еще громче, а когда мать попыталась сдернуть передник, она плотно закуталась в него, и го-

лова ее очутилась как будто в мешке.

– Что вы делаете, глупое вы создание? – смеясь, осведомилась моя мать.

– Ох, пропади он пропадом! – воскликнула Пегготи. – Он хочет на мне жениться.

– Для вас это была бы очень хорошая партия, – сказала мать.

– Ох, уж и не знаю! – отозвалась Пегготи. – Не просите меня! Я бы за него не пошла, будь он весь из золота. Да и ни за кого бы не пошла.

– Так почему же вы ему этого не скажете, смешная вы женщина? – спросила мать.

– Да как же ему сказать? – возразила Пегготи, выглядывая из-под передника. – Он со мной и словечком об этом не обмолвился. Уж он-то знает! Посмей он только заикнуться, я бы влепила ему пощечину.

У самой Пегготи щеки были такие красные, каких я никогда еще не видывал ни у нее, ни у кого бы то ни было другого; но она снова прикрыла их на несколько мгновений, потому что снова разразилась неудержимым смехом, а после двух-трех таких приступов опять принялась за обед.

Я заметил, что моя мать стала более серьезной и задумчивой, хотя она и улыбнулась, когда Пегготи посмотрела на нее. Я сразу увидел, что она изменилась. Она по-прежнему была очень хорошенькой, но казалась озабоченной и слишком слабой, а рука у нее была такая тонкая и белая, почти про-

зрачная. Но сейчас я имею в виду другую перемену: изменилась ее манера держать себя, в ней чувствовалось какое-то беспокойство, какая-то тревога. Наконец она протянула руку и, ласково коснувшись руки своей старой служанки, сказала:

– Пегготи, милая, вы не собираетесь замуж?

– Это я-то, сударыня? – вздрогнув, отвечала Пегготи. – Нет, господь с вами!

– Еще не собираетесь сейчас? – мягко спросила моя мать.

– Никогда! – воскликнула Пегготи

Моя мать взяла ее за руку и сказала:

– Не покидайте меня, Пегготи. Останьтесь со мной. Теперь, может быть, уже недолго ждать. Что бы я без вас делала?

– Это я-то вас покину, мое сокровище? – вскрикнула Пегготи. – Да ни за какие блага в мире! И как это пришла такая мысль в вашу глупенькую головку?

Дело в том, что Пегготи издавна привыкла говорить иной раз с моей матерью, как с ребенком.

Моя мать только поблагодарила ее в ответ, а Пегготи, по своему обыкновению, продолжала не переводя духа:

– Это я-то вас покину? Как бы не так! Пегготи от вас уйдет? Хотела б я изловить ее на этом деле! Нет, нет, нет! – воскликнула Пегготи, качая головой и складывая руки. – Уж она-то не уйдет, дорогая моя! Правда, есть такие кошки, которые были бы очень довольны, если бы она ушла, но этого удовольствия они не получат. Пусть себе шипят! Я останусь

с вами, пока не превращусь в сердитую, сварливую старуху. А когда я буду глухой, и хромой, и слепой, и шамкать начну, потому что все зубы растеряю, и вовсе уже ни на что не буду годна, даже на то, чтобы придираться ко мне, тогда я пойду к моему Дэви и попрошу его принять меня.

– А я, Пегготи, буду рад тебе и приму тебя как королеву, – заявил я.

– Да благословит Бог ваше доброе сердечко! – воскликнула Пегготи. – Я знаю, что вы меня примете!

И она поцеловала меня, заранее благодаря за радушный прием. Потом она снова закрыла голову передником и еще раз посмеялась над мистером Баркисом. Потом она вынула младенца из колыбельки и стала нянчиться с ним. Потом убрала со стола, потом пришла уже в другом чепце и со своей рабочей шкатулкой, сантиметром и огарком восковой свечи – точь-в-точь как в былые времена. Мы расположились у камина и чудесно беседовали. Я рассказал им о том, какой жестокий учитель мистер Крикл, а они очень жалели меня. Рассказал я и о том, какой превосходный человек Стирфорт и как он мне покровительствует, а Пегготи объявила, что готова пройти пешком двадцать миль, только бы поглядеть на него. Я взял на руки малютку, когда он проснулся, и нежно баюкал его. Когда он опять заснул, я, по старой своей привычке, от которой давно уже отвык, примостился около матери, обнял ее, прижался румяной щекой к ее плечу и снова почувствовал, что ее прекрасные волосы осеняют меня –

словно ангельское крыло, как думал я в былые времена, – какое это было для меня счастье!

Когда я так сидел подле нее, смотрел на огонь и мне мерещились призрачные картины в раскаленных углях, я почти верил, что никогда не уезжал отсюда, что мистер и мисс Мэрдстон были такими же призраками, которые исчезнут вместе с угасающим огнем, и что нет в моих воспоминаниях ничего истинного, кроме моей матери, Пегготи и меня.

Пегготи штопала чулок, пока не стемнело, а потом, натянув его на левую руку, как перчатку, сидела и держала в правой руке иголку, готовая сделать стежок, как только вспыхнут угли. Понять не могу, чьи это чулки вечно штопала Пегготи и откуда брался этот неистощимый запас чулок, нуждавшихся в штопке. Мне кажется, с самого раннего моего детства она всегда занималась только таким видом рукоделья, и никаким другим.

– Любопытно мне знать, – начала Пегготи, которая иной раз начинала ни с того ни с сего любопытствовать о самых неожиданных вещах, – что сталось с бабушкой Дэви.

– Ах, боже мой, Пегготи, какой вздор вы говорите! – воскликнула моя мать, очнувшись от грез.

– Нет, право же, любопытно было бы знать, сударыня, – повторила Пегготи.

– Почему это вам взбрела в голову мысль об этой особе? Разве вам больше не о ком думать? – осведомилась мать.

– Не знаю, почему оно так случилось, – отвечала Пегго-

ти, – разве что по глупости, но моя голова не умеет выбирать, о ком ей думать. Мысли приходят в нее или не приходят, как им заблагорассудится. Мне любопытно, что сталось с ней.

– Какая вы странная, Пегготи! Можно подумать, что вы были бы рады, если бы она посетила нас еще раз.

– Не дай бог! – воскликнула Пегготи.

– Ну, так будьте добры, не говорите о таких неприятных вещах, – попросила мать. – Несомненно, мисс Бетси живет затворницей в своем коттедже на берегу моря да там уж и останется. Во всяком случае, вряд ли она потревожит нас снова.

– Да-а-а, вряд ли, – задумчиво промолвила Пегготи. – Любопытно мне знать, оставит ли она что-нибудь Дэви, когда умрет.

– О господи, Пегготи, какая вы неразумная женщина! – воскликнула моя мать. – Ведь вы же знаете, как она разобиделась на то, что бедный мальчик вообще на свет родился!

– Пожалуй, она и теперь не захотела бы его простить, – предположила Пегготи.

– А почему ей должно захотеться прощать его теперь? – довольно резко спросила моя мать.

– Я хочу сказать – теперь, когда у него есть брат, – пояснила Пегготи.

Моя мать тотчас же расплакалась и выразила удивление, как осмеливается Пегготи говорить такие вещи.

– Как будто этот бедный невинный малютка, спящий в

своей колыбельке, причинил какое-то зло вам или кому-нибудь еще, ревнивая вы женщина! – вскричала она. – Было бы куда лучше, если бы вы вышли замуж за возчика, мистера Баркиса. Почему бы вам не пойти за него?

– Уж очень обрадовалась бы мисс Мэрдстон, если бы я за него пошла, – сказала Пегготи.

– Какой у вас плохой характер, Пегготи! – сказала моя мать. – Вы завидуете мисс Мэрдстон, как может завидовать только самое нелепое в мире существо. Должно быть, вам хочется держать у себя ключи и самой выдавать провизию? Меня бы это не удивило. А ведь вы знаете, что она это делает только по доброте своей и с самыми лучшими намерениями. Вы это знаете, Пегготи, вы это прекрасно знаете!

Пегготи пробормотала что-то вроде: «Провалиться бы этим самым наилучшим намерениям!» – и еще что-то о том, что не слишком уж много этих самых лучших намерений.

– Я знаю, что у вас на уме, недобрая вы женщина, – продолжала моя мать. – Я все прекрасно понимаю, Пегготи. И вы это знаете, а я удивляюсь, как это вы только со стыда не сгорите. Но сейчас речь идет о другом. Речь идет о мисс Мэрдстон, Пегготи, и вы это не можете отрицать. Разве вы не слышали, как она снова и снова повторяла, что, по ее мнению, я слишком легкомысленная и… и… слишком…

– Хорошенькая, – подсказала Пегготи.

– Ну да, – улыбнувшись, подтвердила моя мать, – и если она говорит такие глупости, разве я в этом виновата?

– Никто не говорит, что вы виноваты, – возразила Пегготи.

– Надеюсь! – воскликнула моя мать. – Разве вы не слыхали, как она повторяла снова и снова, что по этой причине она и хочет избавить меня от хлопот и обязанностей, к которым, по ее словам, я не приспособлена… И право же, я сама не уверена, приспособлена ли я к ним. И разве она не на ногах с утра до поздней ночи, не ходит то туда, то сюда, всегда что-то делает, заглядывает во все углы, и в угольный погреб, и в кладовую, и бог весть куда еще, а ведь это совсем не так приятно… И почему вы стараетесь намекнуть мне, что ни капли преданности во всем этом нет?

– Ни на что я не намекаю, – сказала Пегготи.

– Нет, вы намекаете, Пегготи! – возразила моя мать. – Когда вы не работаете, вы только и делаете, что намекаете. Вам это доставляет удовольствие. А когда вы говорите о добрых намерениях мистера Мэрдстона…

– Никогда я о них не говорила, – перебила Пегготи.

– Да, вы не говорили, но вы намекали, Пегготи, – продолжала моя мать. – Вот об этом-то я и толкую. Это самая плохая черта у вас. Вы намекаете! Я сказала, что прекрасно вас понимаю, и вы сами это видите. Когда вы говорите о добрых намерениях мистера Мэрдстона и делаете вид, будто относитесь к ним с неуважением, а я не верю, чтобы в глубине души вы их не уважали, Пегготи; вы убеждены, так же как и я, что намерения у него добрые и что именно этими намере-

ниями он руководствуется во всех своих поступках. Если он с виду и бывает строг с кем-нибудь – вы понимаете, Пегготи, и Дэви тоже, конечно, понимает, что ни на кого из присутствующих я не намекаю, – то поступает он так в полной уверенности, что тому человеку это пойдет на пользу. Да, он любит этого человека ради меня и поступает подобным образом только ради его блага. В таких делах он лучше разбирается, чем я: мне прекрасно известно, что я слабое, легкомысленное, ребячливое создание, а он – солидный, твердый, серьезный мужчина. И он так много трудов положил на меня, – продолжала моя мать, и слезы, заструившиеся у нее по щекам, свидетельствовали о ее привязчивой натуре, – что я должна быть ему благодарна и подчиняться ему даже в помыслах. И если бывает иначе, Пегготи, тогда я мучаюсь, обвиняю себя, начинаю сомневаться в своих собственных чувствах и не знаю, что делать.

Пегготи сидела, опустив подбородок на пятку чулка, и молча смотрела на огонь.

– Так не будем же ссориться, Пегготи, потому что я этого не вынесу, – сказала моя мать, меняя тон. – Если есть у меня друзья на свете, я знаю – вы мой преданный друг! А если я называю вас нелепым созданием, или несносной женщиной, или еще как-нибудь в этом роде, я хочу только сказать, Пегготи, что вы мой преданный друг и всегда были мне другом, с того самого вечера, когда мистер Копперфилд впервые привел меня в этот дом, а вы вышли встретить меня у калитки.

Пегготи не замедлила откликнуться на этот призыв и крепко-крепко обняла меня, скрепляя договор о дружбе. Думаю, в ту пору я смутно понимал истинный смысл этого разговора: теперь же я уверен, что добрая женщина вызвала его и поддерживала только для того, чтобы моя мать могла утешиться, завершив его этим противоречивым заключением. Замысел ее возымел свое действие, ибо я помню, что весь вечер мать казалась более спокойной и Пегготи не так пристально следила за ней.

Когда с чаепитием было покончено, зола из камина выметена и нагар со свечей снят, я, в память былых времен, прочитал Пегготи главу из книги о крокодилах, – она достала книгу из кармана, и, кто знает, может быть, все время хранила ее там; а потом мы заговорили о Сэлем-Хаусе, что снова побудило меня вернуться к Стирфорту, о котором я главным образом и говорил. Мы были очень счастливы, и этот вечер, последний из таких счастливых вечеров, которому суждено было заключить этот период моей жизни, никогда не изгладится из моей памяти.

Было уже часов десять, когда мы услышали стук колес. Мы все встали, и мать торопливо сказала, что, пожалуй, лучше мне пойти спать, так как уже поздно, а мистер и мисс Мэрдстон считают нужным, чтобы дети ложились рано. Я поцеловал ее, и прежде, чем они успели войти в дом, я уже отправился со свечой наверх. Когда я поднимался в спальню, где сидел когда-то под замком, моему ребяческому вообра-

жению представилось, будто вместе с ними ворвался в дом холодный порыв ветра, который унес, как перышко, все старые, привычные чувства.

Утром я побаивался идти вниз к завтраку, так как еще не видел мистера Мэрдстона с того памятного дня, когда совершил преступление. Однако делать было нечего, и после двух-трех неудачных попыток, когда я останавливался на полпути и на цыпочках бежал назад в свою комнату, я наконец спустился вниз и вошел в гостиную.

Он стоял, повернувшись спиной к камину, а мисс Мэрдстон разливала чай. Он пристально посмотрел на меня, когда я вошел, но больше никак не отозвался на мое появление.

После недолгого замешательства я подошел к нему и сказал:

– Я прошу прощения, сэр. Я очень раскаиваюсь в своем поступке и надеюсь, что вы меня простите.

– Рад слышать, что ты раскаиваешься, Дэвид, – ответил он.

Он подал мне руку, ту самую руку, которую я укусил. Я не мог удержаться, чтобы не всмотреться в красный след, оставшийся на ней; но он был не таким красным, каким стал я, когда увидел мрачное выражение его лица.

– Как поживаете, сударыня? – обратился я к мисс Мэрдстон.

– Ах, боже мой! – вздохнула мисс Мэрдстон, протягивая мне вместо пальцев лопаточку для печенья. – Долго продол-

жаются каникулы?

– Месяц, сударыня.

– Начиная с какого дня?

– С сегодняшнего, сударыня.

– О! – сказала мисс Мэрдстон. – Значит, уже на один день меньше.

Именно таким образом она завела что-то вроде календаря моих каникул и каждое утро неизменно вычеркивала еще один день. Проделывала она это со зловещим видом, пока не дошла до десяти, но, перейдя к двузначным числам, приободрилась и, по мере того как убывало время, стала даже шутить.

В первый же день я имел несчастье привести ее в неописуемый ужас, хотя она и не была подвержена подобным слабостям. Я вошел в комнату, где она сидела с моей матерью; малютка (ему было всего несколько недель) лежал у матери на коленях, и я очень бережно взял его на руки. Вдруг мисс Мэрдстон взвизгнула так, что я чуть было не уронил его.

– Джейн, дорогая! – воскликнула моя мать.

– Боже мой, Клара, разве вы не видите? – вскричала мисс Мэрдстон.

– Что такое, дорогая Джейн? Где? – спросила мать.

– Он его схватил! – закричала мисс Мэрдстон. – Мальчик схватил малютку!

Она оцепенела от ужаса, но все же набралась сил, чтобы метнуться ко мне и выхватить у меня из рук младенца. По-

сле этого ей стало дурно, и пришлось дать ей вишневой настойки. Когда она оправилась, я получил от нее приказ никогда и ни под каким видом не прикасаться к моему братцу, а бедная моя мать, которая – я это видел – желала как раз обратного, покорно подтвердила ее приказ, сказав:

– Конечно, вы правы, дорогая Джейн.

В другой раз, когда мы трое были вместе, этот дорогой малютка – он и в самом деле был дорог мне ради нашей матери – снова послужил невинной причиной страстного негодования мисс Мэрдстон. Он лежал на коленях моей матери, и она, всматриваясь в его глазки, сказала:

– Дэви! Подойди-ка сюда! – и пристально взглянула на меня.

Я заметил, что мисс Мэрдстон опустила свои бусы.

– Ну право же, глаза у них совсем одинаковые, – нежно сказала мать. – Должно быть, у меня такие же глаза. Мне кажется, они такого же цвета, как мои. Нет, они удивительно похожи.

– О чем это вы толкуете, Клара? – спросила мисс Мэрдстон.

– Дорогая Джейн, я нахожу, что у малютки такие же глаза, как у Дэви, – пролепетала моя мать, слегка смущенная резким тоном, каким был задан вопрос.

– Клара! – сказала мисс Мэрдстон, гневно вставая с места. – Иногда вы бываете просто-напросто дурой.

– Дорогая моя Джейн! – укоризненно сказала мать.

– Просто-напросто дурой! – повторила мисс Мэрдстон. – Кто еще мог бы сравнить ребенка моего брата с вашим сыном? Они совсем не похожи! Они ничуть не похожи! Между ними нет ни малейшего сходства. Надеюсь, что такими они и останутся. Не желаю я сидеть здесь и выслушивать подобные сравнения.

С этими словами она величественно вышла из комнаты и хлопнула дверью.

Короче говоря, я не пользовался расположением мисс Мэрдстон. Короче говоря, я не пользовался здесь ничьим расположением, даже своим собственным, ибо те, кто любил меня, не могли это показывать, а те, кто не любил, показывали это слишком открыто, и я мучительно сознавал, что всегда кажусь скованным, неуклюжим и глуповатым.

Я чувствовал, что им со мной так же не по себе, как и мне с ними. Если я входил в комнату, где они сидели беседуя, и моя мать казалась веселой, ее лицо омрачалось тревогой при моем появлении. Если мистер Мэрдстон бывал в наилучшем расположении духа, я портил ему настроение. Если мисс Мэрдстон была в наихудшем, я раздражал ее еще больше. Я был не лишен наблюдательности и видел, что жертвой всегда бывает моя мать; что она не решается заговорить со мной или приласкать меня, не желая вызвать их неудовольствие своим поведением, а позднее выслушать нотацию; что она вечно опасается не только за себя, но и за меня, как бы я не вызвал их неудовольствия, и с беспокойством следит за

выражением их лиц, стоит мне пошевельнуться. Поэтому я решил как можно реже попадаться им на глаза и много раз в эти зимние дни прислушивался к бою церковных часов, когда сидел за книгой в своей неуютной спальне, закутанный в пальтишко.

Иногда, по вечерам, я шел в кухню и сидел с Пегготи. Там я чувствовал себя хорошо и не боялся быть самим собой. Но такое времяпрепровождение, так же как и уединение у себя в комнате, не было одобрено в гостиной. Страсть к мучительству, господствовавшая там, наложила и на то и на другое свой запрет. Мое присутствие все еще почиталось необходимым для воспитания моей бедной матери, и, так как я был нужен, чтобы подвергать ее испытанию, мне было запрещено отлучаться.

– Дэвид, я с сожалением замечаю, что у тебя угрюмый нрав, – сказал мистер Мэрдстон однажды после обеда, когда я, по обыкновению, собирался уйти.

– Мрачен, как медведь! – вставила мисс Мэрдстон.

Я стоял неподвижно, понурившись.

– Самый худший нрав, Дэвид, – это нрав угрюмый и строптивый, – продолжал мистер Мэрдстон.

– А такого непокладистого, упрямого нрава, как у этого мальчика, я еще не видывала, – заявила его сестра. – Я думаю, Клара, даже вы не можете этого не признать?

– Простите, дорогая Джейн, – сказала мать, – но вполне ли вы уверены – конечно, вы примете мои извинения… я

надеюсь, вы простите меня, дорогая, – вполне ли вы уверены, что понимаете Дэви?

– Клара, я бы стыдилась самой себя, – заявила мисс Мэрдстон, – если бы не понимала этого мальчика или какого-нибудь другого мальчишку. Я не притязаю на глубокий ум, но на здравый смысл я почитаю себя вправе притязать.

– Ну конечно, дорогая моя Джейн, вы наделены очень острым умом, – сказала моя мать.

– Ах нет! Боже мой! Пожалуйста, не говорите этого, Клара! – сердито перебила ее мисс Мэрдстон.

– Но я в этом не сомневаюсь, и все это знают, – продолжала моя мать. – Я сама извлекаю из него столько пользы во всех отношениях – во всяком случае, должна была бы извлекать, – что убеждена в этом больше, чем кто бы то ни было. Вот почему я и говорю так нерешительно, дорогая Джейн, поверьте мне.

– Ну, скажем, я не понимаю этого мальчика, Клара, – произнесла мисс Мэрдстон, поправляя свои цепочки на запястьях. – Если вам угодно, допустим, что я его совсем не понимаю. Для меня он – натура слишком сложная. Но, может быть, проницательный ум моего брата помог ему отчасти разгадать этот характер. И мне кажется, мой брат как раз говорил на эту тему, когда мы – не очень-то вежливо – перебили его.

– Я думаю, Клара, что в данном случае найдутся более беспристрастные судьи, которым больше следует верить, чем

вам, – торжественным голосом изрек мистер Мэрдстон.

– Эдуард, – робко отозвалась моя мать, – вам, как судье, во всех случаях следует больше верить, чем мне. И вам, и Джейн. Я сказала только…

– Вы сказали только слова необдуманные и малодушные, – перебил он. – Постарайтесь, чтобы впредь этого не было, дорогая моя Клара, и следите за собой.

Губы моей матери как будто прошептали: «Хорошо, дорогой Эдуард», но вслух она не сказала ничего.

– Итак, Дэвид, – продолжал мистер Мэрдстон, оборачиваясь ко мне и устремляя на меня холодный взгляд, – я с сожалением заметил, что у тебя угрюмый нрав. Я не могу допустить, сэр, чтобы такой характер развивался у меня на глазах, а я не прилагал бы никаких усилий к его исправлению. Вы, сэр, должны постараться изменить его. Мы должны постараться изменить его ради тебя.

– Простите, сэр… я вовсе не хотел быть угрюмым, когда вернулся домой, – пролепетал я.

– Не прибегайте ко лжи, сэр! – крикнул он так злобно, что – я видел – моя мать невольно подняла дрожащую руку, словно хотела протянуть ее между нами. – Со свойственной тебе угрюмостью, ты уединялся в своей комнате. Ты сидел в своей комнате, когда тебе следовало находиться здесь. Запомни теперь раз навсегда: я требую, чтобы ты был здесь, а не там! И еще я требую от тебя повиновения. Ты меня знаешь, Дэвид. Этого повиновения я добьюсь.

Мисс Мэрдстон хрипло засмеялась.

– Я хочу, чтобы ты почтительно, быстро и охотно повиновался мне, Джейн Мэрдстон и твоей матери, – продолжал он. – Я не хочу, чтобы по прихоти ребенка этой комнаты избегали как зачумленной. Садись!

Он мне приказывал, как собаке, и я повиновался, как собака.

– Добавлю еще, – продолжал он, – что у тебя заметно пристрастие к людям низкого происхождения. Ты не должен общаться со слугами. Кухня не поможет искоренить те многочисленные твои недостатки, какие надлежит искоренить. Об этой женщине, которая тебе потворствует, я не скажу ни слова, раз вы, Клара, – обратился он, понизив голос, к моей матери, – по старым воспоминаниям и давней причуде питаете к ней слабость, которую еще не смогли преодолеть.

– Совершенно непонятное заблуждение! – воскликнула мисс Мэрдстон.

– Скажу лишь одно, – заключил он, обращаясь ко мне, – я не одобряю того, что ты оказываешь предпочтение обществу таких особ, как госпожа Пегготи, и с этим должно быть покончено. Теперь ты меня понял, Дэвид, и знаешь, каковы будут последствия, если ты не намерен повиноваться мне беспрекословно.

Я это знал хорошо – пожалуй, лучше, чем он предполагал, поскольку дело касалось моей бедной матери, – и повиновался ему беспрекословно. Больше я не уединялся в своей

комнате, больше не искал прибежища у Пегготи, но день за днем уныло сидел в гостиной, дожидаясь ночи и часа, когда можно идти спать.

Какому мучительному испытанию подвергался я, когда часами просиживал в одной и той же позе, не смея пошевельнуть ни рукой ни ногой из страха, как бы мисс Мэрдстон не пожаловалась (а это она делала по малейшему поводу) на мою непоседливость, и не смея смотреть по сторонам из боязни встретить неприязненный или испытующий взгляд, который обнаружит в моем взгляде новую причину для жалоб! Как нестерпимо скучно было сидеть, прислушиваясь к тиканью часов, следить за мисс Мэрдстон, нанизывающей блестящие металлические бусинки, размышлять о том, выйдет ли она когда-нибудь замуж и, если выйдет, кто будет этот несчастный, пересчитывать лепные украшения камина и рассеянно блуждать взором по потолку, по завитушкам и спиралям на обоях!

Какие одинокие прогулки предпринимал я по грязным проселочным дорогам в промозглые зимние дни, всюду таская за собой эту гостиную с мистером и мисс Мэрдстон! Чудовищное бремя, которое приходилось мне нести, кошмар, от которого я не мог очнуться, груз, давивший на мой мозг и его притуплявший!

А это сиденье за столом, когда я, безмолвный и смущенный, неизменно чувствовал, что есть здесь лишние нож и вилка, и они – мои, есть лишний рот, и это – мой, лишние

тарелка и стул, и они – мои, лишний человек, и это – я!

А эти вечера, когда приносили свечи и мне полагалось чем-нибудь заниматься, а я, не смея читать интересную книгу, корпел над учебником арифметики, иссушающим мозг и душу! Эти вечера, когда таблицы мер и весов сами ложились на мотив «Правь, Британия» или «Прочь, уныние», но не задерживались, чтобы можно было их заучить, но, подобно бабушкиной спице, проходящей сквозь петли, пронизывали мою несчастную голову, входя в одно ухо и выходя в другое!

Как я зевал и засыпал, вопреки всем моим стараниям, как вздрагивал, очнувшись от дремоты, которую пытался скрыть, как не получал я никогда ответа на редкие свои вопросы! Каким казался я пустым местом, которого никто не замечал, хотя всем оно было помехой! С каким мучительным облегчением я слушал в девять часов вечера, как мисс Мэрдстон приветствует первый удар колокола и приказывает мне идти спать!

Так тянулись каникулы, пока не настало утро, когда мисс Мэрдстон провозгласила: «Вот наконец и последний день!» – и подала мне последнюю чашку чаю, завершающую каникулы.

Я не жалел о том, что уезжаю. Я уже давно впал в состояние отупения, но тут слегка приободрился и мечтал о встрече со Стирфортом, хотя за его спиной и маячил мистер Крикл. Снова появился у садовой калитки мистер Баркис, и снова мисс Мэрдстон сказала предостерегающее: «Клара!» – ко-

гда моя мать наклонилась ко мне, чтобы попрощаться.

Я поцеловал ее и малютку-брата, и мне стало очень грустно. Но я грустил не о том, что уезжаю, ибо между нами уже зияла пропасть и каждый день был днем разлуки. И в памяти моей живет не ее прощальный поцелуй, хотя он и был очень горячим, но то, что за этим поцелуем последовало.

Я уже сидел в повозке, когда услышал, что она окликает меня. Я выглянул; она стояла одна у садовой калитки, высоко поднимая малютку, чтобы я посмотрел на него. Был холодный безветренный день, и ни один волосок на ее голове, ни одна складка ее платья не шевелились, когда она пристально глядела на меня, высоко поднимая свое дитя.

Такой покинул я ее, покинул навсегда. Такой снилась она мне потом в школе… безмолвная фигура близ моей кровати. Она смотрит на меня все тем же пристальным взглядом и высоко поднимает над головою свое дитя.

Глава IX
Памятный день рождения

Пропускаю все, что происходило в школе, вплоть до дня моего рождения, который был в марте. Помню только, что Стирфорт вызывал во мне восхищение еще больше, чем прежде. Он должен был уехать в конце полугодия, если не раньше, и казался мне еще более смелым и более независимым, чем когда бы то ни было, а значит – и еще более для меня привлекательным; только это я и помню. Тяжелое воспоминание, отмечающее этот период жизни, по-видимому, поглотило все другие воспоминания и одиноко хранится в душе.

Мне даже трудно поверить, что два месяца отделяли возвращение в Сэлем-Хаус от дня моего рождения. Я должен это признать, ибо мне известно, что так именно оно и было; но в противном случае я был бы убежден, что между двумя этими событиями не было никакого промежутка и одно наступило немедленно вслед за другим.

Как ясно помню я тот день! Я вдыхаю туман, нависший над школой. Сквозь него я смутно вижу изморозь; я чувствую, как прилипают к щеке мои заиндевевшие волосы. Я гляжу на тускло освещенную классную комнату, где там и сям потрескивают свечи, зажженные в это туманное утро, и

вижу пар от дыхания учеников, клубящийся в холодном воздухе, когда они дуют себе на пальцы и стучат ногами.

Это было после утреннего завтрака, мы только что вернулись с площадки для игр, как вдруг вошел мистер Шарп и объявил:

– Дэвид Копперфилд, пожалуйте в гостиную!

Я надеялся получить от Пегготи корзинку с угощением и, услышав приказ, расплылся в улыбке. Когда я поспешно вскочил с места, несколько мальчиков стали наперебой просить меня, чтобы я не забыл о них при раздаче гостинцев.

– Не торопитесь, Дэвид. Вы не опоздаете, мой мальчик, не торопитесь, – сказал мистер Шарп.

Его ласковый тон поразил бы меня, если бы у меня было время поразмыслить о нем, но эта мысль пришла мне в голову гораздо позднее.

Я поспешил в гостиную; там сидел за завтраком мистер Крикл, перед ним лежали его трость и газета, а в руках у миссис Крикл было распечатанное письмо. Но нигде никакой корзинки.

– Дэвид Копперфилд! – обратилась ко мне миссис Крикл, подводя меня к дивану и усаживаясь рядом со мной. – Мне нужно кое-что сообщить вам. У меня, мой мальчик, есть для вас важные известия…

Мистер Крикл, на которого я, конечно, посмотрел, кивнул головой, не глядя на меня, и заглушил вздох большим гренком с маслом.

– Вы еще слишком малы, чтобы знать, как все в мире меняется и как люди покидают этот мир, – продолжала миссис Крикл. – Но всем нам, Дэвид, суждено об этом узнать, одним в юности, другим в старости – в ту или иную пору жизни.

Я не сводил с нее глаз.

– Дома все было благополучно, когда вы уезжали после каникул? – спросила она, помолчав. – Все были здоровы? – Снова она сделала паузу. – Ваша мама была здорова?

Не знаю почему, я вздрогнул и продолжал пристально смотреть на нее, не пытаясь ответить.

– Видите ли, к сожалению, я должна сообщить вам, что утром получила известие о серьезной болезни вашей мамы.

Миссис Крикл заволокло туманом; на миг мне показалось – она ушла далеко-далеко. Я почувствовал, как слезы обожгли мне лицо, и потом я снова увидел ее рядом с собой.

– Она очень опасно больна, – добавила миссис Крикл.

Теперь я все знал.

– Она умерла.

Этого мне можно было не говорить. У меня вырвался страшный крик… Я был один-одинешенек на белом свете.

Миссис Крикл была очень ласкова со мной; она не отпускала меня от себя весь день; лишь ненадолго она оставляла меня одного, а я плакал, засыпал в изнеможении, просыпался и плакал снова. Когда я уже не мог больше плакать, я начал думать о том, что случилось, и тут тяжесть на сердце стала совсем невыносимой, и печаль перешла в тупую, му-

чительную боль, от которой не было исцеления.

Но мысли мои были еще смутны. Они не были сосредоточены на горе, отягчавшем мое сердце, а кружились где-то близ него. Я думал о том, что наш дом заперт и безмолвен. Я думал о младенце, который, по словам миссис Крикл, все слабел и слабел и тоже должен был умереть. Я думал о могиле моего отца на кладбище неподалеку от нашего дома и о матери, лежащей рядом с ним под деревом, которое я так хорошо знаю. Когда я остался один, я встал на стул и поглядел в зеркало, чтобы узнать, очень ли покраснели мои глаза и очень ли грустное у меня лицо. Прошло несколько часов, и я стал размышлять, неужели действительно слезы у меня иссякли, и это предположение, в связи с моей потерей, показалось особенно тягостным, когда я подумал о том, как буду я подъезжать к дому, ибо мне предстояло ехать домой на похороны. Помню, я чувствовал, что должен держать себя с достоинством среди учеников и что моя утрата как бы придает моей особе некоторую значительность.

Если ребенок когда-нибудь испытывал истинное горе, то таким ребенком был я. Но припоминаю, что сознание этой значительности доставляло мне какое-то удовлетворение, когда я прохаживался в тот день один на площадке, покуда остальные мальчики находились в доме. Когда я увидел, как они глазеют на меня из окон, я почувствовал, что выделяюсь из общей среды, принял еще более печальный вид и стал замедлять шаги. Когда же занятия окончились и мальчики вы-

сыпали на площадку и заговорили со мной, я в глубине души одобрял себя за то, что ни перед кем не задираю нос и отношусь ко всем точно так же, как и раньше.

На следующий вечер я должен был ехать домой. Не в почтовой, а в громоздкой ночной карете, называвшейся «Фермер», которой пользовались главным образом деревенские жители, не предпринимавшие далеких путешествий. В ту ночь я не рассказывал никаких историй, и Трэдлс настоял на том, чтобы я взял его подушку. Не знаю, какую, по его мнению, пользу она могла мне принести, так как подушка у меня была; но это было все, что бедняга мог ссудить мне, если не считать листа почтовой бумаги, испещренного скелетами, который он вручил мне на прощанье, чтобы утишить мою печаль и помочь мне обрести душевный покой.

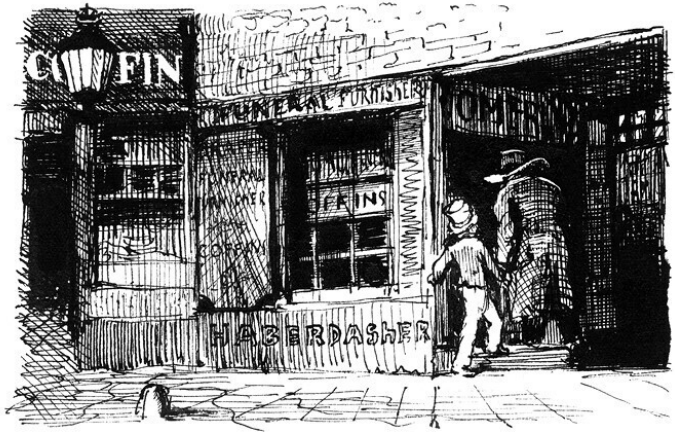
Я покинул Сэлем-Хаус под вечер. Тогда я еще не подозревал, что покидаю его навсегда. Ехали мы всю ночь очень медленно и добрались до Ярмута утром между девятью и десятью часами. Я выглянул из кареты, ища глазами мистера Баркиса, но его не было, а вместо него толстый, страдающий одышкой, жизнерадостный старичок в черном, в черных чулках, в коротких штанах с порыжевшими пучками лент у колен и в широкополой шляпе, приблизился, пыхтя, к окну кареты и спросил:

– Мистер Копперфилд?

– Да, сэр!

– Пожалуйте со мною, юный сэр, и я с удовольствием до-

ставлю вас домой, – сказал он, открывая дверцу.



Я взял его за руку, недоумевая, кто это такой, и мы направились по узкой уличке к заведению, над которым была вывеска:

ОМЕР
Торговля сукном и галантереей,
портняжная мастерская,
похоронная контора и пр.

Это была тесная, душная лавка, битком набитая готовым платьем и тканями, с одним окошком, увешанным касторовыми шляпами и дамскими капорами. Мы вошли в комнату позади лавки, где три девушки шили что-то из черной материи, наваленной на столе, а весь пол был усыпан лоскутами

и обрезками. В комнате пылал камин и стоял удушливый запах нагревшегося черного крепа; тогда я не знал, что это за запах, но теперь знаю.

Три девушки, которые показались мне очень веселыми и трудолюбивыми, подняли головы, чтобы взглянуть на меня, а затем снова принялись за работу. Стежок, еще стежок, еще стежок! В то же время со двора за окном доносились однообразные удары молотка, выстукивавшего своего рода мелодию без всяких вариаций: тук, тук-тук… тук, тук-тук… тук, тук-тук!..

– Ну, как идут дела, Минни? – спросил мой спутник одну из девушек.

– Все будет готово к примерке, – ответила она весело, – не беспокойся, отец.

Мистер Омер снял широкополую шляпу, сел на стул и стал пыхтеть и отдуваться. Он так был толст, что должен был несколько раз тяжело перевести дыхание, прежде чем смог выговорить:

– Это хорошо.

– Отец, ты толстеешь, как морская свинка! – заявила шутливо Минни.

– Не знаю, почему оно так получается, моя милая, – отозвался мистер Омер, призадумавшись. – Я и в самом деле толстею.

– Ты такой благодушный человек. Ты так спокойно относишься ко всему, – сказала Минни.

– Бесполезно было бы относиться иначе, дорогая моя, – сказал мистер Омер.

– Вот именно! – подтвердила дочь. – Слава богу, мы здесь все люди веселые. Правда, отец?

– Надеюсь, что правда, моя дорогая, – сказал мистер Омер. – Ну, теперь я отдышался и могу снять мерку с этого юного ученого. Не пройдете ли вы в лавку, мистер Копперфилд?

Я последовал его приглашению и вернулся с ним в лавку. Здесь, показав мне рулон материи, по его словам наивысшего качества и самой пригодной для траура по умершим родителям, он снял с меня мерку и записал ее в книгу. Делая свои записи, он обратил мое внимание на товары в лавке и указал на какие-то вещи, которые, по его словам, «только что вошли в моду», и на другие, которые «только что вышли из моды».

– По этой причине мы очень часто теряем довольно много денег, – заметил мистер Омер. – Но моды подобны людям. Они появляются неведомо когда, почему и как – и исчезают неведомо когда, почему и как. Все на свете, я бы сказал, подобно жизни, если поглядеть на вещи с такой точки зрения.

Мне было слишком грустно, чтобы я мог обсуждать этот вопрос, который, при любых обстоятельствах, пожалуй, превосходил мое понимание; и мистер Омер, тяжело дыша, повел меня назад, в комнату позади лавки.

Затем он крикнул в отворенную дверь, за которой начи-

налась ведущая вниз лестница, где нетрудно было сломать себе шею.

– Принесите чая и хлеба с маслом!

Покуда я сидел, осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к поскрипыванию иглы в комнате и ударам молотка во дворе, появился поднос, и мне предложено было закусить.

– Я знаю вас, – начал мистер Омер, разглядывая меня в течение некоторого времени, пока я неохотно приступал к завтраку, ибо черный креп лишил меня аппетита, – я вас знаю давно, мой юный друг.

– Давно знаете, сэр?

– С самого рождения. Можно сказать, еще до того, как вы родились, – продолжал мистер Омер. – До вас я знал вашего отца. Он был пяти футов девяти с половиной дюймов росту, и ему отведено двадцать пять квадратных футов земли.

Тук, тук-тук… тук, тук-тук… тук, тук-тук… – неслось со двора.

– Ему отведено двадцать пять квадратных футов земли, ни на дюйм меньше, – благодушно повторил мистер Омер. – Было ли это сделано по его желанию, или он сам так распорядился – не помню.

– Что с моим маленьким братцем, вы не знаете, сэр? – спросил я.

Мистер Омер кивнул головой.

Тук, тук-тук… тук, тук-тук… тук, тук-тук…

– Он в объятиях своей матери, – ответил он.

– Значит, бедный крошка умер?

– Слезами горю не поможешь, – сказал мистер Омер. – Да. Малютка умер.

При этом известии мои раны снова открылись. Я оставил завтрак почти нетронутым, пошел в угол комнаты и положил

голову на столик, с которого Минни поспешно сняла траурные материи, чтобы я не закапал их слезами. Это была миловидная, добродушная девушка, ласковой рукой отвела она упавшие мне на глаза волосы. Но она радовалась, что работа приближается к концу и все будет готово к сроку; как несходны были наши чувства!

Вдруг песенка молотка оборвалась, красивый молодой человек пересек двор и вошел в комнату. В руках он держал молоток, а рот его был набит гвоздиками, которые он должен был выплюнуть, прежде чем мог заговорить.

– Ну, а у *тебя* подвигается дело, Джорем? – спросил мистер Омер.

– Все в порядке. Кончил, сэр, – ответил Джорем.

Минни слегка покраснела, а две другие девушки с улыбкой переглянулись.

– Как? Значит, ты вчера работал вечером при свече, когда я был в клубе? Работал? – прищурив один глаз, спросил мистер Омер.

– Да. Ведь вы сказали, что мы сможем поехать… отправиться туда вместе, если все будет готово… Минни, и я, и… вы…

– О! А я уж было подумал, что меня вы не возьмете! – сказал мистер Омер и захохотал так, что раскашлялся.

– Раз вы это сказали, то, видите ли, я и приложил все силы… – продолжал молодой человек. – Может, вы изволите поглядеть?

– Погляжу, милый, – сказал мистер Омер, вставая. Тут он повернулся ко мне. – Не хотите ли посмотреть…

– Нет, не надо, отец! – перебила Минни.

– Я подумал, дорогая моя, что ему это будет приятно. Но пожалуй, ты права.

Не знаю, почему я догадался, что они пошли поглядеть на гроб моей дорогой, моей горячо любимой матери. Я никогда не слышал, как сколачивают гробы. Я никогда еще не видел ни одного гроба. Но когда я услышал стук молотка, у меня мелькнула мысль о гробе, а как только молодой человек вошел, я уже твердо знал, что` он мастерил.

Но вот работа была завершена, две девушки, чьих имен при мне не называли, стряхнули со своих платьев нитки и обрезки и пошли в лавку, чтобы, в ожидании заказчиков, привести ее в порядок. Минни осталась в комнате, чтобы сложить все, над чем они трудились, и упаковать в две корзины. Занималась она этим делом, стоя на коленях и напевая какую-то веселую песенку. Джорем – ее возлюбленный, в чем я не сомневался, – вошел в комнату и, пока она занималась делом, сорвал у нее поцелуй (не обращая на меня никакого внимания) и сказал, что отец пошел за повозкой, а ему надо поскорей все приготовить. Затем он вышел снова; Минни сунула в карман наперсток и ножницы, ловко воткнула иголку с черной ниткой в свой корсаж и быстро надела салоп и шляпку, глядясь в повешенное за дверью зеркальце, в котором я видел отражение ее улыбающегося личика.

Я наблюдал все это, сидя за столом в углу комнаты и подперев голову рукой, а думал я о самых различных предметах. Вскоре перед лавкой появилась повозка, сперва в нее поместили корзины, потом меня, и наконец уселись трое остальных. Помнится, это была не то почтовая карета, не то фургон, в котором перевозят фортепьяно, окрашенный в темный цвет и запряженный вороной лошадью с длинным хвостом. Места в ней хватило для всех нас.

Не думаю, чтобы когда-либо в жизни (может быть, со временем я стал опытнее и умнее) я испытал чувство, подобное тому, какое испытывал в обществе этих людей, помня, чем они были раньше заняты, и видя, как они радуются поездке. Я на них не сердился: скорее всего, я их боялся, словно очутился среди каких-то существ, с которыми от природы у меня нет ничего общего. Им было весело. Старик сидел впереди и правил лошадью, а молодые люди сидели за его спиной и, когда он к ним обращался, наклонялись к нему так, что их лица приходились по обе стороны его толстой физиономии, и, казалось, болтовня с ним очень их занимала. Они не прочь были поговорить и со мной, но я хмуро забился в свой угол; меня пугали их взаимные ухаживания и их смех, правда не очень громкий, и я едва ли не удивлялся, как это они не несут возмездия за свое жестокосердие.

Поэтому, когда они остановились, чтобы покормить лошадь, а сами пили и веселились, я не мог прикоснуться к тому, чего касались они, и не нарушил своего поста. И по-

тому-то, когда мы доехали до дому, я поспешил выскочить сзади из повозки, чтобы не оказаться в их компании перед этими печальными окнами, взиравшими теперь на меня, как глаза слепца, некогда такие ясные. О, напрасно задумывался я в школе о том, что` вызовет слезы у меня на глазах, когда я вернусь домой, – я в этом убедился, увидев окна комнаты матери и еще одно, рядом с ними, которое когда-то было моим окном!

Не успел я подойти к двери, как уже очутился в объятиях Пегготи, и она повлекла меня в дом. Ее горе прорвалось, как только она завидела меня, но скоро она взяла себя в руки, заговорила шепотом и пошла, неслышно ступая, словно можно было нарушить покой мертвеца! Я узнал, что уже очень много времени она не ложилась спать. Ночью она сидела неподвижно, не смыкая глаз. Пока ее бедную, милую красоточку не опустят в землю, она ни за что ее не покинет – так сказала она.

Мистер Мэрдстон не обратил на меня внимания, когда я вошел в гостиную, где он сидел в кресле перед камином, беззвучно плакал и о чем-то размышлял. Мисс Мэрдстон, что-то писавшая за своим письменным столом, покрытым письмами и бумагами, протянула мне кончики холодных пальцев и спросила металлическим шепотом, сняли ли с меня мерку для траурного костюма. Я ответил:

– Да.

– А ты привез домой свои рубашки? – спросила мисс

Мэрдстон.

– Да, сударыня, я привез все мои вещи.

И это было все, что могла предложить мне в виде утешения эта твердая духом особа. Несомненно, она испытывала особое удовольствие, выставляя в данном случае напоказ все те качества, какие называла своим самообладанием, своей твердостью, своей силой духа, своим здравым смыслом, – словом, весь дьявольский каталог своих приятных свойств. Особенно она гордилась своей деловитостью и проявляла ее в том, что, ничем не возмутимая, не расставалась с пером и чернилами. Весь остаток дня и с утра до вечера на следующий день она просидела за своим письменным столом и скрипела очень твердым пером, разговаривая со всеми бесстрастным шепотом, и ни один мускул не дрогнул на ее лице, и ни на одно мгновение голос ее не стал мягче, и ничто в ее туалете не пришло в беспорядок.

Ее брат по временам брал книгу, но я не видел, чтобы он читал ее. Он раскрывал книгу и смотрел в нее так, что казалось, будто он читает, но в течение целого часа не переворачивал ни страницы, а затем откладывал ее в сторону и начинал ходить по комнате. Часами я сидел, скрестив руки, и наблюдал за ним, считая его шаги. Он очень редко обращался к сестре и ни разу не обратился ко мне. Во всем замершем доме только он один, если не считать часов, не знал покоя.

В эти дни до похорон я мало видел Пегготи; только спускаясь или поднимаясь по лестнице, я всегда находил ее пе-

ред комнатой, где лежала моя мать со своим младенцем, да вечерами она приходила ко мне и сидела у изголовья, пока я засыпал. За день или два до погребения – мне кажется, за день или два, но я могу спутать, когда речь идет об этом печальном времени, которое не было отмечено никакими событиями, – Пегготи повела меня в комнату моей матери. Я помню только, что мне казалось, будто под белым покрывалом на кровати – а вокруг была такая чистота и такая прохлада! – покоится воплощение торжественной тишины, царившей в доме. И когда Пегготи начала бережно приподнимать покрывало, я закричал:

– О нет! Нет!

И схватил ее за руку.

Я помню эти похороны так, будто они были вчера. Помню даже вид нашей парадной гостиной, когда я вошел туда, ярко пылающий камин, вино, сверкающее в графинах, бокалы и блюда, легкий сладковатый запах пирога, аромат, источаемый платьем мисс Мэрдстон, наши черные костюмы… Мистер Чиллип здесь, в комнате, он подходит ко мне.

– Как поживаете, мистер Дэвид? – ласково спрашивает он.

Я не могу ответить: «Очень хорошо». Я подаю ему руку, которую он задерживает в своей.

– Ох, боже мой! – говорит мистер Чиллип, кротко улыбаясь, а слезы блестят у него на глазах. – Наши юные друзья все растут и растут… Скоро мы их не узнаем, сударыня!

Эти слова обращены к мисс Мэрдстон, которая ничего не

отвечает.

– Я вижу перемену к лучшему, сударыня. Не так ли? – говорит мистер Чиллип.

Мисс Мэрдстон только хмурит лоб и сухо кивает головой; мистер Чиллип, растерянный, уходит в угол комнаты, прихватив меня с собой, и больше не открывает рта.

Я замечаю это, ибо замечаю все, что происходит, но не потому, что я занят собой или занимался собой хотя бы минуту с той поры, как вернулся домой. Но вот звон колокола, входит мистер Омер и еще кто-то, чтобы закончить последние приготовления. Много лет назад – как об этом не раз говорила мне Пегготи – в той же самой гостиной собрались те, кто провожал к могиле, к той же самой могиле, моего отца.

Теперь здесь мистер Мэрдстон, наш сосед мистер Грейпер, мистер Чиллип и я. Когда мы подходим к двери, носильщики со своей ношей уже в саду. И они идут перед нами по тропинке, и мимо вязов, и к воротам, и входят на кладбище, где я так часто слушал летним утром пение птиц.

Мы стоим вокруг могилы. Мне кажется, что день не похож на все другие дни и свет совсем не такой – более печальный. Здесь торжественная тишина, которую мы принесли из дому вместе с тем, что покоится сейчас в сырой земле; мы стоим с обнаженными головами, и я слышу голос священника; он доносится словно издалека и звучит в чистом воздухе, отчетлив и внятен: «„Аз есмь воскресение и жизнь“, – говорит Господь». И я слышу рыдания. И я вижу ее – она стоит в сто-

роне среди зрителей, – верная и добрая служанка, которую я люблю больше всех на свете, и детское мое сердце уверено, что Господь скажет о ней: «Ты исполнила свой долг».

В кучке людей я узнаю много знакомых лиц – лиц, которые я видел в церкви, где всегда глазел по сторонам, лиц, которые знали мою мать, когда она приехала в эту деревню в расцвете своей юности. Я о них не думаю, я думаю только о своем горе, и все же я вижу и узнаю их всех; и я вижу даже там – вдали – Минни, которая посматривает на своего возлюбленного, стоящего около меня.

Но вот все кончено, могила засыпана землей, и мы уходим. Перед нами наш дом, он такой же красивый, он не изменился, но в моем детском сознании он так связан с мыслью о моей утрате, что горе, меня постигшее, ничто по сравнению с тем горем, которое я испытываю, глядя на него. Но меня ведут дальше, мистер Чиллип что-то говорит мне, и, когда мы приходим домой, он дает мне выпить воды; когда я прошу у него позволения подняться в свою комнату, он прощается со мной ласково, как женщина.

Все это словно произошло вчера. Последующие события уплыли от меня к тем берегам, где забытое появится вновь; но тот день моей жизни встает передо мной, как высокий утес в океане.

Я знал, что Пегготи придет ко мне в комнату. Воскресный покой этого дня (он так напоминал воскресенье, я забыл об этом сказать) соблюдался словно бы нарочито для нас двоих.

Она села рядом со мной на моей кроватке, взяла мою руку и то нежно целовала ее, то поглаживала – так утешала бы она моего маленького братца – и рассказала на свой лад обо всем, что произошло.

– Уже давно она прихварывала, – рассказывала Пегготи. – На душе у нее было тревожно, и она не чувствовала себя счастливой. Когда у нее родился малютка, я было подумала, что ей как будто лучше, но она стала такой слабенькой и таяла с каждым днем. До рождения малютки она любила сидеть в одиночестве и часто плакала. А когда он родился, она напевала ему так нежно, что однажды мне почудилось, будто это райское пение, которое звучит где-то высоко-высоко в воздухе и уносится к небу.

В последнее время, мне кажется, она еще больше робела, ходила какая-то запуганная, и каждое грубое слово было для нее как удар. Но со мной она оставалась все такой же. Она, моя девочка, относилась по-прежнему к своей глупой Пегготи.

Тут Пегготи примолкла и тихонько похлопала меня по руке:

– В день вашего приезда, мой дорогой, я видела ее в последний раз такой, как в былые времена. Когда вы уехали, она сказала мне: «Я никогда больше не увижу моего любимого, милого мальчика. Что-то подсказывает мне это, и я знаю: это так».

Она изо всех сил старалась держаться и часто, когда они

упрекали ее, что она легкомысленная и беззаботная, делала вид, будто она и в самом деле такая; но она была уже совсем не такой. Своему мужу она никогда не говорила того, что сказала мне, – она боялась говорить об этом кому-нибудь, кроме меня, – но однажды вечером, за неделю до своей смерти, сказала ему: «Мой милый, мне кажется, я скоро умру».

В тот вечер, когда я укладывала ее в постель, она сказала мне: «Теперь у меня на душе спокойно, Пегготи. За те несколько дней, которые остались, он, бедный, свыкнется с этой мыслью, а потом все уже будет кончено. Я очень устала. Если я засну, посидите возле меня, пока я буду спать; не уходите от меня. Господь да благословит обоих моих мальчиков! Господь да поможет моему сыну, потерявшему отца!»

После этого дня я от нее не отходила, – продолжала Пегготи. – Она часто беседовала с теми двумя, которые жили внизу, она их любила, потому что она ведь любила всех, кто был возле нее, но, когда они отходили от ее постели, она поворачивалась ко мне, как будто ей было покойно только рядом с Пегготи; и никогда она не засыпала без меня.

В последний вечер она поцеловала меня и сказала: «Если мой малютка тоже умрет, Пегготи, пожалуйста, пусть его положат в мои объятия и похоронят нас вместе. (Так это и было сделано, потому что бедный крошка пережил ее только на один день.) И пусть дорогой мой Дэви проводит нас к месту нашего упокоения, и скажите ему, что его мать на своем смертном одре благословляла его не один, а тысячу раз».

Снова наступила пауза, и снова Пегготи нежно похлопала меня по руке.

– Был уже поздний час, когда она попросила пить, – продолжала Пегготи, – и, сделав несколько глотков, она, моя родная, так кротко мне улыбнулась… так хорошо.

Наступил рассвет, солнце уже всходило, и тут она стала мне рассказывать, как мистер Копперфилд был всегда терпелив с ней, заботлив и ласков и всегда говорил, когда она сомневалась в себе, что любящее сердце стоит больше, чем вся мудрость на свете, и что он счастлив с ней. «Пегготи, дорогая моя, придвиньтесь ко мне поближе, – прибавила она, так как была очень слаба. – Пусть ваша добрая рука обнимет меня за шею, и поверните меня к себе, потому что ваше лицо куда-то уплывает, а я хочу его видеть». Я уложила ее, как она просила… О Дэви! И вот наступило время, когда сбылись мои слова, которые я говорила вам на прощанье: ей снова захотелось приклонить свою головку на плечо глупой, ворчливой, старой Пегготи… И она скончалась, как засыпает дитя!

Так Пегготи закончила свой рассказ. С того момента, когда я узнал о смерти моей матери, воспоминание о том, какой она была в последнее время перед своей смертью, изгладилось из моей памяти. С того самого мгновения я видел ее всегда только совсем молодой, в пору моего раннего детства, видел, как она накручивает свои глянцевитые локоны на пальцы и танцует со мной в гостиной по вечерам. Рассказ

Пегготи, вместо того чтобы напомнить о последнем периоде жизни моей матери, лишь закрепил в памяти прежний ее образ. Может быть, это странно, но это так. Скончавшись, моя мать унеслась ко дням своей спокойной, ничем не возмутимой юности и зачеркнула все остальное.

Мать, которая покоится в могиле, – это мать моего детства, а малютка в ее объятиях – это я, каким я некогда был, уснувший навсегда у нее на груди.

Глава X
Сначала обо мне позабыли, а потом позаботились

Когда печальный день миновал и когда дневному свету был вновь открыт доступ в дом, мисс Мэрдстон сделала первый деловой шаг – предупредила Пегготи о том, что через месяц она увольняется. Как ни тяжела была для Пегготи эта служба, но, думаю, она осталась бы здесь ради меня, предпочитая ее самому выгодному месту. Она сообщила мне о предстоящей разлуке и о причине ее, и мы оба горевали от всей души.

Что касается меня и моего будущего – об этом не говорили ни слова и ничего не предпринимали. Мне думается, они были бы счастливы, если бы могли уволить через месяц также и меня. Я набрался храбрости и как-то спросил мисс Мэрдстон, когда я вернусь в школу; на это она сухо ответила, что, по ее мнению, я никогда туда не вернусь. Больше мне ничего не говорили. Меня очень беспокоила мысль о том, что же будет со мной; об этом тревожилась и Пегготи, но ни мне, ни ей ничего не удалось разузнать.

В моем положении, впрочем, произошла перемена, которая хоть и избавила меня от многих неудобств, но, если бы я над ней задумался, могла бы навести меня на еще более

тревожные размышления о будущем. Дело в том, что меня решительно освободили от возложенных на меня обязанностей. Меня не только не старались удержать на моем постылом посту в гостиной, но часто, когда я занимал свое место, мисс Мэрдстон хмурилась, отсылая меня таким образом прочь. И мне не только не запрещали общаться с Пегготи, но, если я не находился в обществе мистера Мэрдстона, никто меня не искал и никому не было до меня дела. Вначале я ежедневно трепетал, как бы он снова не взялся за мое обучение или как бы мисс Мэрдстон не посвятила себя сему делу, но скоро я убедился, что мои опасения лишены всяких оснований и ждать мне нечего, – обо мне совсем забыли.

Вряд ли это огорчило меня тогда. Я все еще был потрясен смертью матери и относился безучастно ко всему остальному. Однако, помнится, по временам я размышлял о том, что меня решили больше не обучать и не заботиться обо мне и что в будущем мне суждено печально, без дела, слоняться по деревне оборванцем; размышлял я и о том, не лучше ли мне, во избежание такой участи, уехать отсюда, подобно герою романа, на поиски своей фортуны. Но это были фантазии, сны наяву, которые изредка появлялись и исчезали, словно вычерченные или нарисованные бледными красками на стене моей комнаты, а когда они расплывались, стена попрежнему оставалась голой.

– Пегготи, мистер Мэрдстон любит меня еще меньше, чем раньше, – задумчиво прошептал я однажды вечером, грея

руки перед очагом в кухне. – Он всегда недолюбливал меня, Пегготи, а теперь предпочел бы меня вовсе не видеть, если бы это было возможно.

– Может быть, это потому, что у него горе, – сказала Пегготи, гладя меня по голове.

– У меня тоже горе, Пегготи. Если бы я верил, что он с горя стал таким, я совсем не думал бы об этом. Но это не то, нет, не то!

– Отчего вам кажется, что это не то? – помолчав, спросила Пегготи.

– О! Его горе не имеет к этому никакого отношения. Сейчас он горюет, сидя у камина рядом с мисс Мэрдстон, но стоит мне войти, Пегготи, как он становится совсем другим…

– Каким же? – спросила Пегготи.

– Сердитым! – ответил я и невольно нахмурил брови, подражая ему. – Если бы это было только горе, он не глядел бы на меня так. Вот у меня горе, и от него я становлюсь добрей…

Пегготи помолчала, а я тоже молчал, грея руки у огня.

– Дэви! – окликнула она меня.

– Что, Пегготи?

– Я старалась, мой дорогой, всячески старалась, чего только я не делала, чтобы подыскать себе здесь, в Бландерстоне, подходящее место, и ничего из этого не вышло.

– А что ты намерена теперь делать, Пегготи? – задумчиво спросил я. – Собираешься уехать в поисках фортуны?

– Думаю, что мне придется ехать в Ярмут и там остаться.

– Если бы ты уехала куда-нибудь подальше, тогда бы я тебя совсем потерял, – сказал я, слегка оживившись, – но там я смогу тебя видеть хотя бы изредка, дорогая моя Пегготи. Ведь это не на другом конце света, правда?

– Да нет же! Что вы, господь с вами! – воскликнула в страшном возбуждении Пегготи. – Покуда вы здесь, мой мальчик, я буду приезжать непременно раз в неделю, чтобы на вас поглядеть! Раз в неделю непременно!

Я почувствовал, что это обещание освободило мою душу от тяжкого бремени; но это было еще не все, ибо Пегготи продолжала:

– Видите ли, Дэви, сначала я поеду к брату, как и в прошлый раз, недели на две, поеду, чтобы оглядеться и хоть немножко прийти в себя. Вот я и подумала: раз они теперь не нуждаются в вас, пожалуй, вам позволят поехать со мной.

Если что-нибудь могло доставить мне удовольствие в это время – не считая перемены в отношении ко мне окружавших меня людей, кроме, конечно, Пегготи, – то это был именно такой план. Мысль о том, что снова я увижу вокруг себя открытые, честные лица, обращенные ко мне с такою доброжелательностью, мысль о том, что вновь наступит мирное, радостное воскресное утро, когда звонят колокола, шуршат камешки, скатывающиеся в воду, и сквозь туман видны очертания кораблей, мысль о наших прогулках с малюткой Эмли и о том, как я буду рассказывать ей о своих горестях,

отвлекаясь и забывая о них в поисках ракушек и камешков на морском берегу, – эта мысль осенила мою душу покоем. И тотчас же меня охватила тревога, даст ли свое согласие мисс Мэрдстон. Но вскоре тревога рассеялась, ибо мисс Мэрдстон как раз во время нашей беседы производила свой вечерний осмотр кладовой и Пегготи не мешкая затронула эту тему с храбростью, меня поразившей.

– Мальчик там совсем разленится, а лень – корень всех зол, – сказала мисс Мэрдстон, заглядывая в банку с пикулями. – Но, по моему мнению, решительно все равно, где он будет лентяйничать – здесь или там.

У Пегготи – я это видел – был наготове резкий ответ, но ради меня она проглотила его и ничего не сказала.

– Гм… – промычала мисс Мэрдстон, все еще созерцая пикули. – Но более важно, я бы сказала – значительно более важно, чтобы мой брат был избавлен от неприятностей и волнения. И потому я готова дать свое согласие.

Я поблагодарил ее, не выражая никакой радости, чтобы она не отреклась от своих слов. Это было благоразумно, в чем я убедился, когда она бросила на меня из-за банки с пикулями такой кислый взгляд, словно ее черные глаза вобрали в себя все содержимое банки. Однако разрешение было дано и оставалось в силе. И когда месяц истек, Пегготи вместе со мной была готова к отъезду.

Мистер Баркис вошел в дом за пожитками Пегготи. Я никогда еще не видывал, чтобы он входил в садовую калит-

ку, но на сей раз он вошел в дом. Взвалив на спину самый большой сундук и выходя с ним из дому, он бросил на меня взгляд, показавшийся мне многозначительным, если допустить, впрочем, что лицо мистера Баркиса могло выражать нечто многозначительное.

Пегготи, конечно, была грустна, покидая дом, где она провела столько лет и к двум обитателям которого – к моей матери и ко мне – она была привязана больше всех на свете. Да к тому же рано утром она побывала на кладбище и теперь уселась в повозку, прикрывая глаза носовым платком.

Покуда она пребывала в таком состоянии, мистер Баркис не подавал признаков жизни. Он сидел на своем обычном месте в обычной своей позе, похожий на огромное чучело. Но когда Пегготи начала поглядывать по сторонам и заговорила со мной, он кивнул головой и несколько раз ухмыльнулся. Я не имел ни малейшего понятия, кем или чем это было вызвано.

– Какой прекрасный день, мистер Баркис, – сказал я, желая быть учтивым.

– Неплохой, – сказал мистер Баркис, который был весьма сдержан в своих речах и часто уклонялся от прямого ответа.

– Пегготи уже совсем оправилась, мистер Баркис, – заметил я, чтобы доставить ему удовольствие.

– Да ну? – сказал мистер Баркис.

Поразмыслив об этом с видом крайне проницательным, мистер Баркис вперил в нее взгляд и спросил:

– Совсем оправились?

Пегготи засмеялась и ответила утвердительно.

– В самом деле? А? – проворчал мистер Баркис, подсаживаясь к ней на скамейку и подталкивая ее локтем. – В самом деле оправились? А? Как?

При каждом вопросе мистер Баркис придвигался к ней все ближе и все подталкивал ее локтем. В конце концов мы все очутились в левом углу повозки, и меня так притиснули, что сил не было выносить.

Пегготи обратила внимание мистера Баркиса на мои страдания, и он тотчас же стал помаленьку отодвигаться. Но я не мог не заметить, что, по его мнению, он напал на прекрасный способ выражать свои мысли и чувства тонко, изящно и ясно, избавляясь вместе с тем от необходимости придумывать тему для разговора. В течение некоторого времени он явственно посмеивался по сему поводу. Затем он снова повернулся к Пегготи и, повторяя: «В самом деле оправились?» – навалился на нас, как и раньше, так что я чуть было не задохнулся. Вскоре он снова навалился на нас, задавая все тот же вопрос и все с теми же результатами.

В конце концов я начал вскакивать со скамейки, едва завидев, что он приближается, и спускался на подножку, якобы для того, чтобы полюбоваться окрестностями; и это очень меня выручало.

Он был так любезен, что остановился у харчевни, исключительно ради нас, и угостил нас вареной бараниной и пи-

вом. Невзирая на то что Пегготи пила в эту минуту пиво, он возобновил свой натиск, отчего она чуть было не захлебнулась. Но по мере того как мы приближались к цели путешествия, у него все больше прибавлялось дела и все меньше оставалось времени для любезностей, а когда мы загромыхали по ярмутской мостовой, всех нас так растрясло, что не было уже ни досуга, ни возможности заниматься чем бы то ни было.

Мистер Пегготи и Хэм поджидали нас на том же месте, что и в прошлый раз. Они встретили меня и Пегготи очень радушно и пожали руку мистеру Баркису, который, сдвинув на затылок шляпу, конфузливо ухмылялся; даже ноги его и те казались сконфуженными, и, на мой взгляд, он имел глуповатый вид. Каждый из них взял по сундуку из пожитков Пегготи, и мы двинулись в путь, как вдруг мистер Баркис торжественно поманил меня пальцем, приглашая уединиться с ним в подворотне.

– Я говорю: все идет на лад! – пробурчал мистер Баркис.

Я взглянул на него, пытаясь принять глубокомысленный вид, и сказал:

– А!

– Дело тогда еще не было кончено, – сказал мистер Баркис и доверительно кивнул головой. – Но все пошло на лад.

Снова я промолвил:

– А!

– Вы-то знаете, кто был не прочь. Баркис, один только

Баркис! – продолжал мой приятель.

Я утвердительно кивнул головой.

– Все идет на лад. Я ваш друг. Благодаря вам все сразу пошло хорошо, – сказал Баркис и потряс мне руку. – Все идет на лад.

Стараясь выражаться как можно яснее, мистер Баркис был так загадочен, что я мог бы простоять целый час, взирая на его лицо, и прочел бы на нем не больше, чем на циферблате остановившихся часов; но тут меня окликнула Пегготи. Доро`гой она спросила меня, что он сказал, а я ей ответил, что он сказал: «Все идет на лад!»

– Ну и бесстыдник! – заявила Пегготи. – Но это не беда… Дэви, дорогой мой, что бы вы сказали, если бы я решила выйти замуж?

– Что ж… Разве ты любила бы меня меньше, чем теперь, Пегготи? – отозвался я после некоторого раздумья.

К великому изумлению прохожих, а также ее родственников, шедших впереди, добрая душа внезапно остановилась и тут же обняла меня, заверяя в своей неизменной любви.

– Ну так ответьте, мой ненаглядный, что бы вы на это сказали? – снова спросила она, когда с этими заверениями было покончено и мы пошли дальше.

– Если бы ты решила выйти замуж за мистера Баркиса?

– Да, – ответила Пегготи.

– Я сказал бы, что это хорошо. Потому что, знаешь ли, Пегготи, у тебя всегда была бы лошадь с повозкой и ты могла

бы приезжать, чтобы проведать меня, и непременно приезжала бы, да еще бесплатно.

– Какой он у меня умница! – воскликнула Пегготи. – Да ведь об этом самом я думала целый месяц! Да, да, драгоценный мой! Мне кажется, я буду куда больше сама себе хозяйка, буду охотней работать в своем доме, чем у кого-нибудь чужого. Не знаю даже, гожусь ли я теперь в служанки. И я всегда буду жить поблизости от могилы моей милочки, – продолжала Пегготи задумчиво. – И стоит мне захотеть, я смогу ее навестить, а когда я сама упокоюсь навеки, может быть, меня положат недалеко от моей ненаглядной девочки.

Мы оба помолчали.

– Но право, я и думать бы об этом не стала, – весело заговорила Пегготи, – если бы это было не по душе моему Дэви! Хотя бы в церкви было не три, а сто оглашений и в кармане у меня лежало кольцо!

– Ну взгляни же на меня, Пегготи, – отозвался я, – и скажи, разве я этому не рад и разве я этого не хочу?

И в самом деле, я радовался всей душой.

– Да, да, мой милый! – сказала Пегготи и снова стиснула меня в своих объятиях. – Я думала об этом днем и ночью, думала и так и эдак, и, надеюсь, все будет хорошо. Но я еще подумаю и потолкую с братом, а покуда что, Дэви, будем об этом помалкивать. Баркис – добрый, простой человек, и, если я постараюсь исполнять свой долг по отношению к нему, моя будет вина, если… если я совсем не оправлюсь! – заклю-

чила Пегготи, расхохотавшись от всей души.

Эта цитата из мистера Баркиса так была уместна и так нас позабавила, что мы смеялись без конца и были в прекрасном расположении духа, когда завидели дом мистера Пегготи.

Он был таким же, как и раньше, разве что – мне показалось – чуть-чуть съежился. И так же ждала нас у двери миссис Гаммидж, словно с той поры не сходила с места. И в доме ничто не изменилось, даже морские водоросли в синем кувшине стояли у меня в спальне. Я пошел в сарай поглядеть, что там делается, и в том же самом углу сбившиеся в кучу омары, крабы и креветки были одержимы все тем же желанием ущипнуть за палец весь свет.

Но нигде не было видно малютки Эмли, и я спросил мистера Пегготи, где она.

– Она в школе, сэр, – ответил мистер Пегготи, отирая пот со лба после того, как опустил на пол сундук Пегготи, – и она вернется, – он взглянул на голландские часы, – этак через полчасика. Нам всем ее не хватает, будьте уверены.

Миссис Гаммидж застонала.

– Смотри веселей, мамаша! – воскликнул мистер Пегготи.

– Ох, я такая чувствительная! – сказала миссис Гаммидж. – Я одинокое, бедное создание и только ей одной не стою поперек дороги.

Хныкая и покачивая головой, миссис Гаммидж принялась раздувать огонь. Покуда она занималась этим делом, мистер Пегготи окинул нас взглядом и прошептал, прикрывая рот

рукой:

– Это она думает о старике.

Я правильно заключил, что расположение духа миссис Гаммидж отнюдь не изменилось к лучшему со времени моего пребывания здесь.

Итак, дом по-прежнему был – вернее, должен был быть – очаровательным, но почему-то мне он показался иным. Я в нем как будто разочаровался. Может быть, потому, что малютки Эмли не было дома. Я знал, какой дорогой она пойдет домой, и тотчас же отправился ей навстречу по тропинке.

Скоро вдали показалась какая-то фигурка, и я узнал Эмли; она была все еще мала ростом, хотя и подросла с той поры. Но когда она приблизилась и я увидел ее синие глаза, ставшие еще синее, ее щечки с ямочками, лицо, еще более ясное, чем раньше, когда я увидел всю ее, похорошевшую и повеселевшую, – я внезапно почувствовал странное желание прикинуться, будто не знаю ее, и пройти мимо с таким видом, словно я смотрю куда-то вдаль. Если не ошибаюсь, я не раз так поступал в дальнейшей моей жизни.

Малютка Эмли ничуть не смутилась. Видела она меня прекрасно, но, вместо того чтобы повернуться и окликнуть меня, со смехом убежала. Мне ничего не оставалось делать, как побежать за ней, а она бежала так быстро, что я нагнал ее только у самого дома.

– Ах, это ты! – воскликнула малютка Эмли.

– Но ты-то знала, что это я, Эмли! – сказал я.

– А ты не знал? – сказала Эмли.

Я хотел было ее поцеловать, но она прикрыла алый ротик руками и заявила, что теперь она уже не маленькая, и, еще громче смеясь, вбежала в дом.

Казалось, ей нравилось меня дразнить, и перемена в ее обращении со мной меня очень удивляла. Чай был уже на столе, наш сундучок стоял там же, где раньше, но, вместо того чтобы подсесть ко мне, она уселась рядом с ворчавшей миссис Гаммидж, а когда мистер Пегготи осведомился о причине, она тряхнула головой, так что волосы упали ей на лицо, и только засмеялась.

– Кошечка! – сказал мистер Пегготи, ласково поглаживая ее своей огромной рукой.

– Так оно и есть, кошечка! Так оно и есть, мистер Дэви! – вскричал Хэм, затем уселся и, ухмыльнувшись, уставился на нее с изумлением, в котором сквозил восторг, вследствие чего лицо его стало багровым.

Да, все баловали малютку Эмли, а больше всех мистер Пегготи, от которого она могла добиться чего угодно, – стоило ей только подойти к нему и прижаться щечкой к его жестким бакенбардам. Такое мнение сложилось у меня, когда я увидел, как она это проделывает; и, по-моему, мистер Пегготи был совершенно прав. Она была так мила, так нежна по натуре, в ее манере держать себя было такое лукавство, а вместе с тем такая застенчивость, что она пленила меня еще сильней, чем прежде.

И у нее было доброе сердце. Когда мы уселись после чая у камелька и мистер Пегготи, попыхивая трубкой, намекнул на понесенную мной утрату, слезы показались на глазах малютки Эмли и она бросила на меня через стол такой сочувственный взгляд, что я был бесконечно ей признателен.

– Но здесь, сэр, есть еще сирота, – сказал мистер Пегготи, забирая в ладонь кудри малютки Эмли и пропуская их между пальцев, словно это была вода. – А вот и еще один, – тут он ткнул рукой в грудь Хэма, – хотя уж он-то мало похож на сироту.

– Если бы вы были моим опекуном, мистер Пегготи, я не чувствовал бы себя сиротою, – сказал я, тряхнув головой.

– Здорово сказано, мистер Дэви, ох как здорово! – восторженно воскликнул Хэм. – Ура! Здорово сказано! Лучше и сказать нельзя. Ура!

И он, в свою очередь, ткнул мистера Пегготи рукой в грудь, а малютка Эмли встала и поцеловала мистера Пегготи.

– А как поживает ваш друг, сэр? – обратился ко мне мистер Пегготи.

– Стирфорт? – осведомился я.

– Так вот как его зовут! – воскликнул мистер Пегготи, поворачиваясь к Хэму. – Я знал, что это как-нибудь в этом роде.

– Вы говорили – «Раддерфорд», – смеясь, возразил Хэм.

– Ну, если не «раддер», так «стир». А это все равно, – отпарировал мистер Пегготи. – Как он поживает, сэр?

– Когда я уезжал, мистер Пегготи, он был здоров.

– Вот это друг! – сказал мистер Пегготи, помахивая трубкой. – Если уж говорить о друзьях, так это друг! Клянусь Богом, на него приятно смотреть.

– Он красивый, не правда ли? – спросил я, радуясь этой похвале.

– Красивый! – вскричал мистер Пегготи. – Да, он умеет покрасоваться, как… как… прямо слова не подберешь… Он такой смелый!

– Да, да! Вы совершенно правы, – подтвердил я. – Он храбр как лев, а если бы вы знали, какой он искренний и прямой, мистер Пегготи!

– И мне кажется, – продолжал мистер Пегготи, глядя на меня сквозь дым трубки, – что коли говорить об ученье, так он все превзошел.

– О, он знает решительно все! – подтвердил я, приходя в восхищенье. – Он ужасно умный.

– Вот это друг! – пробормотал мистер Пегготи, важно покачивая головой.

– Ему все дается легко! – сказал я. – Стоит ему только заглянуть в книгу, и он уже знает урок. А такого игрока в крикет вы никогда и не видывали! И он даст вам вперед столько шашек, сколько вы захотите, и все-таки вас обыграет.

Мистер Пегготи снова покачал головой, будто хотел сказать: «Разумеется, обыграет».

– А как он говорит! – продолжал я. – Каждого он может

убедить в чем угодно. И я уж и не знаю, мистер Пегготи, что бы вы сказали, если бы услышали, как он поет.

Снова мистер Пегготи качнул головой, будто хотел сказать: «Я в этом не сомневаюсь».

– И он такой великодушный, такой благородный, что, как бы его ни хвалить, все будет мало! – говорил я, увлекаясь моей любимой темой. – Я никогда не смогу его отблагодарить за великодушие, с каким он оказывал мне покровительство, а я ведь гораздо моложе его и так мало знаю по сравнению с ним!

Я говорил с большим одушевлением, как вдруг мой взгляд упал на малютку Эмли, которая сидела за столом и, наклонившись вперед, слушала с глубочайшим вниманием; она затаила дыхание, голубые глаза ее сверкали, как алмазы, а щечки раскраснелись. Вид у нее был такой серьезный, а она сама была так прелестна, что от удивления я умолк; и все они тоже загляделись на нее, ибо, когда я замолчал, они засмеялись и обернулись к ней.

– Эмли – точь-в-точь я: ей тоже хочется на него поглядеть, – сказала Пегготи.

Заметив, что все глядят на нее, Эмли смутилась, опустила головку и густо покраснела. Затем она бросила на нас быстрый взгляд сквозь рассыпавшиеся кудри и, убедившись, что на нее все еще смотрят (что касается меня, то я готов был смотреть на нее часами), убежала и больше не показывалась, пока не пришла пора спать.

Я улегся, как и в былые времена, в кроватку в кормовой части баркаса, и так же, как тогда, ветер стенал над равниной. Но теперь мне казалось, будто он стенает о тех, кто ушел навеки; теперь я не думал о том, что море нахлынет в ночи и унесет баркас, теперь я думал, что с той поры, когда я в последний раз прислушивался здесь к стенаниям ветра, море уже нахлынуло и затопило мой родной дом. Помнится, когда шум ветра и моря стал затихать, я вставил в свою молитву просьбу о том, чтобы мне дано было вырасти и жениться на малютке Эмли; так, мечтая, я скоро заснул.

Дни текли почти так же, как и в первое мое посещение, произошла только одна перемена, но перемена весьма важная: теперь мы с малюткой Эмли редко гуляли по берегу моря. Она была занята приготовлением уроков и шитьем, а бо`льшую часть дня ее не было дома. Но и не будь этого, я чувствовал, что нашим прогулкам не возобновиться. Своевольная и еще по-детски капризная, она походила на маленькую женщину больше, чем я предполагал. Не прошло и года, а она отошла от меня очень далеко. Она была ко мне привязана, но смеялась надо мной и дразнила меня; бывало, я шел ее встречать, а она украдкой прибегала домой другой дорогой и, когда я возвращался разочарованный, ждала меня у двери и хохотала. Лучшее время дня наступало тогда, когда она шила у порога дома, а я сидел у ее ног на деревянной ступеньке и читал ей вслух. Сейчас мне кажется, что я никогда не видел такого сверкающего апрельского дня, что нико-

гда не видел такой светлой маленькой фигурки, как та, что склонялась над работой у входа в старый баркас, что никогда не было такого неба, такого моря, таких чудесных кораблей, уплывающих в золотую даль.

В первый же вечер появился мистер Баркис, крайне растерянный и неуклюжий, а в руках у него был узелок с апельсинами, которые он увязал в носовой платок. Поскольку он не сделал никаких намеков касательно сего имущества, мы подумали, не забыл ли он его случайно, уходя от нас, пока Хэм, побежавший за ним, чтобы передать узелок, не вернулся и не возвестил, что апельсины предназначаются Пегготи. После этой выходки мистер Баркис являлся каждый вечер в один и тот же час и всегда с узелком, который он оставлял за дверью, ни единым словом о нем не упоминая. Эти любовные приношения были чрезвычайно разнообразны и весьма необычны. Помнится, в числе их была двойная порция свиных ножек, гигантская подушка для булавок, с полбушеля яблок, серьги в виде колец из черного янтаря, испанский лук, ящичек с домино, клетка с канарейкой и засоленный свиной окорок.

Помнится, ухаживание мистера Баркиса было крайне своеобразно. Говорил он очень мало, восседал у камелька в той же позе, что и на передке своей повозки, и таращил глаза на Пегготи, сидевшую против него. Однажды вечером, должно быть в порыве любви, он схватил огарок восковой свечи, которым она вощила нитку, положил его в карман жилета и

унес с собой. В последующие вечера он испытывал огромное удовольствие, доставая прилипший к карману, размякший кусочек воска, когда возникала в нем нужда, а затем снова совал его в карман. По-видимому, он был весьма доволен и не чувствовал ни малейшей потребности говорить. Даже в тех случаях, когда он приглашал Пегготи прогуляться по берегу, он, полагаю я, не затруднял себя разговором и довольствовался только тем, что спрашивал время от времени Пегготи, оправилась ли она. Помню, иной раз, после его ухода, Пегготи закрывала лицо передником и смеялась добрых полчаса. Мы все тоже забавлялись, исключая злосчастную миссис Гаммидж, за которой некогда ухаживали, должно быть, точь-в-точь так же, ибо поведение мистера Баркиса неизменно заставляло ее вспоминать об ее «старике».

Мое пребывание приближалось уже к концу, когда было объявлено, что Пегготи и мистер Баркис предпримут увеселительную прогулку, а мы с малюткой Эмли будем их сопровождать. Я плохо спал в ту ночь, предвкушая удовольствие провести весь день с Эмли. Спозаранку мы уже были на ногах и не успели еще позавтракать, как вдали показался мистер Баркис, направлявшийся в двуколке к предмету своих нежных чувств.

Пегготи была в своем обычном, скромном, опрятном траурном платье, но мистер Баркис был ослепителен в новом синем костюме, который портной сшил ему на вырост, так что в самую холодную погоду обшлага вполне заменяли пер-

чатки, а воротник был так высок, что волосы мистера Баркиса стояли торчком. Огромны были и блестящие пуговицы. Темные штаны и желтый жилет довершали наряд, в котором мистер Баркис показался мне образцом респектабельности.

Когда мы все высыпали за дверь, я увидел, что мистер Пегготи приготовил старую туфлю, чтобы бросить ее на счастье нам вслед, для каковой цели он и пожелал вручить ее миссис Гаммидж.

– Нет! Пусть лучше сделает это кто-нибудь другой, Дэниел, – сказала миссис Гаммидж. – Я женщина одинокая, покинутая, а как вспомню, что не все люди на свете одиноки и покинуты, так я знаю: это мне наперекор!

– Полно, мамаша, бери туфлю и бросай! – воскликнул мистер Пегготи.

– Нет, Дэниел! – захныкав, покачала головой миссис Гаммидж. – Будь я не так чувствительна, я бы и не то могла сделать. Ты не чувствителен, Дэниел. Никто тебе не идет наперекор, и ты никому не идешь. Лучше брось-ка ее сам.

Но тут Пегготи, которая второпях уже перецеловала всех, крикнула из двуколки, куда мы к тому времени уселись (мы с Эмли – рядком, на двух узких сиденьях), что миссис Гаммидж должна бросить туфлю. Так миссис Гаммидж и поступила, но, к сожалению, должен сказать, она омрачила наш праздничный отъезд, немедленно залившись слезами, после чего сникла на руки Хэма и объявила, что она бремя и что лучше всего отвезти ее сразу в работный дом. По моему мне-

нию, это была разумная мысль и Хэму надлежало бы так и сделать.

И вот началась наша увеселительная поездка. Первым делом мы остановились у церкви, где мистер Баркис привязал лошадь к забору, а сам с Пегготи вошел в церковь, оставив в двуколке меня и малютку Эмли. Я воспользовался этим, чтобы обвить рукой талию Эмли и заявить, что ввиду моего близкого отъезда мы должны быть очень ласковы друг с другом и провести этот день как можно веселей. Малютка Эмли со мной согласилась, позволила себя поцеловать, и тогда я совсем расхрабрился и, насколько мне помнится, уведомил ее, что никогда не буду любить другую и готов заколоть каждого, кто вздумает домогаться ее расположения.

Как это позабавило малютку Эмли! С каким важным видом эта маленькая фея старалась казаться куда более взрослой и рассудительной, чем я, когда говорила: «Какой глупый мальчик!» – и смеялась так очаровательно, что я забыл об обиде, заключенной в этих словах, и только радовался, любуясь ею.

Мистер Баркис и Пегготи оставались в церкви довольно долго, но в конце концов вышли, и мы тронулись дальше по проселочной дороге. Тут мистер Баркис повернулся ко мне и сказал, подмигивая (кстати говоря, прежде я никак не предполагал, что он умеет подмигивать):

– Какое имя я написал тогда на повозке?

– Клара Пегготи, – ответил я.

– А теперь какое имя я бы написал, будь здесь навес?

– Клара Пегготи? – повторил я вопросительно.

– Клара Пегготи Баркис! – заявил он и разразился таким смехом, что двуколка затряслась.

Короче говоря, они поженились; для того-то они и ходили в церковь. Пегготи решила, что все должно совершиться тихо и спокойно, и во время церемонии не было никаких свидетелей, а посаженого отца заменил церковный клерк. Она немного сконфузилась, когда мистер Баркис столь внезапно возвестил об их союзе, и крепко обняла меня в знак неизменной своей любви, но скоро успокоилась и выразила удовольствие, что теперь все уже позади.

Мы подъехали к маленькой придорожной гостинице, где нас ожидали и где, после вкусного обеда, мы провели день очень весело. Если бы Пегготи выходила замуж в течение последних десяти лет ежедневно, то и в этом случае она не могла бы держаться более непринужденно: никакой перемены в ней не произошло, она была такой же, как всегда, и перед чаем пошла прогуляться с малюткой Эмли и со мной; а тем временем мистер Баркис философически курил трубку и, должно быть, ублажал себя размышлениями о своем счастье. Если это так, то такие размышления весьма возбудили его аппетит, ибо я отчетливо помню, что, невзирая на съеденную за обедом добрую порцию свинины с овощами, которую он закусил не то одним, не то двумя цыплятами, мистер Баркис вынужден был потребовать к чаю холодной

вареной грудинки, каковую и уплел в большом количестве и в полном спокойствии.

С той поры я не раз думал о том, какая это была чудная, умилительная, необыкновенная свадьба! Когда стемнело, мы снова уселись в двуколку и в самом благодушном настроении покатили домой, любуясь звездами и болтая о них. Показывать их выпало на долю мне, и я открыл мистеру Баркису неведомые горизонты. Я рассказал ему все, что знал, а он поверил бы решительно всему, что мне взбрело бы в голову ему сообщить, ибо проникся благоговением к моим познаниям, и, обращаясь к своей жене, во всеуслышание назвал меня «юным Рошусом», разумея под этим чудо из чудес.

Когда вопрос о звездах был исчерпан, или, вернее, исчерпаны умственные способности мистера Баркиса, я сделал плащ из старой холстины и мы сидели под ним с малюткой Эмли до конца путешествия. О, как я любил ее! Какое было бы счастье, думал я, если бы поженились *мы* и удалились в леса и поля; там жили бы мы и не старели и не умнели, вечно оставались бы детьми, бродили бы рука об руку под ярким солнцем по лугам, усеянным цветами, ночью склоняли бы наши головы на мягкий мох, погружаясь в сладкий, невинный, безмятежный сон, а когда нам пришлось бы умереть, нас схоронили бы птицы! Вот какие картины вставали передо мной всю дорогу – картины, ничего общего не имеющие с реальной жизнью, озаренные светом нашей невинности, неясные, как звезды там вверху… Радостно думать, что на

свадьбе Пегготи присутствовали два таких чистых существа, как малютка Эмли и я. Радостно думать, что в обычной свадебной церемонии участвовали Амуры и Грации, принявшие вид таких воздушных созданий.

Поздно вечером мы благополучно подъехали к старому баркасу; здесь мистер и миссис Баркис попрощались с нами и мирно отправились к себе домой. Вот тогда-то я впервые почувствовал, что лишился Пегготи. Под любым другим кровом я пошел бы спать с опечаленным сердцем, но только не здесь, где рядом со мною жила малютка Эмли.

Мистер Пегготи и Хэм знали не хуже меня о моих мыслях и с особым радушием ждали меня к ужину, чтобы их разогнать. Малютка Эмли подсела ко мне на сундучок – один-единственный раз в этот мой приезд; это было чудесное завершение чудесного дня.

Был ночной прилив, и вскоре после того, как мы пошли спать, мистер Пегготи и Хэм отправились на рыбную ловлю. Я чувствовал себя очень смелым, оставшись в этом уединенном доме единственным защитником малютки Эмли и миссис Гаммидж, и жаждал только нападения на нас льва, змеи или какого-нибудь отвратительного чудовища, дабы я мог его уничтожить и покрыть себя славой. Но в ту ночь никто из них не избрал для прогулок ярмутскую равнину, и мне оставалось лишь до утра грезить о драконах.

Утром появилась Пегготи и, как обычно, окликнула меня, стоя под окном, словно и возчик, мистер Баркис, и все,

что вчера произошло, было также лишь сновидением. После завтрака она взяла меня к себе домой; это был чудесный маленький домик. Из всех находящихся там вещей мое особое внимание привлекло старое бюро из какого-то темного дерева, стоявшее в гостиной (обычно все собирались в кухне с кафельным полом), бюро с откидной крышкой, превращавшей его в конторку; на нем лежала огромная, в четвертую долю листа, «Книга мучеников» Фокса. Этот достойный всяческого уважения том, из которого я не помню теперь ни единого слова, я немедленно обнаружил и немедленно в него погрузился. И когда бы я ни приходил сюда впоследствии, я всегда взбирался на стул, открывал ларец, заключавший сию драгоценность, затем становился на колени и, положив локти на конторку, снова и снова начинал пожирать страницу за страницей. Боюсь, что главным образом я поучался, разглядывая многочисленные иллюстрации, на коих были изображены разнообразные и неслыханные ужасы, но с тех времен и по сию пору дом Пегготи и «Мученики» неразрывно связаны между собой.

В тот день я попрощался с мистером Пегготи и Хэмом, с миссис Гаммидж и малюткой Эмли; ночь я провел у Пегготи в крохотной комнатке в мансарде (с книгой о крокодилах, лежавшей на полке у изголовья кровати), в комнатке, которая, по словам Пегготи, предназначена для меня и всегда будет сохраняться в таком же точно виде.

– И в молодости, и в старости, дорогой мой Дэви, пока

я жива и этот дом мой, – говорила Пегготи, – вы найдете комнату такой, словно я вас поджидаю с минуты на минуту. Я стану убирать ее ежедневно, как убирала вашу прежнюю комнатку, мое сокровище! И если бы вы уехали в Китай, можете быть уверены, что я буду ее убирать все время, пока вас нет.

Всем сердцем чувствовал я верность и преданность моей милой старой няни и благодарил ее как только мог. Но мне не удалось поблагодарить ее хорошенько, ибо говорила она об этом утром (нежно обнимая меня) и в то же утро я отправлялся домой, куда и прибыл также утром в повозке вместе с Пегготи и мистером Баркисом. Они покинули меня у калитки, покинули с тяжелым сердцем. И как странно было мне следить за удаляющейся повозкой, увозившей Пегготи, когда я остался здесь, под старыми вязами, перед домом, где никто уже и никогда не взглянет на меня с любовью!

И вот я оказался совсем забытым, о чем и теперь не могу думать без сострадания к самому себе. Моим уделом стало полное одиночество – я жил вдали от друзей с их теплым участием, вдали от своих сверстников, вдали от чего бы то ни было, кроме моих горестных размышлений, тень которых, мне чудится, падает на бумагу даже теперь, когда я об этом пишу.

Чего бы я только не дал, чтобы меня послали в самую строгую школу и чтобы хоть чему-нибудь, как-нибудь и где-нибудь обучали! Но на это не было у меня надежды. Меня не

любили. Меня просто не замечали – неизменно, сурово и жестоко. Мне кажется, мистер Мэрдстон к тому времени стал испытывать денежные затруднения, но не это являлось причиной. Он не выносил меня и, отстраняя от себя, старался, я думаю, прогнать мысль о том, что я могу предъявить какие бы то ни было претензии к нему… и своей цели он достиг.

Со мной не обходились жестоко. Меня не били, не морили голодом, но обиду, мне наносимую, я чувствовал всегда, обиду наносили мне изо дня в день с полным безучастием. Проходили дни, недели, месяцы – обо мне не думали и не вспоминали. Иногда, размышляя об этом, я задаю себе вопрос, что бы они стали делать, если бы я заболел: предоставили бы мне захиреть от болезни в моей комнатке, как обычно, в полном одиночестве, или кто-нибудь пришел бы мне на помощь?

Когда мистер и мисс Мэрдстон были дома, я ел и пил вместе с ними, в их отсутствие садился за стол один. В любое время я мог бродить вокруг дома и по окрестностям, и никто не обращал на это никакого внимания, за одним только исключением: мне запрещалось заводить друзей, вероятно из опасения, что я могу кому-нибудь пожаловаться. Поэтому, хотя мистер Чиллип часто приглашал меня к себе (он был вдов, несколько лет назад он потерял жену, маленькую белокурую женщину, которая в моих воспоминаниях всегда связывается с представлением о светло-рыжей кошечке), я редко позволял себе удовольствие заглянуть под вечер в его вра-

чебный кабинет; там я читал книги, совсем для меня новые, вдыхая запах всевозможных лекарств, или растирал что-нибудь в ступке под наблюдением кроткого мистера Чиллипа.

По той же причине – в добавление, конечно, к старой неприязни, питаемой ими к моей няне, – меня редко отпускали в гости к Пегготи. Строго блюдя свое обещание, она раз в неделю являлась проведать меня или встречалась со мной где-нибудь неподалеку от дома и никогда не приходила с пустыми руками. Но сколько раз я испытывал горькое разочарование, когда мне не разрешали ее посетить! Все же несколько раз, но с большими промежутками, я получал позволение поехать к ней. Оказалось, что мистер Баркис был в некотором роде скрягой или, как выражалась вежливо Пегготи, «чуточку скуповат» и хранил кучу денег у себя под кроватью, в сундуке, в котором, по его словам, не было ничего, кроме курток и штанов. Его богатства прятались в этом сундуке с таким упорством и такой застенчивостью, что даже малую толику их удавалось оттуда извлечь лишь хитростью; и Пегготи приходилось каждую неделю изобретать хитроумнейший план – нечто вроде Порохового заговора, – чтобы получить в субботу деньги на расходы.

Все это время я так глубоко чувствовал крушение всех надежд, которые прежде подавал, и полную свою заброшенность, что, несомненно, почитал бы себя совсем несчастным, не будь у меня старых моих книг. Они были единственным моим утешением, я был верен им так же, как и они мне, и

я перечитывал их снова и снова, бог весть сколько раз.

Но вот я подхожу к тому периоду моей жизни, который никогда не сотрется в моей памяти, доколе я буду хоть что-нибудь помнить. Воспоминание о нем, часто помимо моей воли, встает передо мной, как привидение, и отравляет воспоминания о более счастливых временах.

Однажды я вышел из дому и слонялся вокруг с задумчивым и вялым видом, который был порождением моей праздности, как вдруг за поворотом проселочной дороги, неподалеку от нашего дома, наткнулся на мистера Мэрдстона, который прогуливался с каким-то джентльменом. Я смутился и хотел пройти мимо, но джентльмен воскликнул:

– А! Брукс!

– Нет, сэр, Дэвид Копперфилд, – сказал я.

– Какой вздор! Ты Брукс, – возразил джентльмен. – Ты Брукс из Шеффилда. Вот твое имя.

При этих словах я поглядел на джентльмена более внимательно. Его смех укрепил мою уверенность, что это мистер Куиньон, которого я видел, когда ездил с мистером Мэрдстоном в Лоустофт, прежде чем… впрочем, это не важно, нет нужды вспоминать, когда это было…

– Ну, как дела, где ты учишься, Брукс? – спросил мистер Куиньон.

Он положил руку мне на плечо и повернул меня, чтобы я пошел с ними. Я не знал, что ему отвечать, и растерянно взглянул на мистера Мэрдстона.

– Теперь он живет дома, – сказал мистер Мэрдстон. – Он нигде не учится. Не знаю, что с ним делать. Он трудный субъект.

На мгновение знакомый косой взгляд остановился на мне; затем мистер Мэрдстон нахмурился и с ненавистью отвернулся.

– Гм… – произнес мистер Куиньон, поглядывая, как мне показалось, на нас обоих. – Прекрасная погода.

Наступило молчание, и я стал думать о том, как бы мне половчее освободиться от его руки, лежавшей у меня на плече, и улизнуть, как вдруг он сказал:

– А ты по-прежнему очень неглуп, Брукс?

– О! Он-то не глуп, – нетерпеливо отозвался мистер Мэрдстон. – Лучше отпустите его. Он вас не поблагодарит за то, что вы его смущаете.

При таком намеке мистер Куиньон отпустил меня, и я поспешил домой. Войдя в палисадник, я оглянулся и увидел, что мистер Мэрдстон прислонился к кладбищенской ограде и мистер Куиньон что-то говорит ему. Оба смотрели мне вслед, и я понял, что речь идет обо мне.

Мистер Куиньон переночевал у нас. Наутро после завтрака я отодвинул свой стул и направился к двери, но мистер Мэрдстон окликнул меня. Он важно уселся за другой стол, его сестра – за свое бюро. Мистер Куиньон, заложив руки в карманы, смотрел в окно, а я стоял и глядел на них.

– Дэвид, – обратился ко мне мистер Мэрдстон, – в этом

мире молодежь должна работать, а не хандрить и не слоняться без дела.

– Как ты! – вставила его сестра.

– Джейн Мэрдстон! Не вмешивайтесь, прошу вас. Итак, говорю я, Дэвид, в этом мире молодежь должна работать, а не хандрить и слоняться без дела. Это в особенности справедливо по отношению к такому мальчику, как ты, с характером, нуждающимся в исправлении; и лучшей услугой такому мальчику будет заставить его приноровиться к трудовой жизни, согнуть его и сломить.

– Потому что упрямство ни к чему не поведет, – вставила его сестра. – Его нужно сокрушить. Оно должно быть сокрушено. И будет сокрушено.

Он бросил на нее взгляд укоризненный и вместе с тем одобрительный и затем продолжал:

– Полагаю, Дэвид, тебе известно, что я не богат. Во всяком случае, говорю это тебе теперь. Ты уже получил неплохое образование. Образование стоит дорого, но даже если бы оно стоило дешево и я мог бы за него платить, я держусь того мнения, что пребывание в пансионе не может пойти тебе на пользу. Тебе предстоит борьба за существование, и чем раньше ты начнешь ее, тем лучше.

Кажется, я подумал тогда, что уже начал эту борьбу, несмотря на свои слабые силы; как бы то ни было, но именно такого мнения я придерживаюсь теперь.

– Тебе уже приходилось слышать о «торговом доме»? –

продолжал мистер Мэрдстон.

– О торговом доме, сэр? – спросил я.

– Да, о конторе «Мэрдстон и Гринби», о виноторговле?

Кажется, вид у меня был растерянный, ибо он с раздражением продолжал:

– Ты что-нибудь слышал о «торговом доме», о предприятиях, о погребах, о верфях или о чем-нибудь подобном?

– Мне кажется, я слыхал о «предприятии», сэр, – ответил я, вспоминая все, что знал об источнике доходов мистера Мэрдстона и его сестры. – Но не помню когда.

– Не важно, когда ты слышал, – оборвал он меня. – Мистер Куиньон управляет этим предприятием.

Я почтительно взглянул на мистера Куиньона, продолжавшего смотреть в окно.

– Мистер Куиньон говорит, что там работают несколько мальчиков и он не видит оснований, почему бы на тех же условиях не принять на работу и тебя.

– Если у него, Мэрдстон, нет никаких других видов на будущее, – заметил вполголоса мистер Куиньон, слегка повернувшись к нему.

Мистер Мэрдстон нетерпеливо, даже гневно отмахнулся от него и продолжал, не обращая внимания на его слова:

– Эти условия таковы, что ты сможешь заработать себе на пропитание и карманные расходы. Что касается твоего жилья, о котором я уже позаботился, то за него буду платить я. Так же как и за стирку твоего белья.

– Я определю, какая сумма на это потребуется, – вставила его сестра.

– Одеваться ты тоже будешь за мой счет, пока ты еще не можешь купить себе платье сам. Итак, Дэвид, ты отправишься в Лондон с мистером Куиньоном, чтобы отныне вести самостоятельную жизнь.

– Одним словом, ты пристроен и должен заботиться о том, чтобы исполнять свой долг, – сказала его сестра.

Хотя я хорошо понимал, что, возвещая об этом, они хотели от меня отделаться, я не помню точно, был ли я доволен или испуган. Кажется, я растерялся и, колеблясь между радостью и страхом, не испытывал ни того ни другого чувства. И у меня не было времени разобраться в своих мыслях, так как мистер Куиньон отправлялся на следующий день.

Теперь представьте себе меня на следующий день в поношенной белой шапочке, повязанной крепом в знак траура по матери, в черной куртке, в жестких вельветовых штанах – мисс Мэрдстон почитала их самыми надежными латами для моих ног в борьбе со всем миром, которую мне предстояло вести, – представьте себе меня в этом костюме со всем моим имуществом, заключенным в сундучке, который стоит передо мной, а я, одинокий, покинутый ребенок (как сказала бы миссис Гаммидж), сижу в почтовой карете, везущей мистера Куиньона из Ярмута в Лондон. Вот наш дом и церковь исчезают вдали, вот уже другие предметы заслоняют могилу под сенью дерева, вот уже не видно и шпиля колокольни, подле

которой я, бывало, играл, а небо надо мной такое пустое!

Глава XI
Я начинаю жить самостоятельно, и это мне не нравится

Теперь я знаю жизнь достаточно хорошо, чтобы потерять способность чему бы то ни было удивляться. Но и теперь я все же удивляюсь тому, как легко я был выброшен вон из дому в таком раннем возрасте. Ребенок я был очень способный, наделенный острой наблюдательностью, живой, пылкий, хрупкий, меня легко было ранить и телесно, и душевно, и прямо поразительно, что никто не сделал ни малейшей попытки защитить меня. Но такой попытки не было сделано, и я, в десятилетнем возрасте, стал юным рабом фирмы «Мэрдстон и Гринби».

Склад «Мэрдстон и Гринби» был расположен в Блекфрайерсе, на берегу реки. Благодаря перестройкам местность с той поры сильно изменилась; но тогда склад помещался в последнем доме на узкой извилистой уличке, спускавшейся к самой реке, так что, сойдя по нескольким ступеням, можно было сесть в лодку. Это было ветхое строение со своей собственной пристанью, окруженное водой в часы прилива и грязью во время отлива; оно буквально кишело крысами. Комнаты с обшитыми панелью стенами, потерявшими цвет под столетними слоями пыли и копоти, подгнившие полы и

лестницы, писк и возня старых, седых крыс внизу, в погребах, грязь и гниль этого дома возникают передо мной так отчетливо, словно все это я видел не много лет назад, но только что, сию минуту. Склад встает у меня перед глазами точь-в-точь таким же, как в тот злосчастный день, когда я пришел туда впервые, держась дрожащей рукой за руку мистера Куиньона.

Фирма «Мэрдстон и Гринби» имела дела со всяким людом, но одной из важнейших отраслей ее торговых операций являлась поставка вин и других крепких напитков на некоторые пакетботы. Я не помню в точности, какие рейсы совершали эти пакетботы, но, кажется, иные из них ходили в Ост-Индию и Вест-Индию. Знаю, что одним из результа-

тов этих сделок было большое количество пустых бутылок и что какие-то мужчины и мальчики должны были проверять бутылки, держа их против света, откладывать в сторону надтреснутые, а остальные полоскать и мыть. Когда кончались хлопоты о пустых бутылках, надо было наклеивать этикетки на полные, закупоривать их, запечатывать и упаковывать в ящики. Вот для такой работы и был предназначен я в числе других мальчиков, работавших на складе.

Нас было трое или четверо, включая меня. Мое рабочее место находилось в углу склада, где меня мог видеть в окно мистер Куиньон, когда он становился на нижнюю перекладину табурета перед своим бюро в конторе. В первое же утро, когда мне предстояло при таких благоприятных предзнаменованиях начать самостоятельную жизнь, к моему рабочему месту был вызван старший из мальчиков, чтобы ознакомить меня с моими обязанностями. Звали его Мик Уокер, на нем были рваный фартук и бумажный колпак. Он сообщил мне, что его отец – лодочник и что, шествуя в процессии лорд-мэра, он надевает черную бархатную шляпу. Сообщил он также и то, что у нас есть третий товарищ и зовут его – весьма странно на мой взгляд – Мучнистая Картошка. Впрочем, я выяснил, что этот юнец получил сие имя не при крещении, но прозван был так на складе благодаря своей бледной, мучнистого цвета, физиономии. Отец Мучнистой Картошки был уотермен, а к тому же и пожарный в одном из больших театров, где близкая родственница Мучнистой

Картошки – кажется, его младшая сестра – изображала чертенка в пантомиме.

Нет слов, чтобы описать мои тайные душевные муки, когда я попал в такую компанию. Сравнивать своих теперешних сотоварищей с теми, кто окружал меня в пору счастливого моего детства, – я уже не говорю о Стирфорте, Трэдлсе и других… Чувствовать, что рухнула навсегда надежда стать образованным, незаурядным человеком… Сознание полной безнадежности, стыд, вызванный моим положением, унижение, испытываемое детской моей душой при мысли о том, что с каждым днем будет стираться в моей памяти и никогда не вернется вновь все то, чему я обучался, о чем размышлял, чем наслаждался и что вдохновляло мою фантазию и толкало меня на соревнование… Нет, этого нельзя описать. В течение всего утра, как только Мик Уокер отходил от меня, слезы мои смешивались с водой, которой я мыл бутылки, и я рыдал так, словно трещина была в моем собственном сердце и ему угрожала опасность разорваться.

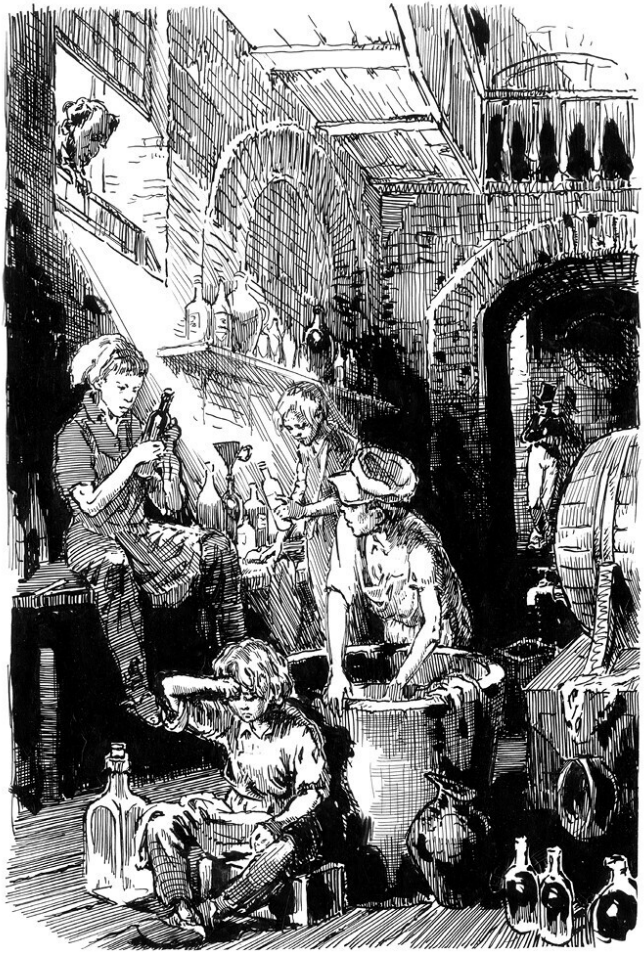
На часах конторы было половина первого, и все приготовились идти обедать, как вдруг мистер Куиньон постучал в окно и поманил меня к себе. Я вошел в контору и увидел плотного мужчину средних лет в коричневом сюртуке, в черных штанах в обтяжку и в черных башмаках; на его огромной лоснящейся голове было не больше волос, чем на яйце; лицо его, которое он обратил ко мне, было весьма широкое. Костюм на нем был поношенный, но воротничок сорочки имел

внушительный вид. Он держал щегольскую трость с двумя огромными порыжевшими кистями, а на сюртук был выпущен монокль – для украшения, как я узнал позднее, ибо он очень редко им пользовался да к тому же ровно ничего не видел, когда к нему прибегал.

– Вот он, – сказал мистер Куиньон, имея в виду меня.

– Так это мистер Копперфилд? – проговорил незнакомец с каким-то снисходительным журчанием в голосе и с неописуемо любезным видом, очень мне понравившимся. – Надеюсь, вы поживаете хорошо, сэр?

Я ответил, что поживаю прекрасно, и выразил надежду, что и он поживает точно так же. Одному Богу известно, как мне было плохо, но в ту пору не в моей натуре было жаловаться, почему я и сказал, что поживаю прекрасно и надеюсь, что и он поживает так же.



– Слава богу, я себя чувствую превосходно! – продолжал незнакомец. – Я получил письмо от мистера Мэрдстона, где он выражает желание, чтобы я уступил комнату, выходящую окнами во двор и ныне свободную… она, одним словом, сдается… уступил, одним словом, – тут незнакомец, улыбаясь, заговорил доверительным тоном, – спальню юноше, вступающему в жизнь, которого теперь я имею удовольствие…

Незнакомец помахал рукой и погрузил подбородок в воротничок сорочки.

– Это мистер Микобер, – пояснил мне мистер Куиньон.

– Гм… да… так меня зовут, – подтвердил незнакомец.

– Мистер Микобер известен мистеру Мэрдстону, – сказал мистер Куиньон. – Он доставляет нам заказы, когда их получает. Мистер Мэрдстон написал ему о тебе, и теперь он согласен принять тебя к себе жильцом.

– Мой адрес – Уиндзор-Тэррес, Сити-роуд, – сказал мистер Микобер, – я… одним словом, – он закончил все так же любезно и снова крайне доверительным тоном, – там проживаю!

Я отвесил поклон.

– Опасаясь, что ваши странствования в сей столице не могли быть еще длительными и проникновение в тайны современного Вавилона на пути к Сити-роуд представляет для вас некоторые затруднения… одним словом, – мистер Микобер снова впал в доверительный тон, – что вы можете за-

блудиться, я буду счастлив… зайти за вами сегодня вечером, чтобы показать вам кратчайший путь.

Я поблагодарил его от всей души, ибо очень мило было с его стороны взять на себя такой труд.

– В котором часу, – спросил мистер Микобер, – могу я…

– Около восьми, – сказал мистер Куиньон.

– Около восьми! – повторил мистер Микобер. – Позволю себе пожелать вам всего хорошего, мистер Куиньон! Не смею вас задерживать.

Он надел шляпу, подхватил трость под мышку и, приосанившись, вышел, что-то напевая.

После его ухода мистер Куиньон торжественно принял меня на службу в фирму «Мэрдстон и Гринби» для выполнения любых обязанностей и положил мне жалованье – кажется, шесть шиллингов в неделю. Не уверен, было ли это шесть шиллингов или семь. Эта неуверенность заставляет меня думать, что вначале было шесть шиллингов, а потом семь. Он выдал мне жалованье вперед за неделю (кажется, из своего кармана), и я вручил Мучнистой Картошке шестипенсовик за то, чтобы он отнес вечером мой сундучок на Уиндзор-Тэррес: сундучок хоть и был невелик, но для меня все-таки слишком тяжел. Еще шесть пенсов я заплатил за обед, состоявший из мясного пирога и воды, за которой я прогулялся к ближайшей водокачке; час, отведенный для обеда, я провел, бродя по улицам.

Вечером, в назначенное время, мистер Микобер появился вновь. Я вымыл лицо и руки, чтобы оказать честь изяществу

его манер, и мы отправились вместе с ним к себе домой – так, мне кажется, я должен отныне называть этот дом. По пути мистер Микобер обращал мое внимание на названия улиц и на угольные дома, дабы утром мне было легче найти дорогу обратно.

Добравшись до дома на Уиндзор-Тэррес (который, как я заметил, имел такой же, как и у мистера Микобера, потрепанный вид, но, подобно ему, притязал на изящество), он представил меня миссис Микобер, худой, поблекшей леди, отнюдь не молодой, которая сидела в гостиной (во втором этаже не было мебели, и шторы были спущены, чтобы ввести в заблуждение соседей) и кормила грудью младенца. Этот младенец был одним из двух близнецов, и, замечу мимоходом, за все время моего знакомства с этим семейством мне ни разу не случалось наблюдать, чтобы близнецы оставляли в покое миссис Микобер. Один из них неизменно подкреплялся.

Было и еще двое детей: юный мистер Микобер, лет четырех, и мисс Микобер, приблизительно лет трех. Они и черномазая молодая особа, служанка, которая имела привычку фыркать, довершали круг домочадцев; уже через полчаса эта особа поведала мне, что она «сиротская» и взята из приюта при работном доме в соседнем приходе Св. Луки. Моя комната была расположена наверху и выходила во двор; она была очень маленькая, почти без мебели, и на стенах ее красовался орнамент, в котором мое юное воображение угадало

нарисованные по трафарету голубые пышки.

– Я никогда не думала до замужества, пока жила с папой и мамой, – сказала миссис Микобер, опускаясь на стул, чтобы отдышаться после того, как она поднялась наверх с близнецом на руках показать мне мое жилище, – я никогда не думала, что мне придется взять жильца. Но мистер Микобер находится в затруднительном положении, и приходится забыть все личные удобства.

Я сказал:

– Да, сударыня.

– В настоящее время у мистера Микобера чрезвычайно затруднительное положение, – продолжала миссис Микобер, – и я не знаю, удастся ли ему выпутаться. Когда я жила с папой и мамой, я даже не понимала, что значат эти слова – в том смысле, в каком я сейчас их употребляю, но «опыт всему научит», как говаривал мой папа.

Я точно не знаю, сказала ли она мне, что мистер Микобер был морским офицером, или я сам это выдумал. Знаю только, что и до сей поры я полагаю, будто он когда-то им *был*, но почему я так думаю – неведомо. Ныне же он являлся комиссионером нескольких фирм, но, боюсь, очень мало на этом деле зарабатывал, а быть может, и совсем ничего.

– Если кредиторы мистера Микобера не дадут ему отсрочки, – продолжала миссис Микобер, – они должны будут отвечать за последствия; и чем скорее это случится, тем лучше. Ведь нельзя выжать из камня кровь, так вот теперь и из

мистера Микобера ничего не вытянешь, я уже не говорю о судебных издержках.

Я никогда не мог понять, то ли моя ранняя самостоятельность ввела миссис Микобер в заблуждение касательно моего возраста, то ли она была столь поглощена своей темой, что решилась бы обсуждать ее даже с близнецами при отсутствии других слушателей, но об этом предмете она заговорила, увидев меня впервые, и о том же говорила все время, пока я знал ее.

Бедная миссис Микобер! Она сказала, что старается изо всех сил, и, несомненно, так оно и было. Посредине входной двери красовалась большая медная доска, а на ней было выгравировано: «Пансион миссис Микобер для юных леди», но никогда я не видел в этом пансионе ни одной юной леди, никогда ни одна юная леди не являлась и не предполагала явиться, и никогда не делалось никаких приготовлений для приема юных леди. Я видел, а также и слышал посетителей только одного сорта – кредиторов. Они-то являлись в любой час, и кое-кто из них бывал весьма свиреп. Некий чумазый мужчина, кажется сапожник, обычно появлялся в коридоре в семь часов утра и кричал с нижней ступеньки лестницы, взывая к мистеру Микоберу:

– А ну-ка сходите вниз! Вы еще дома, я знаю! Вы когда-нибудь заплатите? Нечего прятаться! Что, струсили? Будь я на вашем месте, я бы не струсил! Вы заплатите когда-нибудь или нет? Слышите, вы?! Вы заплатите? А ну-ка

сходите вниз!

Не получая ответа на свой призыв, он распалялся все больше и больше и наконец орал: «Мошенники!», «Грабители!» Когда и такие выражения оставались без всякого отклика, он прибегал к крайним мерам, переходил улицу и орал оттуда, задрав голову и обращаясь к окнам третьего этажа, где, по его сведениям, находился мистер Микобер. В подобных случаях мистер Микобер впадал в тоску и печаль – однажды он дошел даже до того (как я мог заключить, услышав вопль его супруги), что замахнулся на себя бритвой, – но уже через полчаса крайне старательно чистил себе башмаки и выходил из дому, напевая какую-то песенку, причем вид у него был еще более изящный, чем обычно. В характере миссис Микобер была такая же эластичность. Я видел, как она в три часа дня падала в обморок, получив налоговую повестку, а в четыре часа уплетала баранью котлету, поджаренную в сухарях, запивая ее теплым элем (оплатив и то и другое двумя чайными ложками, перешедшими в ссудную кассу). А однажды, когда моим хозяевам уже грозила продажа имущества с молотка и я случайно пришел домой рано, к шести часам вечера, я увидел миссис Микобер с растрепанными волосами, лежащей без чувств у каминной решетки (разумеется, с младенцем на руках), но никогда она не была так весела, как в тот же самый вечер, хлопоча около телячьей котлеты, жарившейся в кухне, и рассказывая мне о своих папе и маме, а также об обществе, в котором она вращалась в юные годы.

Здесь, в этом доме и с этим семейством, я проводил свой досуг. Об утреннем завтраке я заботился сам – съедал хлеба на пенни и выпивал на пенни молока. Такой же хлебец и кусочек сыра я оставлял на отведенной мне полке в шкафу, чтобы поужинать вечером по возвращении домой. Это был значительный расход, если принять во внимание мое жалованье в шесть-семь шиллингов, а ведь целый день я проводил на складе и должен был содержать себя на эти деньги в течение недели. Начиная с утра понедельника вплоть до вечера субботы, клянусь спасением своей души, я ни от кого не получал ни совета, ни ободрения, ни утешения, ни поддержки, ни помощи!

Я был еще ребенок, я был так мал и так неподготовлен – да разве и могло быть иначе! – к тому, чтобы заботиться о себе, что нередко, идя утром на склад «Мэрдстон и Гринби», не мог бороться с искушением и покупал за полцены у пирожника кусок черствого пирога, тратя деньги, предназначенные на обед. Тогда я оставался без обеда и довольствовался булочкой или куском пудинга. Помню две лавочки, где продавался пудинг; в зависимости от моих финансов я покупал то в одной из них, то в другой. Одна находилась во дворе, позади церкви Св. Мартина, которая теперь уже снесена. В этой лавочке пудинг был особого сорта, с коринкой, но стоил дорого – кусок за два пенса не превосходил размером куска более скромного пудинга ценой в пенни. Такой пудинг, попроще, продавался в другой лавке – на Стрэнде, в одном

из тех кварталов, которые теперь перестроены. Это был пудинг жирный, тяжелый и вязкий, какого-то тусклого цвета, с большими плоскими изюминками, растыканными на большом расстоянии одна от другой; он бывал горячим как раз в час моего обеда, который нередко только из него и состоял. Когда же я обедал сытно, как следует, то покупал сильно наперченной сухой колбасы и на пенни хлеба или кусок кровавого ростбифа за четыре пенса, а иногда заказывал порцию хлеба с сыром и кружку пива в жалкой, старой харчевне против нашего склада – в харчевне под вывеской «Лев» или Лев и еще что-то, а что именно – я забыл. Однажды, помнится, держа под мышкой ломоть хлеба, завернутый, как книга, в бумагу (хлеб я принес с собой из дому), я зашел в ресторацию около Друри-лейн, славившуюся своим мясным блюдом «а-ля мод», и потребовал полпорции этого лакомства, чтобы съесть его вместе с моим хлебом. Не знаю, что подумал лакей при виде столь странного юного существа, зашедшего в их заведение без всяких спутников; но я и теперь вижу, как во время моего обеда он таращил на меня глаза и притащил еще одного лакея полюбоваться мной. Я дал ему на чай полпенни, весьма желая, чтобы он отказался его взять.

Нас отпускали с работы еще один раз в день – для чаепития, кажется на полчаса. Когда у меня хватало денег, я обычно брал полкружки кофе и ломтик хлеба с маслом. Но когда их не хватало, я удовлетворялся созерцанием лавки на Флит-стрит, торгующей дичью, или успевал сбегать на рынок Ко-

вент-Гарден и поглазеть на ананасы. Я очень любил бродить по Аделфи, так как темные арки придавали этому месту таинственный вид. Как сейчас вижу я себя: вот я выхожу однажды вечером из-под этих арок и иду к маленькому кабачку у самой реки, с площадкой перед домом; на этой площадке пляшут грузчики угля, а я сажусь на скамейку и смотрю на них. Любопытно, что они обо мне думали?

Я был совсем ребенок и так мал ростом, что частенько, когда я подходил к стойке какого-нибудь незнакомого трактира за стаканом эля или портера, чтобы утолить жажду после обеда, трактирщик не сразу решался налить мне пива. Помню, однажды, в жаркий вечер, я подошел к трактирной стойке и спросил хозяина:

– Сколько стоит стакан лучшего эля, *самого* лучшего?

Повод на этот раз был особо важный. Не помню какой – может быть, день моего рождения.

– Стакан Несравненного Оглушительного эля стоит два с половиной пенса, – ответил трактирщик.

– В таком случае дайте мне, пожалуйста, стакан Несравненного Оглушительного, но, прошу вас, налейте с верхом, побольше пены, – сказал я, протягивая деньги.

Хозяин выглянул из-за стойки и, странно улыбаясь, смерил меня с ног до головы, но, вместо того чтобы нацедить пива, просунул голову за занавеску и что-то сказал жене. Та появилась с каким-то рукодельем и вместе с мужем уставилась на меня. Как сейчас вижу всех нас троих. Трактирщик

в жилетке прислонился к окну у стойки, его жена глядит на меня поверх откидной доски прилавка, а я в смущении смотрю на них, остановившись перед стойкой. Они засыпали меня вопросами: как меня зовут, сколько мне лет, где я живу, где работаю и как я туда попал? На все вопросы я придумывал весьма правдоподобные ответы, стараясь ни на кого не набросить тени. Они нацедили мне эля, который, как я подозреваю, отнюдь не был Несравненным Оглушительным, а хозяйка подняла откидную доску стойки, вернула мне мои деньги и, наклонившись, поцеловала меня, то ли дивясь мне, то ли сочувствуя, не знаю, но, во всяком случае, от всего своего доброго материнского сердца.

Я уверен, что не преувеличиваю – хотя бы даже бессознательно и неумышленно – скудость моих средств и мои житейские затруднения. Я знаю, что, когда перепадал мне от мистера Куиньона шиллинг, я тратил его на обед или на чай. Я знаю, что, одетый в рубище, я работал вместе с простым людом с утра до вечера. Я знаю, что слонялся по улицам полуголодный. Я знаю также, что, если бы Бог не смилостивился, я, брошенный без надзора, мог бы легко стать воришкой или бродягой.

Но все же в фирме «Мэрдстон и Гринби» я был на особом положении. Мистер Куиньон, поскольку можно было этого ожидать от такого беззаботного и в то же время занятого человека, да еще столкнувшегося с таким необычайным явлением, обходился со мной иначе, чем с остальными; что ка-

сается меня, то я не говорил решительно никому, как я очутился в Лондоне, и никогда не жаловался. О том, что я тайно страдал, страдал ужасно, никто не знал, кроме меня. Мне не по силам, как я уже упоминал, рассказывать, сколько я выстрадал. Я таил свои мысли про себя и делал свое дело. С первого дня я знал, что, если не начну работать так же усердно, как остальные, ко мне будут относиться насмешливо и презрительно. Уже через короткий срок после поступления на склад я не уступал никому из мальчиков в расторопности и в исполнительности. Хотя я и был с ними в приятельских отношениях, но так отличался от них своими повадками и манерами, что они держались от меня на некотором расстоянии. И они, и взрослые служащие обычно называли меня «юный джентльмен» или «малыш из Суффолка». Старший упаковщик Грегори и возчик Типп, носивший красную куртку, звали меня Дэвид, но это бывало не на людях и в тех случаях, когда я, не отрываясь от работы, развлекал их, рассказывая им что-нибудь из прочитанных мною книг – книг, которые постепенно стирались в моей памяти. Мучнистая Картошка восстал однажды против этих знаков внимания, оказываемых мне, но Мик Уокер быстро призвал его к порядку.

У меня не было никакой надежды уйти от такой жизни, и я даже перестал об этом мечтать. Я глубоко убежден, что не примирился со своей участью ни на один час и всегда чувствовал себя беспредельно несчастным; но я терпел, и даже в письмах к Пегготи (мы вели оживленную переписку) – из

любви к ней, а отчасти из чувства стыда – никогда не открывал тайны.

OLD ALE
OLD ALE

Мое тяжелое душевное состояние усугублялось также затруднительным положением мистера Микобера. В своем одиночестве я очень привязался ко всему его семейству и бродил по улицам, озабоченный расчетами миссис Микобер и ее планами, как им выпутаться из вечного безденежья, – бродил отягощенный бременем долгов мистера Микобера. В субботний вечер, который был для меня праздником отчасти потому, что, возвращаясь с работы, я ощущал в кармане шесть-семь шиллингов и, заглядывая в окна магазинов, выбирал вещи, которые можно купить на все эти деньги, а отчасти потому, что я уходил домой раньше, чем обычно, – в субботний вечер миссис Микобер делала всегда самые душераздирающие признания; такие же признания ожидали меня и в воскресенье утром, когда я заваривал в кружке для бритья чай или кофе, купленные мною накануне, и подолгу засиживался за завтраком. Сплошь и рядом мистер Микобер горько рыдал в самом начале этих субботних признаний, а под конец напевал песенку о красотке Нэн, усладе Джека. Мне случалось видеть, как он возвращался домой к ужину, обливаясь слезами и объявляя, что все пропало и остается только сесть в тюрьму, а перед сном подсчитывал, сколько будет стоить пристройка к дому окна-фонаря, «если счастье улыбнется», – таково было его любимое выражение. И миссис Микобер была точь-в-точь такою же, как ее супруг.

Между ними и мной, несмотря на разницу лет, возник-

ла странная дружба, объяснимая, по-моему, лишь тем, что и они и я находились в одинаковом положении. Но я не разрешал себе принимать от них приглашения к столу (зная, что у них нелады с мясником и булочником и им самим часто не хватает самого необходимого), пока миссис Микобер не удостоила меня полного своего доверия. Это случилось однажды вечером.

– Мистер Копперфилд! – сказала миссис Микобер. – Вы у нас свой человек, и я должна вам сказать, что с делами у мистера Микобера катастрофа.

Услышав это, я почувствовал искреннее сожаление и взглянул на покрасневшие глаза миссис Микобер с великим соболезнованием.

– Если не считать корки голландского сыра, которая совершенно не годится для нужд моего юного потомства, – продолжала миссис Микобер, – в кладовой нет ни крошки. Я привыкла у папы и мамы говорить о кладовой и употребляю это слово почти непроизвольно. Я хочу сказать, что нам решительно нечего есть.

– О господи! – горестно воскликнул я.

У меня в кармане было два или три шиллинга, оставшихся от моей еженедельной получки, – из этого я заключаю, что разговор должен был происходить вечером в среду, – я поспешно вынул их и от всего сердца предложил миссис Микобер взять их у меня взаймы. Но сия леди, поцеловав меня и заставив спрятать деньги в карман, ответила, что об этом

не может быть и речи.

– Что вы, дорогой мой мистер Копперфилд! Мне это и в голову не приходило. Но вы рассудительны не по летам и могли бы оказать мне другого рода услугу, которую я с благодарностью приму.

Я просил миссис Микобер сказать, чем я могу ей услужить.

– Я сама заложила серебро, – отвечала миссис Микобер, – я собственноручно, чтобы никто об этом не узнал, и в разное время отнесла в заклад полдюжины чайных ложек, две ложечки для соли и щипцы для сахара. Но близнецы связывают меня по рукам и по ногам, а кроме того, мне нелегко носить вещи в заклад, когда я вспоминаю о папе и маме. Осталась еще какая-то мелочь, без нее тоже можно обойтись. Чувства мистера Микобера мешают ему расстаться с этими вещицами, а что до Кликет – так звали девицу из работного дома, – то она, знаете ли, совсем неразвитая и, пожалуй, задерет нос, если я окажу ей такое доверие. Могу ли я просить вас, мистер Копперфилд…

Тут я понял, к чему клонит миссис Микобер, и попросил ее распоряжаться мною по своему усмотрению. В тот же вечер я вынес из дому несколько наиболее портативных вещей и с той поры отправлялся в подобные экспедиции почти каждое утро, прежде чем идти на склад «Мэрдстон и Гринби».

У мистера Микобера в маленькой шифоньерке было десятка два книг, которые он именовал своей библиотекой; эти

книги пошли в первую очередь. Я относил их, одну за другой, в книжный ларек на Сити-роуд – улицу, изобиловавшую тогда (в ближайших к нашему дому кварталах) книжными ларьками и лавками, где продавали живых птиц; эти книги я уступал за первую же предложенную мне цену. Владелец ларька, проживавший тут же рядом, напивался каждый вечер, а жена отчаянно ругала его каждое утро. Частенько, когда я приходил слишком рано, он принимал меня, лежа на раскладной кровати, с рассеченным лбом или подбитым глазом, и, таким образом, я бывал свидетелем его невоздержности, которой он предавался по вечерам (кажется, во хмелю он был драчлив); дрожащей рукой разыскивая шиллинги, он шарил по карманам своего костюма, валявшегося на полу, а жена его, в стоптанных башмаках, держа на руках младенца, без устали его ругала. Иногда обнаруживалось, что он потерял деньги, и тогда он просил меня зайти еще раз, но у жены всегда бывало несколько монет, которые, мне кажется, она вытаскивала у него же, пьяного, и она тайком расплачивалась со мной, когда мы вместе спускались по лестнице.

Знали меня хорошо и в ссудной кассе. Джентльмен, распоряжавшийся там за прилавком, уделял мне немало внимания и, помнится, заставлял меня склонять вслух латинские существительные и прилагательные, а также спрягать глаголы, пока занимался моим делом. После каждого моего путешествия миссис Микобер устраивала скромную пирушку – обычно она готовила ужин, и, помню, он казался мне осо-

бенно вкусным.

Но в конце концов с мистером Микобером все же произошла катастрофа, и в один прекрасный день он был арестован поутру и препровожден в тюрьму Королевской Скамьи, в Боро. Уходя из дому, он заявил мне, что с сего дня Господь Бог отвратил от него лицо свое, и мне показалось, он в самом деле был в отчаянии, так же как и я. Но позднее я узнал, что еще до полудня видели, как он весело играет в кегли.

В первое же воскресенье после его ареста я должен был его навестить и пообедать вместе с ним. Я должен был спросить, как пройти к такому-то дому, и сразу за этим домом должен был увидеть другой дом, а сразу за этим другим домом должен был увидеть двор, который надлежало пересечь и идти прямехонько, не сворачивая, пока не увижу тюремного сторожа. Так я и поступил, и, когда наконец увидел тюремного сторожа, у меня (бедный я мальчуган!) мелькнула мысль о пребывании Родрика Рэндома в долговой тюрьме, где вместе с ним был заключенный, не имевший никакой одежды и закутанный только в старое одеяло, и сторож вдруг расплылся у меня в глазах, потому что они заволоклись слезами, а сердце заколотилось в груди.

Мистер Микобер поджидал меня за оградой, поднялся вместе со мной в свою камеру (в предпоследнем этаже) и горько заплакал. Помню, он торжественно заклинал меня помнить о его судьбе, которая должна служить мне предостережением, и не забывать о том, что если человек зараба-

тывает в год двадцать фунтов и тратит девятнадцать фунтов девятнадцать шиллингов шесть пенсов, то он счастливец, а если тратит двадцать один фунт, то ему грозит беда. Затем он взял у меня взаймы шиллинг на портер, вручил мне соответствующий чек на имя миссис Микобер, спрятал носовой платок и приободрился.

Мы сидели перед маленьким камином – где за ржавой решеткой положили по кирпичу с обеих сторон, дабы жечь поменьше угля, – пока другой заключенный, проживавший в камере вместе с мистером Микобером, не явился с куском

баранины, предназначенным для нашей общей трапезы. Тогда меня послали наверх к «капитану Гопкинсу» передать привет от мистера Микобера, сказать, что я юный друг мистера Микобера, и позаимствовать у капитана Гопкинса нож и вилку.

Капитан Гопкинс одолжил мне нож и вилку и передал привет мистеру Микоберу. В его маленькой камере находились весьма нечистоплотная на вид леди и две тощие молодые девицы, его дочери, с копнами волос на голове. Я подумал, что приятнее позаимствовать у капитана Гопкинса нож и вилку, чем гребенку. Сам капитан был настоящий оборванец, лицо его украшали большие бакенбарды, а под старым-престарым рыжим пальтишком не видно было и признака сюртука. В углу я увидел свернутую постель капитана, увидел, какие тарелки, блюдца и горшочки хранит он на своей полке, и догадался (бог весть почему), что хотя две девицы с копнами на голове в самом деле приходятся ему дочерьми, но неопрятная леди – не жена капитану Гопкинсу. Смущенный, я провел на пороге его камеры не больше двух минут, но, спускаясь по лестнице и унося с собой эти наблюдения, я был уверен в их правильности не меньше, чем в том, что у меня в руках нож и вилка.

Обед прошел оживленно и как-то по-цыгански. Еще до наступления вечера я отнес капитану Гопкинсу нож и вилку и поспешил домой утешить миссис Микобер отчетом о своем посещении. При виде меня ей стало дурно, а затем она

приготовила кувшинчик теплого пива с яйцом для нашего услаждения во время беседы.

Не знаю, как была продана домашняя обстановка, чтобы поддержать семейство, и кто ее продавал, – знаю только, что не я. Во всяком случае, она была продана и увезена в фургоне; остались только кровати, несколько стульев и кухонный стол. С этой мебелью мы разбили лагерь в двух гостиных опустевшего дома на Уиндзор-Тэррес – миссис Микобер, дети, «сиротская» и я – и проводили здесь дни и ночи. Не помню, сколько времени это продолжалось, но, кажется, долго. В конце концов миссис Микобер решила переселиться в тюрьму, где мистер Микобер к тому времени обитал в камере один. Я отнес ключ от дома хозяину, который очень обрадовался этому ключу, а в тюрьму Королевской Скамьи перевезли кровати – все, кроме моей, для которой нанята была комнатка сразу же за стенами сего учреждения, к вящему моему удовольствию, так как Микоберы и я, совместно перенося лишения, очень привыкли друг к другу. «Сиротская» также была устроена в дешевой каморке по соседству. Моя комнатка была в мансарде с покатым потолком и с прекрасным видом на дровяной склад; поселившись в ней и придя к заключению, что наконец кризис в жизни мистера Микобера наступил, я почувствовал себя здесь как в раю.

Все это время я работал на складе «Мэрдстон и Гринби», исполняя все ту же простую работу, водясь все с теми же простыми людьми и испытывая все то же чувство не заслу-

женного мной унижения, как и раньше. Но – несомненно, к счастью для себя – я не завел знакомства и не разговаривал с теми мальчишками, которых в большом количестве встречал ежедневно по дороге на склад, а также на обратном пути или во время моих блужданий по улицам в обеденный перерыв. Я вел все ту же жизнь, печальную и скрытую ото всех, и вел ее, по-прежнему одинокий, полагаясь только на самого себя. Перемена заключалась лишь в том, что моя одежда все более изнашивалась и я все более освобождался от бремени забот о мистере и миссис Микобер: какие-то родственники или приятели пришли им на помощь в их бедственном положении и они жили в тюрьме с такими удобствами, каких уже давным-давно не знали вне ее стен. Теперь я завтракал вместе с ними, но на каких условиях – не помню. Позабыл я также, в котором часу отмыкались утром ворота, открывавшие мне доступ в тюрьму; но, помнится, я часто вставал в шесть часов, и у меня оставалось еще время совершить мою излюбленную прогулку к старому Лондонскому мосту, где я садился в одной из каменных ниш и наблюдал прохожих или любовался, стоя у балюстрады, на отраженное в воде солнце, зажигающее золотое пламя на верхушке Монумента. Случалось, сюда приходила «сиротская» и выслушивала от меня поразительные истории о верфях и Тауэре; об этих историях могу сказать одно: думаю, что я в них верил сам. Вечером я снова возвращался в тюрьму, прохаживался взад и вперед по двору с мистером Микобером или играл в карты с миссис

Микобер и слушал ее воспоминания о папе и маме. Не могу сказать, знал ли мистер Мэрдстон о том, где я бываю, или не знал. У «Мэрдстона и Гринби» я ничего об этом не говорил.

Хотя для мистера Микобера катастрофа была уже позади, но его дела были весьма запутаны, ибо существовал какой-то «акт», о котором мне столько раз приходилось слышать, – акт, который являлся, как мне теперь кажется, прежним соглашением мистера Микобера с кредиторами; впрочем, тогда я имел о нем столь смутное понятие, что думал, будто он похож на те договоры с дьяволом, которые, как многие верят, некогда очень часто заключались в Германии. В конце концов этот документ каким-то образом перестал быть помехой, – во всяком случае, он уже не являлся камнем преткновения, и миссис Микобер сообщила мне, что «ее семейство» решило, чтобы мистер Микобер хлопотал об освобождении по Закону о несостоятельности, который может ему вернуть свободу, как она надеется, месяца через полтора.

– Вот тогда, – вмешался присутствовавший при этом разговоре мистер Микобер, – благодарение Небу, я, несомненно, хорошо устроюсь и заживу прекрасно, совсем по-другому, если… если… одним словом, если счастье улыбнется.

Помнится, примерно в это время мистер Микобер, с целью приуготовиться к будущему, составил петицию в палату общин об изменении закона о тюремном заключении за долги. Упоминаю об этом теперь, так как этот случай позволяет мне самому понять, как я приспосабливал прочитанные

мной раньше книги к моей тогдашней столь изменявшейся жизни и сочинял для самого себя истории, в которых участвовали встреченные мною на улицах мужчины и женщины, а также каким образом формировались постепенно некоторые основные черты моего характера, которые я ненароком буду раскрывать в повествовании о моей жизни.

В тюрьме был клуб, в котором мистер Микобер, как джентльмен, пользовался большим авторитетом. Мистер Микобер поделился в клубе своей идеей подать петицию в палату общин, и клуб горячо поддержал ее. Поэтому мистер Микобер (человек чрезвычайно добрый, обладавший беспримерной активностью во всех делах, за исключением своих собственных, и очень радовавшийся, если ему приходилось хлопотать о чем-нибудь таком, что не приносило ему ровно никакой выгоды) засел за составление петиции, сочинил ее, переписал на огромном листе бумаги и, разложив на столе, оповестил, что в такой-то час члены клуба и все лица, находящиеся в стенах тюрьмы, могут пожаловать, если пожелают, в его камеру и подписать петицию.

Когда я прослышал о предстоящей церемонии, мне так захотелось поглядеть, как все заключенные соберутся и будут подписывать бумагу один за другим – хотя я знал большинство из них, да и они меня знали, – что отлучился на час со склада «Мэрдстон и Гринби» и расположился с этой целью в уголке камеры. Главные члены клуба – столько человек, сколько могло поместиться в маленькой камере, – окружили

мистера Микобера перед столом с петицией, а мой старый приятель, капитан Гопкинс (помывшийся ради такого торжественного случая), стоял у самого стола, дабы читать петицию тем, кто не был с ней знаком. Распахнулась дверь, и гуськом потянулись обитатели тюрьмы: пока один входил и, подписавшись, выходил, остальные ждали за дверью. Капитан Гопкинс спрашивал каждого:

– Читали?

– Нет.

– Хотите послушать?

Если спрашиваемый проявлял хоть малейшее желание послушать, капитан Гопкинс громким, звучным голосом читал петицию от слова до слова. Капитан готов был читать двадцать тысяч раз двадцати тысячам слушателей, одному за другим. Я снова слышу сладкие переливы его голоса, когда он произносит фразы: «Народные представители, собранные в парламенте», «Нижеподписавшиеся смиренно предстательствуют перед благородной палатой», «Несчастные подданные всемилостивейшего его величества»; казалось, будто эти слова в его устах вполне осязаемы и необыкновенно приятны на вкус. Тем временем мистер Микобер прислушивался к чтению с легким авторским тщеславием, созерцая (впрочем, рассеянно) прутья решетки в окне напротив.

Припоминая, как я шел ежедневно обычным своим путем от Саутуорка до Блекфрайерса и обратно и блуждал в обе-

денный перерыв по глухим улочкам, камни которых и посейчас, быть может, сохраняют следы детских моих ног, – я стараюсь угадать, кого недостает в толпе, вновь выстраивающейся гуськом в моем воображении, откликаясь на голос капитана Гопкинса, еще звучащий в моих ушах. Когда мои мысли обращаются теперь к медленной агонии моего детства, я стараюсь угадать, сколько я выдумал историй об этих людях – историй, скрывающих, словно туман, ясно запомнившиеся факты. Но, попадая вновь в знакомые места, я не удивляюсь, когда мне чудится, будто я вижу бредущую впереди жалкую фигурку невинного ребенка, создававшего свой воображаемый мир из таких необычных испытаний и житейской пошлости.

Глава XII
Мне по-прежнему не нравится самостоятельная жизнь, я принимаю знаменательное решение

В положенный срок прошение мистера Микобера было рассмотрено, и, к великой моей радости, этого джентльмена распорядились освободить по Закону о несостоятельности. Его кредиторы не были людьми неумолимыми, и, как сообщила мне миссис Микобер, даже мстительный сапожник объявил на суде, что не питает злобы к мистеру Микоберу, но любит-де, если кто ему задолжал, чтобы деньги платили. Такова, по его мнению, человеческая природа, присовокупил он.

Мистер Микобер вернулся в тюрьму Королевской Скамьи, ибо надлежало уплатить судебные издержки и уладить какие-то формальности, прежде чем окончательно выйти на свободу. Клуб встретил его восторженно и в тот же вечер устроил в его честь музыкальное собрание, а тем временем мы с миссис Микобер, окруженные спящими детьми, лакомились жареным барашком.

– Ради такого случая, мистер Копперфилд, я дам вам еще

немного флипа, – сказала миссис Микобер после того, как мы уже отведали его, – в память папы и мамы.

– Они умерли, сударыня? – спросил я, поддержав тост и выпив рюмку.

– Моя мама простилась с жизнью, прежде чем у мистера Микобера начались затруднения – во всяком случае, прежде, чем нам стало совсем плохо. Мой папа, покуда был жив, несколько раз давал поручительства за мистера Микобера, но в конце концов, к прискорбию многочисленных друзей, скончался.

Миссис Микобер поникла головой и уронила благоговейную слезу на того из близнецов, которому в этот момент случилось покоиться у нее на руках.

Вряд ли я мог надеяться на более благоприятный случай, чтобы задать крайне интересовавший меня вопрос, и поэтому я спросил миссис Микобер:

– Разрешите узнать, сударыня, что` вы и мистер Микобер намерены делать теперь, когда мистер Микобер выпутался из затруднительного положения и вышел на свободу? У вас есть какие-нибудь планы?

– Мое семейство… – сказала миссис Микобер, всегда произносившая эти два слова крайне торжественно, причем я понятия не имел, кого она подразумевает, – мое семейство придерживается того мнения, что мистер Микобер должен покинуть Лондон и найти применение своим дарованиям в провинции. Мистер Микобер – человек великих дарований,

мистер Копперфилд.

Я выразил полную уверенность в этом.

– Да, человек великих дарований! – повторила миссис Микобер. – Мое семейство придерживается того мнения, что при небольшой протекции человек с его способностями может поступить в таможенное управление. У моего семейства есть связи в провинции, и оно выражает желание, чтобы мистер Микобер отправился в Плимут. Оно почитает необходимым, чтобы он был там, на месте.

– Чтобы он был наготове? – предположил я.

– Вот именно! – подтвердила миссис Микобер. – Чтобы он был наготове в случае, если… счастье улыбнется.

– И вы тоже отправитесь туда, сударыня?

События, имевшие место днем, а также близнецы и, быть может, флип привели миссис Микобер в истерическое состояние, вследствие чего она залилась слезами и сказала:

– Я никогда не покину мистера Микобера. Хотя мистер Микобер в первый момент может и скрыть от меня свои затруднения, но только потому, что благодаря сангвиническому темпераменту надеется их преодолеть. Жемчужное ожерелье и браслеты, которые я получила в наследство от мамы, были проданы за полцены, а коралловый убор, свадебный подарок папы, пошел за гроши. Но я никогда не покину мистера Микобера! О нет! – воскликнула миссис Микобер, приходя в еще большее возбуждение. – Никогда я этого не сделаю! Даже и не просите меня об этом!

Мне стало не по себе. Вот те на! Миссис Микобер решила, будто я предлагаю ей что-нибудь подобное! И я сидел и смотрел на нее с тревогой.

– У мистера Микобера есть свои недостатки. Я не стану отрицать, что он непредусмотрителен. Я не стану отрицать, что он держал меня в неведении относительно своих ресурсов и долгов, – она вперила взгляд в стену, – но никогда я не покину мистера Микобера!

Тут миссис Микобер, повышая мало-помалу голос, прямо-таки завопила, и я так испугался, что бросился в клубную комнату, где мистер Микобер сидел за длинным столом на председательском месте и управлял хором:

Тпру, Доббин!
Но, Доббин!
Тпру, Доббин!
Тпру и но-о-о!

Я примчался с известием, что состояние миссис Микобер внушает крайнюю тревогу; услышав это, мистер Микобер зарыдал и поспешно вышел вместе со мной, причем его жилет был сплошь усеян головками и хвостиками креветок, которыми он угощался.

– Эмма, ангел мой! – воскликнул мистер Микобер, вбегая в комнату. – Что случилось?

– Я никогда не покину вас, Микобер! – вскричала та.

– О, жизнь моя! – воскликнул мистер Микобер, заключая

ее в объятия. – Я в этом совершенно уверен!

– Он – родитель моих детей! Он – отец моих близнецов. Он – мой возлюбленный супруг, – вырываясь из его объятий, выкрикивала миссис Микобер, – я ни…ког…да не… покину мистера Микобера!

Мистер Микобер так разволновался этим доказательством ее преданности (которое довело меня до слез), что страстно прижал ее к сердцу, уговаривая посмотреть на него и успокоиться. Но чем больше упрашивал он миссис Микобер посмотреть на него, тем более неподвижным и пустым становился ее взгляд, и чем больше он упрашивал ее успокоиться, тем меньше эти слова достигали цели. В результате мистер Микобер скоро потерял самообладание и его слезы смешались со слезами супруги и моими; наконец он испросил меня выйти и посидеть на площадке лестницы, покуда он не уложит ее в постель.

Я хотел попрощаться с ним и идти домой, но он убедил меня остаться, пока не ударят в колокол, возвещавший, что посетителям пора уходить. Поэтому я уселся у окна на площадке и ждал до той поры, когда он появился с другим стулом и расположился рядом со мной.

– Как себя чувствует сейчас миссис Микобер? – спросил я.

– Она пала духом. Реакция, – ответил мистер Микобер понурившись. – Какой ужасный день! Теперь мы совсем одиноки, мы потеряли все!

Мистер Микобер сжал мою руку, застонал и прослезился. Я был очень растроган, но в то же время разочарован, так как думал, что все мы будем веселы в этот счастливый долгожданный день. Но мне кажется, мистер и миссис Микобер так привыкли к своим вечным затруднениям, что почувствовали себя потерпевшими кораблекрушение именно теперь, когда от них избавились. Вся их эластичная жизнерадостность исчезла, мне ни разу еще не приходилось их видеть такими жалкими, как в тот вечер; когда зазвонил колокол и мистер Микобер проводил меня до сторожки и благословил на прощание, я с тревогой оставил его одного – таким он казался несчастным.

Но растерянность и уныние, которые неожиданно для меня нас охватили, все же не помешали мне почувствовать, что мистер и миссис Микобер покинут вместе с детьми Лондон и наша разлука неминуема и близка. Именно в тот вечер по пути домой и в бессонные часы, наступившие для меня, когда я улегся в постель, впервые мне пришла в голову мысль – не знаю, как она там появилась, – которая позднее привела к твердому решению.

Я так привык к Микоберам, злосчастная их жизнь так сблизила меня с ними, я так был одинок без них, что перспектива искать новое помещение и опять очутиться среди чужих людей была для меня тогда равносильна необходимости снова пуститься в плавание по воле ветра, а я слишком хорошо знал по опыту, что меня ожидает. Когда я об этом

думал, все мои чувства, искалеченные жизнью, стыд и унижение, пробужденные ею в моем сердце, стали еще более мучительны, и я решил, что так жить невозможно.

О том, что, надеясь изменить свою судьбу, я должен полагаться только на самого себя, я знал хорошо. Мне редко приходилось слышать упоминание о мисс Мэрдстон, а о мистере Мэрдстоне – никогда; раза два-три на имя мистера Куиньона приходили для меня свертки с новой или починенной одеждой, в каждом свертке находилась записка, в которой Дж. М. выражала уверенность, что Д. К. приучился к работе и всецело посвятил себя исполнению долга, и ни малейшего намека на то, что из меня может что-нибудь выйти и я не буду простым чернорабочим, которым я неотвратимо становился.

Уже на следующий день, когда голова моя, в которой зародилась новая мысль, еще пылала от возбуждения, стало очевидно, что миссис Микобер говорила об их близком отъезде не без оснований. Они сняли помещение в том доме, где я жил, только на неделю, а затем должны были отправиться в Плимут. Днем мистер Микобер самолично явился в контору склада, сообщил мистеру Куиньону, что в день отъезда они вынуждены меня покинуть, и отозвался обо мне с самой высокой похвалой, которую я, несомненно, заслужил. А мистер Куиньон позвал возчика Типпа, женатого человека, сдававшего комнату внаймы, и сговорился с ним о моем переезде туда – с обоюдного нашего согласия, как он имел основания полагать, ибо я промолчал, хотя решение мое было

уже принято.

Пока я оставался под одной кровлей с мистером и миссис Микобер, все вечера я проводил с ними, и, мне кажется, за это время мы еще больше привязались друг к другу. В последнее воскресенье они пригласили меня к обеду; на обед у нас было свиное филе с яблочным соусом и пудинг. Накануне я купил крапчатую деревянную лошадку в подарок юному Уилкинсу Микоберу – так звали мальчика, – а маленькой Эмме куклу. Я подарил также шиллинг «сиротской», которая лишалась места.

День мы провели очень приятно, хотя все были взволнованы предстоящей разлукой.

– Мистер Копперфилд, возвращаясь мысленно к периоду тяжелых затруднений мистера Микобера, я всегда буду думать о вас, – сказала миссис Микобер. – Вы были так услужливы, так деликатны! Вы не были жильцом. Вы были другом.

– Дорогая моя, – сказал мистер Микобер, – у Копперфилда (в последнее время он привык называть меня просто по фамилии) есть сердце, чтобы сочувствовать бедствиям своих ближних, когда они находятся в стесненных обстоятельствах, у него есть голова, чтобы строить разные планы, у него есть руки, чтобы… ну, одним словом, способность избавляться от имущества, без которого можно обойтись.

В ответ на такую похвалу я выразил свою благодарность и сказал, что мне очень грустно расставаться с ними.

– Мой дорогой юный друг! – воскликнул мистер Мико-

бер. – Я старше вас. У меня есть жизненный опыт, у меня есть… опыт… одним словом, опыт, почерпнутый из затруднений. В настоящее время, пока счастье еще не улыбнулось (должен сказать, я жду этого с часу на час), я ничего не могу вам предложить, кроме совета. Все-таки мой совет заслуживает того, чтобы ему последовать, поскольку я… ну, одним словом, поскольку я… не следовал ему сам, и теперь… – мистер Микобер, который все время улыбался и сиял, вдруг запнулся и нахмурился, – теперь вы видите перед собой несчастнейшего человека.

– О мой дорогой Микобер! – вскричала его супруга.

– Я говорю: вы видите перед собой несчастнейшего человека, – продолжал мистер Микобер, уже забыв о себе и снова улыбаясь. – Вот мой совет: никогда не откладывайте на завтра того, что вы можете сделать сегодня. Промедление крадет у вас время. Хватайте его за шиворот.

– Изречение моего бедного папы! – вставила миссис Микобер.

– Дорогая моя, ваш папа был в своем роде прекраснейший человек, и боже меня упаси осуждать его! Во всяком случае, нам, вероятно, никогда уже… одним словом, нам никогда не встретить человека его лет с такими стройными ногами, словно созданными для гетр, и способного читать без очков. Но он, дорогая моя, употреблял это выражение применительно к нашему браку, вследствие чего наш брак был заключен с такой быстротой, что я так и не успел покрыть

расходы.

Мистер Микобер посмотрел искоса на миссис Микобер и добавил:

– Это отнюдь не значит, что об этом я жалею. Как раз наоборот, любовь моя.

И он на минутку призадумался.

– Другой мой совет вы знаете, Копперфилд, – продолжал мистер Микобер. – Ежегодный доход – двадцать фунтов, ежегодный расход – девятнадцать фунтов, девятнадцать шиллингов, шесть пенсов, и в итоге – счастье. Ежегодный доход двадцать фунтов, ежегодный расход двадцать фунтов шесть пенсов, и в итоге – нищета. Цветы увядают, листья опадают, дневное божество озаряет печальную картину и… и… одним словом, вы навсегда повержены! Как я!

Засим мистер Микобер, желая запечатлеть в моей памяти свою судьбу, выпил с веселым и удовлетворенным видом стакан пунша и стал насвистывать какой-то плясовой мотив.

Я не преминул уверить его, что твердо запомню его наказы, хотя, в сущности, в этом не было нужды, так как было очевидно, сколь сильно взволновали они меня. На следующее утро я встретился со всем семейством в конторе по найму карет и с тяжелым сердцем наблюдал, как они занимали наружные задние места.

– Да благословит вас Господь, мистер Копперфилд! – сказала миссис Микобер. – Я никогда не смогу все это забыть и не забуду, даже если бы захотела!

– Прощайте, Копперфилд! – сказал мистер Микобер. – Будьте счастливы и преуспевайте! Если с течением времени я узнаю, что моя злосчастная судьба послужила вам предостережением, я буду считать, что в этом подлунном мире я существовал не без пользы. Если счастье мне улыбнется (а я на это надеюсь), я с радостью сделаю все, что в моих силах, чтобы прийти вам на помощь и вывести вас на дорогу.

Мне кажется, миссис Микобер, сидевшая с детьми на задних наружных местах и печально смотревшая на меня, пока я стоял на дороге и пристально на них глядел, – мне кажется, миссис Микобер вдруг прозрела и увидела, как я еще мал. Думаю я так потому, что она, с совершенно новым для меня, материнским выражением лица, дала мне знак вскарабкаться наверх, обняла меня за шею и поцеловала так, как будто я был ее сыном. Я едва успел спуститься вниз, как карета тронулась, и я с трудом мог разглядеть семейство среди носовых платков, которыми оно размахивало на прощанье.

Через минуту карета скрылась из виду. Посреди дороги остались я и «сиротская»; мы печально посмотрели друг на друга, затем пожали друг другу руку и попрощались; она, мне думается, отправилась снова в работный дом прихода Св. Луки, а я пошел начинать свой трудовой день на складе «Мэрдстон и Гринби».

Но влачить и впредь такую мучительную жизнь намерения у меня не было. Я решил бежать. Любым способом бежать в деревню к единственной родственнице, какая у меня

оставалась на свете, и рассказать обо всем, что случилось со мной, моей двоюродной бабушке, мисс Бетси.

Я уже упоминал, что не ведаю, как пришла мне в голову эта отчаянная мысль. Но она зародилась в ней, засела крепко и привела к такому твердому решению, какого я никогда еще не принимал. Вряд ли я питал тогда какие-нибудь далеко идущие надежды, я сосредоточился исключительно на том, чтобы привести задуманное мною в исполнение.

Снова и снова, сотни раз с той поры, как этот замысел появился и лишил меня сна, я возвращался к рассказу моей бедной матери о моем рождении – рассказу, который в былые времена я так любил слушать и знал наизусть. В этом рассказе бабушка появилась и исчезла, страшная, пугающая фигура; но в ее поведении была одна черточка, которая мне нравилась и чуть-чуть меня приободряла. Я не мог забыть, что моей матери казалось, будто она почувствовала, как прикоснулась к ее прекрасным волосам моя бабушка, прикоснулась нежной рукой. Быть может, это была только фантазия матери, не имевшая ровно никаких оснований, но я нарисовал себе такую картину: грозная бабушка смягчается при виде юного прекрасного лица, которое я помнил так хорошо и так сильно любил; и эта черточка согревала весь рассказ матери. Вполне возможно, что она долго таилась в моем сознании и постепенно привела меня к моему решению.

Так как я даже не знал, где живет мисс Бетси, то написал Пегготи длинное письмо и как бы вскользь спросил, помнит

ли она ее адрес; при этом я упомянул, что слышал, будто эта леди проживает в таком-то месте, которое я назвал наугад, а я, мол, хотел бы знать, верно ли это. В письме я писал, что очень нуждаюсь в полгинее и был бы ей премного благодарен, если бы она ссудила мне эту сумму до той поры, покуда я не смогу вернуть, и обещал рассказать позднее, зачем мне нужны деньги.

Скоро прибыло ответное письмо Пегготи – как всегда, полное заверений в любви и преданности. В письмо она вложила полгинеи (боюсь, ей стоило большого труда извлечь эти деньги из сундука мистера Баркиса) и сообщала, что мисс Бетси проживает где-то около Дувра, но ей неизвестно, в самом ли Дувре, в Хайте, в Сандгете или в Фолкстоне. Кто-то из служащих на складе в ответ на мой вопрос об этих местах сказал, что все эти города расположены рядом, по соседству один от другого, и я счел такой ответ вполне удовлетворительным для моих целей и решил отправиться в конце недели.

Я был очень честным мальчуганом и, не желая оставлять по себе у «Мэрдстона и Гринби» дурную славу, считал себя обязанным остаться до субботнего вечера, а поскольку при поступлении на склад мне было уплачено вперед за неделю, решил не идти в обычный час в контору за своим жалованьем. Вот по этой-то причине я и взял взаймы полгинеи, чтобы иметь деньги на дорогу.

Когда наступил субботний вечер и все мы собрались на

складе в ожидании получки, а Типп, возчик, пользовавшийся привилегией получать первым, пошел за деньгами, я пожал руку Мику Уокеру, попросил его, когда он пойдет в контору, передать мистеру Куиньону, что я отправился перенести свой сундучок к Типпу, и, в последний раз пожелав спокойной ночи Мучнистой Картошке, убежал.

Мой сундучок находился на моей старой квартире над рекой, и я написал для него адрес на обратной стороне одной из наших адресных табличек, которые мы прибивали к бочонкам: «Мистеру Дэвиду до востребования, контора наемных карет, Дувр». Эта табличка была у меня в кармане, заранее приготовленная, чтобы привесить ее к сундучку, когда мне удастся вынести его из дому; по дороге домой я искал кого-нибудь, кто помог бы мне перетащить сундучок в контору почтовых карет.

Неподалеку от Обелиска, на Блекфрайерс-роуд, стоял около маленькой тележки, запряженной ослом, долговязый парень; когда я проходил мимо, он поймал мой взгляд и крикнул: «Ну что, ротозей, небось запомнил меня?» – заметив, что я пристально на него смотрю. Я остановился и сказал, что отнюдь не хотел его обидеть, а просто-напросто размышлял, возьмется ли он исполнить одно поручение.

– Какое поручение? – спросил долговязый парень.

– Перевезти сундучок, – ответил я.

– Какой сундучок? – спросил долговязый.

Я объяснил, что сундучок мой находится в доме на той

же улице и я даю шесть пенсов за доставку его в контору дуврских наемных карет.

– По рукам. Шесть пенсов! – сказал долговязый парень, вскочил в запряженную ослом тележку, которая была не чем иным, как большим деревянным корытом на колесах, и, грохоча, поскакал с такой скоростью, что мне приходилось напрягать все силы, чтобы не отстать от осла.

В парне было нечто вызывающее, особенно в его манере жевать соломинку во время разговора, и это мне не понравилось. Но мы с ним уже сговорились, и мне пришлось повести его наверх в мою комнату, откуда мы вынесли сундучок и поставили в тележку. Мне покуда не хотелось привешивать к сундучку табличку с адресом, чтобы кто-нибудь из семьи хозяина не проведал о моем плане и не задержал меня; поэтому я попросил парня остановиться на минуту, когда он поравняется с глухой стеной тюрьмы Королевской Скамьи. Только успел я это сказать, как он помчался так, словно и он сам, и мой сундучок, и тележка, и осел – все разом обезумели, а я чуть не задохся, стараясь догнать его и окликая на бегу, пока наконец не догнал в указанном мною месте.

Запыхавшись и раскрасневшись, я выронил из кармана мои полгинеи, доставая табличку с адресом. Ради сохранности монеты я засунул ее в рот и, хотя руки у меня дрожали, очень удачно приладил табличку, как вдруг долговязый ударил меня в подбородок, и я увидел, что мои полгинеи вылетели изо рта ему на ладонь.

– Э, да тут подсудное дело! – вскричал долговязый и с ужасной гримасой схватил меня за ворот куртки. – Что! Удрать собрался? А ну-ка пойдем в полицию, негодный мальчишка!

– Отдайте мне мои деньги и оставьте меня в покое! – сказал я в испуге.

– Пойдем в полицию! – повторил парень. – Там разберут, чьи это деньги.

– Отдайте мой сундучок и деньги! – закричал я и разрыдался.

Долговязый снова повторил: «Пойдем в полицию!» – и поставил меня прямо перед ослом, словно между этим животным и судьей была какая-то связь, но вдруг передумал, прыгнул в тележку, уселся на мой сундучок и, крикнув, что едет в полицию, помчался еще быстрее, чем раньше.

Я пустился за ним со всех ног, но, задыхаясь от бега, не мог кричать, да, пожалуй, и смелости бы у меня недостало. Раз двадцать меня чуть не задавили. Я терял его из виду, снова находил, снова терял, на меня кричали, огрели меня кнутом, я упал в грязь, кое-как поднялся, на кого-то наскочил, налетел на столб. Но вот настал момент, когда, измученный страхом и жарой, опасаясь, как бы весь Лондон не бросился за мной в погоню, я дал возможность долговязому парню скрыться с моими деньгами и сундучком. Я рыдал, я не в силах был перевести дыхание, но, не останавливаясь, вышел на дорогу, ведущую к Гринвичу, который, как я узнал раньше,

находится на пути в Дувр. К дому моей бабушки, мисс Бетси, я нес с собой чуть-чуть побольше имущества, чем было у меня в ту ночь, когда мое появление на свет привело ее в такое негодование.

Глава XIII
К чему привело мое решение

Кто знает, может быть, и мелькала у меня безумная мысль бежать до самого Дувра, когда я отказался от погони за парнем с тележкой и направил свои стопы к Гринвичу. Если и мелькнула у меня такая мысль, то я быстро опомнился, ибо сделал остановку на Кент-роуд, на площадке с бассейном и какой-то огромной нелепой статуей посредине, трубившей в сухую раковину. Здесь я присел на приступку у чьей-то двери, измученный, ослабевший от непомерного напряжения, и у меня уже не хватало сил оплакивать потерю сундучка и полгинеи.

К тому времени стемнело; я слышал, как пробило десять часов, пока я сидел и отдыхал. Но к счастью, ночь была летняя и погожая. Когда я отдышался и стеснение в груди прошло, я встал и пошел дальше. Несмотря на все свое отчаяние, я и не помышлял о том, чтобы вернуться назад. Вряд ли я подумал бы об этом, даже если бы на Кент-роуд возвышались сугробы Швейцарии.

Однако, хотя я и продолжал путь, меня тревожила мысль о том, что всем моим достоянием были три монеты по полпенни (право же, дивлюсь, как они уцелели у меня в кармане до субботнего вечера). Мне представилось, будто я чи-

таю газетную заметку о том, как меня нашли мертвым через день или два под чьим-то забором; и в унынии я плелся дальше – хотя и старался идти побыстрее, – пока не случилось мне поравняться с лавчонкой, на которой висело объявление, что здесь покупают платье леди и джентльменов и принимают по наивысшей цене тряпки, кости и негодную кухонную утварь. Хозяин, облаченный в жилет, сидел у двери лавчонки и курил, а так как с низкого потолка свешивалось множество сюртуков и штанов и освещены они были только двумя тускло горевшими свечами, то мне почудилось, что этот человек похож на некое мстительное существо, которое перевешало всех своих врагов и теперь радуется и веселится.

Недавний мой опыт, приобретенный благодаря мистеру и миссис Микобер, подсказал мне, что здесь я, пожалуй, найду способ хоть ненадолго отогнать призрак голодной смерти. Я свернул в ближайший переулок, снял жилет, аккуратно сложил его и, сунув под мышку, вернулся к лавке.

– Простите, сэр, я бы хотел продать это по сходной цене, – сказал я.

Мистер Доллоби – во всяком случае, это имя значилось на вывеске – взял жилет, поставил свою трубку стоймя, прислонив ее к дверному косяку, вошел вместе со мной в лавку, снял пальцами нагар с обеих свечей, разложил жилет на прилавке и посмотрел на него, потом стал его рассматривать, держа против света, и в конце концов сказал:

– Какую ты назначаешь цену за эту куцую жилетку?

– О, вам лучше знать, сэр, – скромно ответил я.

– Я не могу быть и покупателем, и продавцом, – возразил мистер Доллоби. – Назначай свою цену за эту куцую жилетку.

– Нельзя ли получить за нее восемнадцать пенсов? – после некоторого колебания осведомился я.

Мистер Доллоби снова свернул жилет и вручил мне.

– Я бы ограбил свое семейство, если бы дал за нее девять пенсов, – сказал он.

Такая манера вести дело была неприятна, ибо на меня, совершенно чужого человека, возлагалась тяжелая обязанность просить мистера Доллоби, чтобы он ради меня ограбил свое семейство. Однако обстоятельства мои были столь затруднительны, что я выразил желание получить девять пенсов, если он на это согласен. Поворчав немного, мистер Доллоби дал девять пенсов. Я пожелал ему спокойной ночи и вышел из лавки, разбогатев на эту сумму и лишившись жилетки. Но когда я застегнул свою куртку, эта потеря оказалась не так уж велика.

В сущности, я уже предвидел, что куртка последует за жилетом и что бо`льшую часть пути до Дувра мне придется пройти в рубашке и штанах и я могу почитать себя счастливым, если доберусь до цели даже в таком одеянии. Но я раздумывал об этом меньше, чем можно было предположить. Если не считать общих соображений касательно длинной дороги и долговязого парня с тележкой, который так жестоко со мной обошелся, мне кажется, у меня не было вполне отчетливого представления об ожидающих меня трудностях, когда я снова тронулся в путь с девятью пенсами в кармане.

В голове у меня зародился план, как устроиться на эту ночь, – план, который я собирался привести в исполнение. Заключался он в том, чтобы примоститься у ограды позади моей старой школы, там, где обычно стоял стог сена. Мне чудилось, что я буду чувствовать себя не таким одиноким, находясь неподалеку от мальчиков и от дортуара, где я, бывало, рассказывал свои истории, хотя мальчики и не будут знать о моем присутствии, а дортуар не приютит меня в своих стенах.

День выдался для меня тяжелый, и я был уже совсем без сил, когда взобрался наконец на Блекхит. Не так легко было отыскать Сэлем-Хаус, но все-таки я нашел его, нашел и стог сена в уголке и улегся, зайдя сначала за ограду, посмотрев вверх, на окна, и убедившись, что всюду темно и тихо. Никогда не забыть мне чувства одиночества, охватившего меня, когда я первый раз в жизни лег спать под открытым небом!

Сон спустился ко мне, как спустился он в ту ночь и ко многим другим отщепенцам, перед которыми были заперты двери домов и на которых лаяли дворовые собаки, и мне снилось, будто я лежу на моей старой школьной кровати, разговаривая с мальчиками, но, когда я очнулся, я сидел на земле, шепча имя Стирфорта и дико глядя на звезды, искрившиеся и мерцавшие над моей головой. Тут я вспомнил, где я нахожусь в этот поздний час, и какое-то странное чувство охватило меня; боясь неведомо чего, я встал и побродил вокруг. Но тускнеющее мерцание звезд и бледный свет на небе – там,

где занималась заря, – вернули мне спокойствие, а так как веки мои отяжелели, я снова лег и заснул – хотя я и во сне чувствовал, что было холодно, – и спал, пока меня не разбудили теплые лучи солнца и утренний звон колокола в Сэлем-Хаусе. Если бы я мог надеяться, что Стирфорт еще здесь, я притаился бы где-нибудь, поджидая, когда он выйдет один; но я знал, что он должен был давно уже покинуть школу. Трэдлс, может быть, еще оставался, но это было весьма сомнительно; к тому же у меня не было желания открыться ему, ибо, вполне полагаясь на его доброе сердце, я не очень-то верил в его рассудительность и счастливую звезду. Вот почему я крадучись отошел от ограды, в то время как ученики мистера Крикла поднимались с кроватей, и двинулся по длинной пыльной дороге, которую знал под названием Дуврской еще в ту пору, когда был одним из этих учеников и когда мне и в голову не приходило, что кто-нибудь может увидеть меня плетущимся по ней так, как плелся я сейчас.

Как непохоже было это воскресное утро на воскресные утра в Ярмуте! Бредя вперед, я услышал в обычный час звон колоколов, встретил людей, идущих в церковь, миновал одну или две церкви, где собрались прихожане и откуда вырывалось наружу пение, в то время как бидл сидел и прохлаждался в тени у входа или стоял под тисовым деревом и, прикрыв рукою глаза от солнца, сердито смотрел на меня, проходящего мимо. Мир и покой воскресного утра осеняли все и всех, кроме меня. И в этом была разница. Грязный, весь в пыли, со спутанными волосами, я чувствовал себя настоящим грешником. Если бы не вызывал я в памяти трогательной картины: моя мать, юная и прекрасная, плачет у камина,

и, глядя на нее, умиляется душой бабушка, – мне кажется, у меня не хватило бы в тот день мужества продолжать путь. Но эта картина неизменно возникала передо мной и влекла меня за собою.

В то воскресенье я прошел двадцать три мили, хотя и выбился из сил, так как не привык к таким переходам. Как сейчас вижу я себя: вот я иду под вечер по Рочестерскому мосту, усталый, со стертыми ногами, и ем хлеб, который купил себе на ужин. Несколько домиков с вывесками «Комнаты для путешественников» соблазняли меня, но я боялся истратить последние свои пенсы, а еще больше боялся злобных взглядов бродяг, которых встречал или обгонял по пути. Поэтому я не искал другой кровли, кроме небесного свода, и, с трудом дотащившись до Четема – ночью он кажется призрачным сооружением из мела, со своими подъемными мостами и похожими на Ноев ковчег судами без мачт на мутной реке, – я взобрался наконец на какую-то поросшую травой площадку для батареи, нависавшую над тропинкой, по которой шагал взад и вперед часовой. Здесь я улегся возле пушки и крепко проспал до утра, обрадованный близостью шагавшего часового, хотя обо мне, расположившемся над его головой, он знал не больше, чем знали мальчики в Сэлем-Хаусе о том, что я лежу у ограды.

Утром я был весь разбит, ноги ныли, и я был совершенно ошеломлен барабанным боем и топотом маршировавших солдат, которые как будто надвигались на меня со всех сто-

рон, когда я стал спускаться вниз, на длинную и узкую улицу. Чувствуя, что сегодня я могу пройти лишь очень небольшое расстояние, если хочу сберечь силы для завершения моего путешествия, я решил прежде всего продать куртку. Я тотчас снял с себя куртку, чтобы приучить себя обходиться без нее, и, неся ее под мышкой, приступил к осмотру лавок готового платья.

Продать куртку оказалось нетрудным делом: торговцев подержанным платьем было много и почти все они подстерегали клиентов, стоя в дверях. Но так как многие из них вывесили среди разных других вещей один-два офицерских мундира с эполетами, то солидный характер их торговых операций привел меня в смущение, и я долго шел, не решаясь предложить свой товар.

Скромность побудила меня отдать предпочтение лавкам для матросов и лавчонкам, подобным лавчонке мистера Доллоби, и отвлекла мое внимание от более пристойных заведений. Наконец я отыскал одну, которая показалась мне многообещающей и находилась на углу грязного закоулка, упиравшегося в огороженный пустырь, поросший крапивой; на перекладинах изгороди развевалась поношенная матросская одежда, очевидно переполнившая лавку до отказа, и тут же виднелись складные койки, заржавленные ружья, клеенчатые шапки и несколько подносов, заваленных таким количеством старых, заржавленных ключей всевозможных размеров, что, казалось, они подошли бы ко всем дверям на белом

свете.

В эту лавчонку, низенькую и маленькую, которую скорее затемняло, чем освещало завешенное одеждой оконце, я вошел, спустившись на несколько ступеней, вошел с трепещущим сердцем и отнюдь не почувствовал успокоения, когда из грязной конуры позади лавки выскочил безобразный старик, обросший щетинистой седой бородой, и схватил меня за волосы. На вид это был ужасный старик в омерзительно грязном жилете, и от него несло ромом. В каморке, откуда он вышел, стояла кровать, покрытая измятым и рваным лоскутным одеялом, и было еще одно оконце, за которым виднелись все те же крапива и хромой осел.

– Ох, что тебе нужно? – скривив рот, спросил старик злобным, хнычущим голосом. – Ох, глаза мои, ноги мои, руки, что тебе нужно? Ох, легкие мои, печень, что тебе нужно? Ох, гр-ру, гр-ру!

Я пришел в такой ужас от этих слов – в особенности от последнего, непонятного и произнесенного дважды, которое звучало так, словно у него в горле была трещотка, – что ничего не мог ответить. Тогда старик, все еще держа меня за волосы, повторил:

– Ох, что тебе нужно? Ох, глаза мои, ноги мои, руки, что тебе нужно? Ох, легкие и печень, что тебе нужно? Ох, гр-ру!

Это слово он выкрикнул столь энергически, что глаза его чуть не выскочили из орбит.

– Я хотел узнать, не купите ли вы куртку, – дрожа, проле-

петал я.

– Ох, посмотрим эту куртку! – крикнул старик. – Ох, сердце мое в огне, покажи нам эту куртку! Ох, глаза мои, ноги мои, руки, подавай эту куртку!

Он выпустил мои волосы из своих трясущихся рук, похожих на когти огромной птицы, и надел очки, которые отнюдь не украсили его воспаленных глаз.

– Ох, сколько за эту куртку? – крикнул старик, предварительно осмотрев ее. – Ох… гр-ру!.. Сколько за эту куртку?

– Полкроны, – ответил я, немного оправившись.

– Ох, легкие мои и печень, нет! – крикнул старик. – Ох, глаза мои, нет! Ох, ноги мои и руки, нет! Восемнадцать пенсов. Гр-ру!

Каждый раз при этом восклицании его глазам, казалось, грозила опасность выскочить из орбит, и каждую фразу он произносил нараспев, словно на какой-то мотив, всегда один и тот же, больше всего, пожалуй, напоминавший завывание ветра, которое начинается на низких нотах, потом взбирается все выше и наконец снова замирает, – другого сравнения я не могу подыскать.

– Ну что ж, я возьму восемнадцать пенсов, – сказал я, радуясь заключению сделки.

– Ох, печень моя! – воскликнул старик, швырнув куртку на полку. – Ступай вон из лавки! Ох, легкие мои, ступай вон из лавки! Ох, глаза мои, ноги мои и руки… гр-ру! Денег не проси! Давай меняться.

Никогда в жизни, ни до, ни после этого, не был я так испуган; все же я смиренно сказал ему, что мне нужны деньги, а все остальное мне ни к чему, но, если ему угодно, я готов подождать денег на улице и торопить его не собираюсь. Затем я вышел на улицу и уселся в углу, в тени. Здесь просидел я много часов, тень уступила место солнечному свету, солнечный свет снова уступил место тени, а я все сидел и ждал денег.

Полагаю, среди подобного рода торговцев не нашлось бы второго такого сумасшедшего пьяницы. Что он хорошо известен в округе и про него идет молва, будто он продал душу дьяволу, это я скоро понял благодаря визитам, наносимым ему мальчишками, которые все время вертелись около лавки и разглашали эту легенду, требуя, чтобы он принес свое золото.

– Не прикидывайся, Чарли, сам знаешь, что ты не бедняк! Тащи-ка сюда свое золото! Тащи золото, за которое продался дьяволу! Живей, Чарли! Оно зашито в тюфяке! А ну-ка вспори тюфяк и дай нам немножко золота!

Эти выкрики и многочисленные предложения одолжить ему для этой цели нож приводили его в такое исступление, что в течение целого дня он то и дело выбегал из лавки, а мальчишки то и дело пускались наутек. В ярости своей он иной раз принимал меня за одного из них, бросался ко мне с пеной у рта, словно хотел разорвать на куски, потом, узнав меня в последний момент, нырял в лавчонку и, судя по звукам, доносившимся оттуда, валился на кровать и орал, как безумный, распевая на свой лад «Смерть Нельсона» и вставляя перед каждым стихом «ох!», а в промежутках бесчисленные «гр-ру!». В довершение всех бед мальчишки, заметив, с каким терпением и настойчивостью я, полуодетый, сижу у лавки, установили мою связь с этим заведением, принялись швырять в меня камнями и весь день жестоко меня обижали.

Старик делал немало попыток вынудить у меня согласие на мену: то он выходил с удочкой, то со скрипкой, то с треуголкой, то с флейтой. Но я уклонялся от всех предложений и продолжал сидеть, охваченный отчаянием, всякий раз со слезами на глазах умоляя его отдать мне деньги или вернуть куртку. Наконец он начал выплачивать мне по полпенни, и прошло добрых два часа, прежде чем у меня постепенно на-

брался шиллинг.

– Ох, глаза мои, ноги мои и руки! – после длинной паузы воскликнул он тогда, с отвратительной гримасой выглядывая из лавки. – Уйдешь ты, если я дам еще два пенса?

– Не могу, я умру с голоду, – сказал я.

– Ох, легкие мои и печень! А если еще три пенса, тогда уйдешь?

– Я ушел бы и так, если бы мог, но мне до зарезу нужны деньги, – ответил я.

– Ох, гр-ру!

Право же, невозможно передать, как он вывинчивал из себя это восклицание, когда посматривал на меня из-за дверного косяка, так что было видно только его злое, старое лицо.

– А если четыре пенса, тогда уйдешь?

Я так ослабел и устал, что принял это предложение, взял не без трепета деньги из его когтистой руки и ушел незадолго до заката солнца, терзаемый таким голодом и такой жаждой, каких никогда еще не ощущал. Но, истратив три пенса, я вскоре совсем оправился и, придя в лучшее расположение духа, проковылял семь миль по дороге.

На ночлег я снова расположился у стога сена и спокойно заснул, предварительно вымыв в ручье покрытые волдырями ноги и кое-как обложив их холодными листьями. Наутро, вновь тронувшись в путь, я обнаружил, что дорога тянется вдоль хмельников и фруктовых садов. Лето близилось к концу, в садах рдели спелые яблоки, и кое-где уже начался

сбор хмеля. Все это показалось мне удивительно красивым, и я решил провести эту ночь в хмельнике, полагая, что длинные ряды жердей, обвитых изящными гирляндами листьев, составят мне приятную компанию.

В тот день бродяги были еще назойливее, чем раньше, и внушили мне такой страх, что память о нем свежа и по сие время. Некоторые из них походили на разбойников, они таращили на меня глаза, когда я проходил мимо, или останавливались и кричали мне вслед, чтобы я вернулся потолковать с ними; когда же я пускался наутек, они швыряли вдогонку камни. Запомнился мне один молодой парень с женщиной – вероятно, странствующий медник, судя по его сумке и жаровне, – который уставился на меня, а потом заорал таким зычным голосом, приказывая вернуться, что я приостановился и оглянулся.

– Иди, коли зовут! – крикнул медник. – А не то я из тебя все кишки выпущу!

Я почел наиболее благоразумным вернуться. Когда я к ним приблизился, стараясь всем своим видом умилостивить медника, я заметил, что у женщины подбит глаз.

– Куда идешь? – спросил медник, закопченной рукой вцепившись в мою рубашку.

– Иду в Дувр, – ответил я.

– Откуда? – спросил медник, закручивая мою рубашку, чтобы покрепче меня держать.

– Иду из Лондона, – ответил я.

– Чем промышляешь? – спросил медник. – Воришка?

– Нет, что вы! – сказал я.

– Что? Не воришка? Черт подери! Если будешь хвастать своей честностью, я тебе голову проломлю! – сказал медник.

Он угрожающе замахнулся свободной рукой, а затем осмотрел меня с головы до пят.

– Есть у тебя деньги на пинту пива? Если есть, выкладывай, покуда я их сам не отобрал!

Несомненно, я отдал бы деньги, если бы не встретился глазами с женщиной, которая слегка покачала головой и беззвучно прошептала: «Нет!»

– Я очень беден, у меня нет денег, – сказал я, пытаясь улыбнуться.

– Это что еще значит? – крикнул медник, вперив в меня столь грозный взгляд, что я испугался, уж не видит ли он у меня в кармане деньги.

– Сэр!.. – пролепетал я.

– Это что такое? Почему у тебя на шее шелковый платок моего брата? – вопросил медник. – Подай-ка его сюда!

В одну секунду он сорвал с меня платок и швырнул его женщине.

Женщина громко захохотала, словно принимая это за шутку, и, швырнув мне назад платок, снова, как и раньше, слегка качнула головой и беззвучно прошептала: «Уходи!» Но не успел я последовать ее совету, как медник с такой силой вырвал у меня из рук платок, что я отлетел словно пе-

рышко; потом он накинул платок себе на шею, с проклятьем повернулся к женщине и ударом кулака сшиб ее с ног. Никогда не забыть мне, как она упала навзничь на каменистую дорогу, как слетел с нее чепец, а волосы побелели от пыли; и не забыть мне, как я, отойдя, оглянулся и увидел, что она сидит на тропинке, тянущейся по придорожной насыпи, и уголком шали вытирает кровь с лица, а медник шагает дальше.

Это приключение нагнало на меня такой страх, что теперь, завидев издали бродяг, я поворачивал назад, прятался в укромном местечке и ждал, пока они не скроются из виду. Случалось это очень часто и являлось нешуточной помехой на моем пути. Но и эту беду, и все другие беды, с какими сталкивался я во время моего путешествия, мне как будто помогала переносить созданная моей фантазией картина – образ моей юной матери перед появлением моим на свет. Он был со мной неотлучно. Он был со мною там, в хмельнике, когда я лег спать; он был со мною утром при пробуждении; он влек меня за собой весь день. С той поры он всегда встает передо мной, когда я вспоминаю солнечную улицу Кентербери, словно дремлющего в горячем свете, его древние дома и арки, и величественный серый собор, и грачей, летающих вокруг башен. Когда я вышел наконец на пустынное широкое плато близ Дувра, этот образ озарил унылый пейзаж лучом надежды, и только на шестой день после побега, когда я достиг главной цели своего путешествия и вступил в самый город, – тогда только покинул он меня. Да, вот что стран-

но: когда я, в рваных башмаках, запыленный, обожженный солнцем, полураздетый, вошел в город, к которому так долго стремился, образ матери исчез, как сновидение, покинув меня, беспомощного и удрученного.

Я начал наводить справки о моей бабушке прежде всего среди лодочников и получал самые разнообразные ответы. Один сказал, что она живет на маяке Саут-Форленд и там опалила себе бакенбарды; другой – что ее привязали крепко-накрепко к большому бакену за гаванью и посещать ее можно только в часы между приливом и отливом; третий – что ее посадили в тюрьму Мейдстон за кражу детей; четвертый – что во время последней бури видели, как она села на помело и полетела прямехонько в Кале. Извозчики, к которым я потом обратился, давали такие же шутливые и такие же непочтительные ответы, а лавочники, не одобряя внешнего моего вида, не желали дослушать до конца и обычно отвечали, что им нечего мне дать. С той поры, как я убежал, ни разу еще я не чувствовал себя таким несчастным и обездоленным. Деньги я все истратил, продать было нечего. Меня терзали голод и жажда, силы мои иссякли, а цель казалась все такою же далекой, как если бы я и не покидал Лондона.

Утро ушло на эти расспросы, и наконец я присел у порога пустой лавки близ рынка и задумался о том, не направить ли мне свои стопы к другим городкам, упомянутым в письме, как вдруг проезжавший мимо извозчик уронил попону. Когда я поднял ее, добродушное лицо этого человека придало

мне храбрости, и я спросил, не может ли он сказать, где живет мисс Тротвуд, хотя этот вопрос я задавал так часто, что слова застывали у меня на губах.

– Тротвуд? – отозвался он. – Постой-ка, я эту фамилию знаю. Старая леди?

– Да, немолодая, – ответил я.

– Держится очень прямо? – продолжал он и сам выпрямился.

– Да, кажется, так, – сказал я.

– Носит с собой сумку? – спросил он. – Очень большую сумку? Сердитая особа, так и накидывается на людей?

Сердце у меня екнуло, когда я признал безусловную точность этого описания.

– Ну так вот что я тебе скажу, – продолжал извозчик, – если ты поднимешься вон туда, – он указал кнутом в сторону холмов, – и пойдешь все прямо, пока не увидишь домов у моря, думаю, там ты услышишь о ней. Только вряд ли она что-нибудь подаст, так вот возьми пенни.

С благодарностью я принял подаяние и купил себе хлеба. Подкрепляясь на ходу, я побрел в том направлении, какое указал мне добрый человек, и прошел немало, а домов, о которых он говорил, все не было. Наконец я увидел вдали несколько домиков и, приблизившись к ним, вошел в лавочку (такие лавки у нас обычно называли мелочными) и осведомился, не могут ли мне сказать, где живет мисс Тротвуд. Я обращался к мужчине за прилавком – он отвешивал рис

какой-то девице, – но та, думая, что вопрос задан ей, быстро обернулась.

– Моя хозяйка? – воскликнула она. – Что тебе нужно от нее, мальчик?

– Простите, я хотел бы поговорить с ней, – ответил я.

– Верно, выклянчить что-нибудь! – отрезала девица.

– Право же, нет! – сказал я.

Но, вспомнив вдруг, что именно таково было мое намерение, я в смущении замолчал и почувствовал, как румянец залил мне лицо.

Девушка, которая, судя по ее словам, была служанкой моей бабушки, положила рис в корзинку и вышла из лавки, сказав мне, что я могу следовать за ней, если хочу узнать, где живет мисс Тротвуд. Я не ждал вторичного приглашения, хотя меня охватил такой страх и я так волновался, что ноги у меня подкашивались. Я последовал за девицей, и вскоре мы подошли к хорошенькому маленькому коттеджу с веселыми окнами-фонарями; перед коттеджем был четырехугольный, усыпанный гравием дворик или садик, где чудесно благоухали цветы, за которыми заботливо ухаживали.

– Это дом мисс Тротвуд, – объявила девица. – Теперь ты его видишь, и больше мне нечего тебе сказать.

С этими словами она убежала в дом, словно снимая с себя ответственность за мое появление, а я остался один у калитки и безутешно смотрел поверх нее на окно гостиной, где видна была кисейная занавеска, посредине раздвинутая,

большой круглый зеленый экран или веер, укрепленный на подоконнике, маленький столик и громадное кресло, внушившие мне опасения, что, быть может, в эту самую минуту в нем восседает величественно и грозно моя бабушка.

К тому времени мои башмаки пришли в печальное состояние. Подметки постепенно отвалились, а сверху кожа потрескалась и лопнула, так что они ни видом своим, ни формой уже не походили на обувь. Шляпа (служившая мне и ночным колпаком) была так сплющена и помята, что самая старая дырявая кастрюля без ручки, валяющаяся в мусорной куче, могла бы преспокойно соперничать с ней. Моя рубашка и штаны, загрязнившиеся от пота, росы, травы и кентской земли, на которой я спал, и вдобавок разорванные, могли бы отпугивать птиц от бабушкиного сада, покуда я стоял у калитки. Волосы мои не знали ни гребня, ни щетки с той поры, как я ушел из Лондона. От непривычно долгого пребывания на открытом воздухе и солнцепеке мое лицо, шея и руки загорели до черноты. С головы до пят я был осыпан меловой пылью, словно вылез из печи для обжигания извести. Вот в каком плачевном состоянии, мучительно это сознавая, я собирался встретиться с моей грозной бабушкой и медлил, прежде чем впервые предстать пред ней.

Спустя некоторое время, когда нерушимая тишина за окном гостиной навела меня на мысль, что бабушки там нет, я поднял глаза к окну во втором этаже, где увидел румяного, симпатичного седовласого джентльмена, который забав-

но прищурил один глаз, несколько раз кивнул мне головой, столько же раз покачал ею, улыбнулся и скрылся.

Я и без того уже был растерян, а теперь, видя такое странное поведение, растерялся еще больше и готов был улизнуть, чтобы поразмыслить, как мне надлежит действовать, но в эту минуту из дома вышла леди в платке, повязанном поверх чепца, в садовых перчатках, с садовой сумкой на животе, напоминающей суму сборщика дорожных пошлин, и с большим ножом. Я тотчас признал в ней мисс Бетси, потому что, выйдя из дома, она прошествовала с такою же важностью, с какой шествовала по нашему саду в бландерстонском «Грачовнике», о чем так часто рассказывала моя бедная мать.

– Вон отсюда! – сказала мисс Бетси, тряхнув головой и рассекая воздух ножом. – Вон отсюда! Мальчишек сюда не пускают!

С трепещущим сердцем я смотрел, как она проследовала в угол сада и, наклонившись, принялась выкапывать какой-то корешок. Потом, окончательно упав духом, но движимый отчаянием, я потихоньку вошел в сад и, остановившись подле нее, тронул ее пальцем.

– Простите, сударыня… – начал я.

Она вздрогнула и подняла глаза.

– Простите, бабушка…

– *Что?* – вскричала мисс Бетси таким удивленным тоном, какого я никогда еще не слыхивал.

– Простите, бабушка, я ваш внук.

– О господи! – сказала бабушка. И села прямо на дорожку.

– Я Дэвид Копперфилд из Бландерстона в Суффолке, где вы были в ту ночь, когда я родился, и видели мою дорогую маму. Я был очень несчастен с тех пор, как она умерла. Обо мне не заботились, ничему меня не учили, бросили на произвол судьбы, заставили взяться за работу, которая мне никак не подходит. Вот потому-то я и убежал и пришел к вам. В первый же день меня ограбили, всю дорогу я шел пешком и за все это время ни разу не спал в постели.

Тут я вдруг потерял самообладание и, разведя руками, чтобы показать ей мое оборванное платье и призвать его в свидетели перенесенных мною страданий, разразился рыданиями, которые, вероятно, накопились во мне за всю эту неделю.

Бабушка, лицо которой не выражало решительно никаких чувств, кроме беспредельного изумления, сидела на гравии и смотрела на меня во все глаза, пока я не разрыдался, а тогда она быстро встала, схватила меня за шиворот и потащила в гостиную. Там она первым делом открыла высокий стенной шкаф, достала оттуда несколько бутылок и влила мне в рот понемножку из каждой. Должно быть, она хватала их наугад, потому что, помню, я почувствовал вкус анисовой водки, анчоусного соуса и приправы к салату. Угостив меня этими подкрепляющими средствами и видя, что я продолжаю истерически всхлипывать и не могу сдержать себя, она уложила меня на диван, подсунула мне под голову шаль, а

под ноги свой собственный платок с головы, чтобы я не запачкал обивки, затем уселась за упомянутым мною зеленым веером или экраном, так что я не видел ее лица, и начала восклицать: «Господи помилуй!» – словно стреляя из пушки с промежутками в одну минуту.

Немного погодя она позвонила в колокольчик.

– Дженет, – сказала бабушка, когда в комнату вошла служанка, – поднимись наверх, передай мой привет мистеру Дику и скажи, что я хочу с ним поговорить.

Дженет как будто удивилась при виде меня, неподвижно лежащего на диване (я не смел пошевельнуться, опасаясь вызвать неудовольствие бабушки), однако пошла исполнять поручение. Бабушка, заложив руки за спину, шагала взад и вперед по комнате, пока не вошел, улыбаясь, тот самый джентльмен, который подмигивал мне из верхнего окна.

– Мистер Дик, – сказала моя бабушка, – не прикидывайтесь дурачком, потому что никто не может быть более рассудителен, чем вы, стоит вам того пожелать. Все мы это знаем. А стало быть – не прикидывайтесь дурачком.

Джентльмен мгновенно сделал серьезное лицо и, показалось мне, посмотрел на меня так, словно умолял не заикаться об окне.

– Мистер Дик, вы слышали от меня о Дэвиде Копперфилде? – продолжала бабушка. – Не притворяйтесь, будто у вас нет памяти, мы-то с вами знаем, что это не так.

– Дэвид Копперфилд? – переспросил мистер Дик, который, по моему мнению, мало что об этом помнил. – *Дэвид* Копперфилд? О да, конечно! Дэвид… разумеется.

– Ну так вот это его мальчик, его сын, – сказала бабушка. – Он был бы вылитый отец, если бы не был похож также и на

свою мать.

– Его сын? – повторил мистер Дик. – Сын Дэвида? Неужели?

– Да, – подтвердила бабушка, – и недурную придумал он проделку. Он убежал. Ах, его сестра, Бетси Тротвуд, никогда бы не убежала!

Бабушка решительно тряхнула головой, вполне полагаясь на характер и поведение девочки, которая так и не родилась.

– О! Вы думаете, она бы не убежала? – спросил мистер Дик.

– Господи, спаси и помилуй этого человека! – сердито воскликнула бабушка. – О чем это он толкует? Да разве я не знаю, что она бы не убежала? Жила бы она со своей крестной матерью, и были бы мы привязаны друг к другу. Сделайте милость, скажите, куда и откуда могла бы бежать его сестра Бетси Тротвуд?

– Никуда, – сказал мистер Дик.

– Ну вот, – отозвалась бабушка, смягченная его ответом, – так зачем же вы прикидываетесь простофилей, когда ум у вас острый, как ланцет хирурга? Здесь вы видите перед собой Дэвида Копперфилда-младшего, и я вам задаю вопрос, что мне с ним делать?

– Что вам с ним делать? – беспомощно повторил мистер Дик, почесывая голову. – О! Что с ним делать?

– Да, – с важной миной подтвердила моя бабушка, подняв указательный палец. – Говорите же! Мне нужен здравый со-

вет.

– Ну что ж, будь я на вашем месте, – задумчиво начал мистер Дик, устремив на меня рассеянный взгляд, – я бы…

Созерцание моей особы, казалось, внушило ему какую-то мысль, и он бодро добавил:

– Я вымыл бы его!

– Дженет! – произнесла бабушка, обращаясь к служанке с тихим торжеством, которое было мне в ту пору непонятно. – Мистер Дик разрешает все наши сомнения. Согрей воду для ванны.

Хотя я и был глубоко заинтересован этим разговором, но в то же время невольно разглядывал мою бабушку, мистера Дика и Дженет и заканчивал уже начатый мною осмотр комнаты.

Бабушка моя была леди высокого роста, со строгим, но благообразным лицом. В ее физиономии, в ее голосе, в ее походке и осанке было что-то непреклонное, чем вполне объясняется впечатление, произведенное ею на такое кроткое существо, как моя мать; однако черты лица у нее были скорее красивые, хотя жесткие и суровые. Особенно обратил я внимание на ее живые, блестящие глаза. Седые волосы ее были причесаны просто, на пробор, и прикрыты чепцом, который я назвал бы домашним чепчиком; я имею в виду чепец, более принятый в те времена, чем нынче, – чепец с крыльями, завязанными под подбородком. Платье на ней было бледно-лиловое и удивительно опрятное, но узкого покроя,

словно она предпочитала не носить на себе ничего лишнего. Помню, оно показалось мне похожим на амазонку, у которой отрезали ненужный шлейф. У пояса она носила золотые часы – мужские, судя по их величине и форме, – с цепочкой и печатками, на шее у нее был воротничок, напоминающий мужской, а на запястьях обшлага вроде манжеток.

Мистер Дик, как я уже говорил, был седовласым и румяным. На этом я бы и закончил описание его, не будь у него странной привычки держать голову понуро (однако не от преклонных лет – так бывало и с учениками мистера Крикла после побоев), а его серые глаза, выпуклые и большие, со странным водянистым блеском, его рассеянность, покорность моей бабушке и детский восторг, когда она его хвалила, заронили у меня подозрение, не помешан ли он немножко, хотя я и не недоумевал, почему же он находится здесь, если он и в самом деле сумасшедший. Одет он был, как и полагается джентльмену, в просторный серый сюртук с жилетом и белые штаны; в карманчике у него были часы, а в боковых карманах деньги, которыми он побрякивал, словно очень ими гордился.

Дженет, хорошенькая краснощекая девушка лет девятнадцати-двадцати, была воплощением опрятности. Хотя в тот момент я никаких других наблюдений, связанных с нею, не сделал, но могу упомянуть здесь о том, что обнаружил впоследствии: она была одной из многих опекаемых моей бабушки, которых та принимала к себе на службу со специаль-

ной целью воспитать в них отвращение к мужскому полу и которые обычно завершали свое отречение тем, что выходили замуж за какого-нибудь пекаря.

Комната была такого же опрятной, как Дженет и бабушка. Сейчас, когда я отложил на секунду перо, чтобы подумать о ней, снова ворвался ко мне ветерок с моря, насыщенный ароматом цветов; и снова я увидел старомодную мебель, натертую до блеска, неприкосновенное бабушкино кресло и столик перед круглым зеленым экраном в окне-фонаре, ковер, покрытый дорожкой из грубой шерсти, кошку, подставку для чайника в камельке, двух канареек, старинный фарфор, чашу для пунша, наполненную сухими лепестками роз, высокий шкаф, хранивший всевозможные бутылки и горшочки; увидел я и себя самого, лежащего на диване, такого чужого всему меня окружающему, всего покрытого пылью, увидел, как я лежу и подмечаю все.

Дженет пошла готовить ванну, когда бабушка, к крайнему моему испугу, внезапно оцепенела от негодования и едва могла выкрикнуть:

– Дженет! Ослы!

Дженет взлетела по лестнице, словно дом был охвачен пламенем, выскочила на маленькую лужайку перед коттеджем и отогнала двух ослов, осмелившихся ступить копытом на лужайку (на них ехали верхом две леди). Тем временем бабушка, выбежав из дому, схватила за уздечку третьего осла с сидевшим на нем ребенком, круто повернула его, выве-

ла из заповедника и дала пощечину злосчастному юнцу-погонщику, который осмелился осквернить священную землю.

Я и по сей день не знаю, имела ли бабушка какие-нибудь законные права на эту лужайку, но она решила, что имеет, а для нее это было одно и то же. Величайшим для нее оскорблением, требующим немедленного возмездия, было появление осла на сей пречистой лужайке. Чем бы ни занималась бабушка, в каком бы интересном разговоре ни принимала участие, осел мгновенно изменял ход ее мыслей и она стремительно набрасывалась на него. Кувшины и лейки стояли наготове в укромных уголках, чтобы окатить водой дерзких мальчишек; за дверью были припрятаны палки; во все часы дня совершались воинственные вылазки, и борьба велась непрерывно. Быть может, она была приятным развлечением для погонщиков, возможно также, что наиболее смышленые ослы, уразумев положение дел, устремлялись сюда со свойственным им упрямством. Знаю только, что, пока готовили ванну, таких тревог было три, и во время последней и самой отчаянной вылазки я видел, как моя бабушка вступила в единоборство с рыжеватым подростком лет пятнадцати и стукнула его рыжую голову о калитку, прежде чем он сообразил, что тут происходит. Такие вылазки были тем более уморительны, что в это время бабушка кормила меня бульоном с ложки (твердо уверив себя в том, будто я умираю с голоду и поначалу должен принимать пищу маленькими порциями), я разевал рот в ожидании ложки, а бабушка опускала ее в

чашку, кричала: «Дженет! Ослы!» – и бросалась в атаку.

Ванна принесла мне великое облегчение. После ночевок в поле я чувствовал сильную боль во всем теле и такую усталость и сонливость, что то и дело клевал носом. Когда я выкупался, они (я имею в виду бабушку и Дженет) облачили меня в рубашку и панталоны, принадлежавшие мистеру Дику, и обмотали двумя-тремя огромными шалями. В какой узел я тогда преобразился – не знаю, помню только, что мне было очень жарко. Ослабевший и сонный, я вскоре опять улегся на диван и заснул.

Быть может, то был сон, порожденный фантазией, так долго занимавшей мои мысли, но проснулся я под впечатлением, будто бабушка подошла и наклонилась надо мной, откинула мне волосы с лица, поудобнее положила мою голову и постояла рядом с диваном, глядя на меня. Слова «красивый мальчик» или «бедный мальчик» как будто еще звучали в моих ушах, но, разумеется, когда я проснулся, ничто не могло навести на мысль, что они были произнесены моей бабушкой, сидевшей в окне-фонаре и взиравшей на море из-за зеленого экрана, который был укреплен на чем-то вроде вертлюга и мог поворачиваться в любую сторону.

Вскоре после моего пробуждения мы пообедали жареной курицей и пудингом; сидя за столом, я и сам походил на связанную птицу и с большим трудом мог двигать руками. Но раз бабушка сама запеленала меня, то я и не жаловался на такое неудобство. Все это время я с большой тревогой раз-

мышлял о том, что собирается она со мной сделать, но она обедала в глубоком молчании и лишь изредка, посмотрев на меня, сидевшего напротив, произносила: «Господи помилуй!» – а это отнюдь не рассеивало моей тревоги.

Убрали скатерть, поставили на стол бутылку хереса (мне тоже дали рюмочку), и бабушка снова послала за мистером Диком, который, присоединившись к нам, постарался принять самый глубокомысленный вид, когда она попросила его выслушать мою историю и постепенно вытянула ее из меня, задавая вопросы. Пока я рассказывал, она не спускала глаз с мистера Дика – не будь этого, он, я думаю, погрузился бы в сон, а всякий раз, когда он готов был расплыться в улыбке, его останавливали нахмуренные брови бабушки.

– Понять не могу, что приключилось с этой бедной, злосчастной малюткой, почему она взяла и вышла еще раз замуж! – сказала бабушка, когда я кончил рассказ.

– Может быть, она влюбилась в своего второго мужа? – предположил мистер Дик.

– Влюбилась! – повторила бабушка. – Что вы хотите этим сказать? Зачем ей было это делать?

– Может быть, она это сделала для своего удовольствия, – подумав и глупо улыбнувшись, сказал мистер Дик.

– Удовольствие, как бы не так! – воскликнула бабушка. – Нечего сказать, большое удовольствие для бедной малютки простодушно довериться какому-то негодяю, который, конечно, должен был плохо обращаться с ней. Хотела бы я

знать, что она воображала? Один муж у нее уже был. Она проводила до могилы Дэвида Копперфилда, который всегда, с самой колыбели, бегал за восковыми куклами. У нее родился младенец – о! в ту ночь на пятницу, когда она родила на свет вот этого ребенка, который тут сидит, там в доме было двое младенцев, – чего же еще ей было нужно?

Мистер Дик украдкой кивнул мне головой, как бы давая понять, что на это нечего ответить.

– Она даже не могла родить такого ребенка, какого родила бы всякая другая! – продолжала бабушка. – Где сестра этого мальчика, Бетси Тротвуд? Нет ее. Ах, полно!

У мистера Дика был совсем испуганный вид.

– А этот докторишка с повисшей набок головой, Джеллипс, или как его там зовут, – сказала бабушка, – он-то о чем думал? Только и знал, что твердил мне, как реполов (да он и похож на реполова!): «Это мальчик!» Мальчик! Ох, до чего они все глупы!

Эта энергическая фраза чрезвычайно испугала мистера Дика, да, по правде сказать, и меня.

– А потом, как будто этого еще было мало, как будто она и без того уже не встала поперек дороги сестре этого мальчика, Бетси Тротвуд! – продолжала бабушка. – Она выходит замуж второй раз – выходит за какого-то убийцу или что-то в этом роде – и встает поперек дороги вот *этому* мальчику! Каждый, кроме младенца, мог бы предвидеть, каковы будут естественные последствия: мальчик скитается, бродяжнича-

ет. Вырасти еще не успел, а уже уподобился Каину!

Мистер Дик посмотрел на меня в упор, словно стараясь установить мое сходство с Каином.

– А потом эта женщина с языческим именем, – продолжала бабушка, – эта Пегготи, она тоже взяла да и вышла замуж. Вот мальчик рассказывает, что она тоже взяла да и вышла замуж, как будто своими глазами не видела, к какой это приводит беде! Надеюсь только, – тут бабушка затрясла головой, – надеюсь, что ей попалась в мужья какая-нибудь дубина (об этом так часто пишут в газетах) и будет колотить ее как следует.

Я не мог спокойно слушать, как осуждают мою старую няню и высказывают на ее счет такие пожелания, и объявил бабушке, что, право же, она ошибается, объявил, что Пегготи – самый лучший, самый верный, самый надежный, самый преданный и бескорыстный друг и слуга; что она всегда любила меня горячо и любила горячо мою мать; что ее рука поддерживала голову моей умирающей матери и на ее лице моя мать запечатлела последний благодарный поцелуй. При воспоминании о них обеих у меня захватило дух, и я не совладал с собой, когда пытался объяснить, что ее дом – все равно что мой дом, и все, что принадлежит ей, – мое, и я пошел бы к ней искать приюта, если бы, зная ее скромные средства, не боялся оказаться в тягость, – повторяю: пытаясь объяснить все это, я не совладал с собой и, закрыв лицо руками, уронил голову на стол.

– Ну, полно! – сказала бабушка. – Мальчик прав, что заступается за тех, кто за него заступался… Дженет! Ослы!

Я твердо уверен, что, не будь этих злополучных ослов, мы пришли бы к полному согласию, так как бабушка положила мне руку на плечо, а я, набравшись храбрости, готов был обнять ее и молить о покровительстве. Но этот перерыв и волнение, в которое пришла бабушка после боя на лужайке, положили конец всем нежным излияниям, и до самого чая бабушка с негодованием излагала мистеру Дику свое твердое намерение искать справедливости у отечественных законов и подать в суд на всех владельцев ослов в Дувре за вторжение на чужую землю.

После чая мы сидели у окна – подстерегая, как предположил я, судя по зоркому взгляду бабушки, новых непрошеных гостей, – сидели до сумерек, покуда Дженет не принесла свечи и ящик для игры в триктрак и не спустила шторы.

– А теперь, мистер Дик, – с важной миной сказала бабушка, снова, как и раньше, подняв указательный палец, – я хочу задать вам еще один вопрос. Посмотрите на этого мальчика.

– На сына Дэвида? – спросил мистер Дик с видом сосредоточенным и недоумевающим.

– Вот именно, – сказала бабушка. – Что бы вы сейчас с ним сделали?

– С сыном Дэвида? – спросил мистер Дик.

– Да, – подтвердила бабушка, – с сыном Дэвида.

– О! – сказал мистер Дик. – Так… Что бы я с ним… я

уложил бы его спать.

– Дженет! – воскликнула бабушка с тем тихим торжеством, какое я уже подметил раньше. – Мистер Дик разрешает все наши сомнения. Если постель готова, мы отведем его спать.

Когда Дженет доложила, что все готово, меня повели спать – повели ласково, но словно пленника: бабушка шагала впереди, а Дженет замыкала шествие. Одно только обстоятельство вдохнуло в меня новую надежду: остановившись на лестнице, бабушка осведомилась, почему здесь пахнет горелым, а Дженет ответила, что делала в кухне трут из моей рубашки. Но в моей комнате не оказалось никакой одежды, кроме той, что была намотана на мне; а когда меня оставили одного с маленьким огарком восковой свечи, который, как предупредила меня бабушка, будет гореть ровно пять минут, я услышал, что мою дверь заперли снаружи. Раздумывая об этом, я пришел к заключению, что бабушка, ничего обо мне не зная, могла заподозрить, не развилась ли у меня привычка убегать из дому, и теперь принимает меры предосторожности, чтобы удержать меня.

Комната была уютная, в верхнем этаже дома, и выходила окнами на море, сверкавшее в лунном свете. Помню, я прочитал молитвы, свеча догорела, и я долго еще сидел и смотрел на лунный свет, падавший на воду, быть может надеясь прочесть в нем свою судьбу, словно в ослепительной книге, или увидеть мою мать с младенцем, спускающуюся с небес

по этой сияющей тропе, чтобы взглянуть на меня, как смотрела она в тот день, когда я в последний раз видел ее кроткое лицо. Помню, благоговейное чувство, с каким я отвел наконец взгляд от окна, уступило место чувству благодарности и успокоения при виде кровати с белыми занавесками, и это чувство усилилось, когда я лег в мягкую постель с белоснежными простынями. Помню, я задумался о тех заброшенных уголках, где спал под ночным небом, и молился о том, чтобы никогда мне больше не лишаться крова и никогда не забывать о тех, кто его лишен. И помню, как я словно поплыл в мир сновидений по этой печальной и лучезарной морской тропе.

Глава XIV
Бабушка решает мою участь

Утром, когда я спустился вниз, бабушка сидела за чайным столом, опершись локтями на поднос, и пребывала в таком глубоком раздумье, что забыла завернуть кран урны, и кипяток, переполнив чайник, перелился через край и залил всю скатерть; только мое появление рассеяло ее задумчивость. Я был уверен, что являюсь предметом ее размышлений, и, больше чем когда-либо, мне не терпелось узнать, как она решила поступить со мной. Но я пытался скрыть свою тревогу, боясь ее рассердить.

Тем не менее за завтраком мои глаза, которые подчинялись мне куда хуже, чем язык, подолгу не отрывались от нее. И когда бы ни обращался к ней мой взгляд, я видел, что она смотрит на меня, смотрит так задумчиво и странно, словно я нахожусь от нее на огромном расстоянии, а не сижу напротив, за круглым столиком. После завтрака моя бабушка нарочито спокойно откинулась на спинку стула, нахмурила брови, переплела пальцы и не спеша стала созерцать меня с таким вниманием и так пристально, что я не знал, куда мне деваться от смущенья. Я еще не кончил завтракать и, пытаясь скрыть свое замешательство, продолжал есть, но мой нож цеплялся за вилку, а вилка цеплялась за нож. Вместо того

чтобы резать грудинку и отправлять по назначению, я строгал ее столь энергически, что кусочки мяса взлетали вверх, я давился чаем, который попадал не в то горло; наконец, в отчаянии, я сложил оружие и, раскрасневшись, сидел неподвижно под испытующим взглядом бабушки.

– Послушай! – произнесла бабушка после длительного молчания.

Я почтительно посмотрел на нее и встретил острый, ясный взгляд.

– Я ему написала, – сказала бабушка.

– Ему?..

– Твоему отчиму, – сказала бабушка. – Я послала ему письмо, на которое он должен будет обратить внимание, а не то мы поссоримся; он может в этом не сомневаться.

– Бабушка! Ему известно, где я нахожусь? – спросил я с испугом.

– Я ему написала, – сказала бабушка, кивнув головой.

– И меня… отдадут… ему? – запинаясь, спросил я.

– Не знаю. Посмотрим, – сказала бабушка.

– О! Что со мной будет, если мне придется вернуться к мистеру Мэрдстону! – воскликнул я.

– Ничего об этом не знаю. – Бабушка покачала головой. – Не могу ничего сказать. Посмотрим.

При этих словах бодрость покинула меня, я весь поник и на сердце стало тяжело. Бабушка, как будто не обращая на меня внимания, надела простой передник с нагрудником,

который достала из шкафа, и собственноручно вымыла чайные чашки; когда все было вымыто, поставлено на поднос и прикрыто сложенной скатертью, она позвонила Дженет и велела ей убрать поднос. Затем она надела перчатки и смела маленькой щеткой крошки, не оставив ни одной, даже самой крохотной, после чего вытерла пыль и убрала комнату, которая и так была безукоризненно чиста и в полном порядке. Когда все эти дела были закончены, к полному ее удовлетворению, – она сняла перчатки и передник, сложила их, спрятала в особый уголок шкафа, откуда они были извлечены, поставила рабочую шкатулку на свой столик у открытого окна и уселась за работу, защищенная от яркого света зеленым экраном.

– Пойди-ка наверх, передай мистеру Дику привет от меня и скажи, что я рада была бы узнать, как подвигается его Мемориал, – сказала бабушка, вдевая нитку в иглу.

Я живо поднялся, чтобы выполнить это поручение.

– Мне кажется, ты считаешь, что у мистера Дика слишком коротка фамилия, не правда ли? – спросила бабушка, вглядываясь в меня так же пристально, как она смотрела на иголку, вдевая в нее нитку.

– Вчера мне показалось, что она в самом деле коротка, – признался я.

– Не думай, что у него нет другой фамилии, которую он мог бы носить, если бы захотел, – надменно сказала бабушка. – Бебли, мистер Ричард Бебли – вот как зовут этого

джентльмена!

Памятуя о своем юном возрасте и сознавая, что уличен в непозволительной вольности, я хотел было сказать, что уж лучше я буду его величать полным именем, но бабушка продолжала:

– Но ни в коем случае не вздумай так его называть! Он не выносит своей фамилии. Такая уж у него слабость. Впрочем, не знаю, можно ли это назвать слабостью, потому что, Богу известно, он натерпелся достаточно от людей, которых так зовут, чтобы питать смертельную ненависть к своей фамилии! Мистер Дик – вот как его зовут и здесь, и куда бы он ни отправился… Впрочем, он никуда не отправится. Потому будь осторожен, малыш! Называй его просто «мистер Дик».

Я обещал повиноваться и отправился с поручением наверх, размышляя по пути, что если мистер Дик работает над своим Мемориалом длительное время, с тем рвением, какое я приметил в его действиях, когда спускался вниз и заглянул в открытую дверь, то, должно быть, Мемориал подвигается превосходно. Мистер Дик продолжал заниматься все тем же: в руке у него было длинное перо, а голова почти лежала на листе бумаги. Он так был погружен в свое занятие, что я имел достаточно времени, чтобы заметить в углу большого бумажного змея, груды свернутых рукописей, множество перьев и запас чернил (у него было не меньше дюжины кувшинов вместимостью в полгаллона каждый), прежде чем он обратил внимание на мое присутствие.

– А! Феб! – воскликнул мистер Дик, кладя перо. – Ну, что делается в мире? Я вот что тебе скажу, – он понизил голос, – ты никому этого не говори, но, мой мальчик… – тут он наклонился ко мне и приблизил губы вплотную к моему уху, – мир сошел с ума! Это не мир, а бедлам!

Мистер Дик взял понюшку из круглой коробки, стоявшей на столе, и расхохотался от всей души.

Воздерживаясь от выражения своего мнения по такому предмету, я передал поручение.

– Превосходно! Передай и от меня привет и скажи, что я как будто уже приступил. Мне кажется, я уже приступил… – сказал мистер Дик, запуская руку в свои седые волосы и бросая какой-то неуверенный взгляд на рукопись. – Ты учился в школе?

– Да, сэр. Недолго, – ответил я.

– Ты помнишь, в каком году был обезглавлен король Карл Первый? – спросил мистер Дик, внимательно на меня посмотрел и взял перо, чтобы записать дату.

Я сказал, что, кажется, это произошло в тысяча шестьсот сорок девятом году.

– Превосходно. Так говорится и в книгах, но я не понимаю, как это могло быть, – сказал мистер Дик, почесывая ухо пером и с сомнением глядя на меня. – Если это произошло так давно, то как же окружавшие его люди могли совершить такой промах, что переложили заботы из *его* отрубленной головы в *мою* голову?

Я был очень удивлен таким вопросом, но не мог дать никаких разъяснений по сему поводу.

– Очень странно, что мне никак не удается это установить, – продолжал мистер Дик, бросая безнадежный взгляд на свою рукопись и снова взъерошивая волосы. – Мне никак не удается это выяснить. Но не важно, не важно! – воскликнул он бодро и возбужденно. – Время еще есть. Привет мисс Тротвуд. Я превосходно подвигаюсь вперед.

Я уже собрался уходить, когда он обратил мое внимание на бумажного змея.

– Какого ты мнения об этом змее? – спросил он.

Я ответил, что он чудесен. Как мне показалось, он был не меньше семи футов длиной.

– Это я его сделал, – произнес мистер Дик. – Мы с тобой пойдем и запустим его вместе. А это видел?

Он показал мне наклеенные на змея листы бумаги, исписанные очень мелко, но так тщательно и четко, что, когда я вгляделся в строчки, мне показалось, будто в двух-трех местах я вижу упоминание о голове короля Карла Первого.

– Бечевка у него очень длинная, и чем выше он поднимается, тем дальше разносит факты. Таков мой способ распространять их. Я не знаю, где они опустятся. Это зависит от обстоятельств: от ветра и так далее. Но тут уж приходится идти на риск.

У него было такое кроткое, приятное лицо, такое почтенное, хотя вместе с тем веселое и свежее, что я подумал, уж не

подшучивает ли он добродушно надо мной. Я рассмеялся, он также рассмеялся, и мы расстались наилучшими друзьями.

– Ну, как поживает сегодня мистер Дик? – спросила бабушка, когда я спустился вниз.

Я передал ей привет от него и сообщил, что он прекрасно подвигается вперед.

– Что ты о нем думаешь? – спросила бабушка.

У меня было смутное желание уклониться от ответа, сказав, что, по моему мнению, он очень любезный джентльмен; но бабушку трудно было провести, она опустила на колени работу и, положив на нее руки, переплела пальцы и произнесла:

– Полно! Твоя сестра Бетси Тротвуд сразу сказала бы мне, что она думает о ком бы то ни было! Старайся походить на свою сестру и говори откровенно.

– Он… мистер Дик… я спрашиваю, бабушка, потому, что я не знаю… Он не в своем уме? – запинаясь, спросил я, ибо чувствовал, что вступаю на опасный путь.

– Ничуть! – ответила бабушка.

– В самом деле? – пролепетал я.

– О мистере Дике можно сказать все что угодно, только не это! – решительно и энергически заявила бабушка.

Мне ничего не оставалось делать, как снова робко пролепетать:

– В самом деле?

– Да, его *называли* сумасшедшим! – продолжала бабуш-

ка. – Мне доставляет эгоистическое удовольствие говорить, что его называли сумасшедшим, так как, не будь этого, я была бы лишена его благодетельного общества и советов в течение десяти лет, если не больше, – словом, с того дня, как твоя сестра, Бетси Тротвуд, так меня разочаровала.

– Так давно?

– Нечего сказать, хороши были эти люди, имевшие смелость называть его сумасшедшим! – продолжала бабушка. – Мистер Дик приходится мне дальним родственником, не важно каким, я не буду на этом останавливаться. Не будь меня, его собственный брат засадил бы его до конца жизни в сумасшедший дом. Вот и все.

Боюсь, не лицемерие ли это было с моей стороны, но, видя, как моя бабушка негодует по сему поводу, я притворился, будто также негодую.

– Спесивый глупец! – сказала бабушка. – Только потому, что его брат немного чудаковат, хотя далеко не так чудаковат, как многие другие, он не пожелал видеть его у себя в доме и отправил в какую-то частную лечебницу для умалишенных, хотя их покойный отец особо поручил мистера Дика его попечению, так как считал мистера Дика придурковатым. Тоже, нечего сказать, разумный человек! Сам-то он, несомненно, был сумасшедший!

И снова, раз бабушка казалась совершенно убежденной в этом, я попытался сделать вид, будто и я в этом убежден.

– Тут я вмешалась и обратилась к его брату с предложе-

нием, – продолжала бабушка. – Я сказала: «Ваш брат в своем уме, надеюсь, куда более в своем уме, чем вы сейчас или когда бы то ни было в будущем. Пусть он получает свой небольшой доход и живет у меня. Я-то не боюсь его, я-то не спесива, я-то о нем позабочусь и не стану с ним дурно обходиться, как обходятся некоторые, не говоря уже о тех, кто служит в доме для умалишенных». Мы долго пререкались, но наконец я его отстояла, и с тех пор он живет здесь. Он самый сердечный, самый покладистый человек на свете. А что касается его советов!.. Никто не знает, кроме меня, какой ум у этого человека!

Бабушка обмахнула платье и потрясла головой, словно смахивала с платья вызов, брошенный ей всем миром, и вытряхивала его из головы.

– У него была любимая сестра, – продолжала она, – доброе создание, она была с ним очень ласкова. Но она поступила так же, как все они поступают, – взяла себе мужа. А муж поступил тоже так, как все они поступают, – сделал ее несчастной. Это так повлияло на рассудок мистера Дика (надеюсь, хоть это-то не сумасшествие!), что беда, которая стряслась, и страх перед братом, и сознание его недоброжелательства – все вместе довело его до горячки. Все это случилось прежде, чем он переехал ко мне, но воспоминания до сих пор угнетают его. Говорил он тебе что-нибудь, малыш, о короле Карле Первом?

– Да, бабушка.

– Ах! – Бабушка потерла нос, словно чем-то раздосадованная. – Это у него такая аллегорическая манера выражаться! Натурально, он связывает свою болезнь с большими волнениями и сумятицей и для этого выбрал такой образ или сравнение, или как там оно называется… А почему бы и не выбрать, если ему это по вкусу?

– Конечно, бабушка, – согласился я.

– Так обычно не выражаются, это не деловой язык, я это знаю, и вот почему я настаиваю, чтобы он не касался этого вопроса в своем Мемориале.

– В этом Мемориале он описывает свою жизнь, бабушка?

– Да, малыш, – ответила бабушка, снова потирая нос. – Он пишет Мемориал о своих делах для лорд-канцлера, или для другого лорда, или для любой особы, которым платят жалованье за то, что они получают мемориалы. Думаю, он пошлет его на днях. Пока он еще не может обойтись без того, чтобы не вводить этой аллегории. Впрочем, не важно! Это его занимает.

И в самом деле, позднее я узнал, что мистер Дик больше десяти лет старается выбросить короля Карла Первого из своего Мемориала, но тот постоянно туда возвращался, да и теперь там пребывает.

– Я повторяю, – продолжала бабушка, – никто не знает, кроме меня, какой у этого человека ум! Он самый сердечный, самый покладистый человек на свете. Допустим, он любит запускать бумажного змея. Какое это имеет значение?

Франклин тоже любил запускать змея. Он был квакер или что-то в этом роде, если я не ошибаюсь. А квакер, запускающий змея, куда более смешон, чем кто-нибудь другой.

Если бы я предполагал, что бабушка рассказывала все эти подробности для моей пользы и в подтверждение своего доверия ко мне, я почувствовал бы себя крайне польщенным и в таких знаках расположения мог бы усмотреть доброе предзнаменование. Но вряд ли я мог не заметить, что она начала этот разговор главным образом потому, что сей вопрос невольно возникал у нее, и отвечала она себе самой, но отнюдь не мне, к которому она адресовалась за отсутствием другого слушателя.

В то же время должен заметить, что ее благородная защита безобидного бедняги мистера Дика и ее заботы не только вселили в мое юное сердце эгоистическую надежду, но и пробудили в нем бескорыстное теплое чувство к ней самой. Мне кажется, я начал понимать, что, невзирая на многие ее странности и нелепые выходки, в моей бабушке есть нечто достойное доверия и уважения. Хотя в тот день она была такой же резкой, как накануне, и, по своему обыкновению, выбегала из дому, гоняясь за ослами, и пришла в неописуемое негодование, когда проходивший мимо юноша подмигнул Дженет, сидевшей у окна (это почиталось самым тяжким оскорблением бабушкиного достоинства), но тем не менее она заставила меня больше ее уважать, хотя я боялся ее по-прежнему.

Тревога, которую я испытывал в ожидании ответа от ми-

стера Мэрдстона, была очень велика; но я всячески пытался ее скрыть и старался быть спокойным и приятным в обхождении с бабушкой и мистером Диком. Я непременно отправился бы вместе с этим джентльменом запускать огромного змея, но на мне было лишь то живописное платье, в которое меня нарядили в первый день, и потому мне приходилось сидеть дома, и только в сумерках, в течение часа, перед тем как я ложился спать, бабушка прогуливала меня для моциона по крутому берегу. Наконец пришел ответ мистера Мэрдстона, и, к моему безграничному ужасу, бабушка сообщила мне, что он приедет поговорить с ней на следующий день. Этот день наступил; я сидел, облаченный в свой странный костюм, и считал часы, красный, разгоряченный внутренней борьбой между угасающей надеждой и все усиливающимся страхом, трепеща при мысли, что вот-вот увижу эту мрачную физиономию, а также содрогаясь ежеминутно оттого, что она все не появляется.

У бабушки вид был несколько более властный и суровый, чем обычно, но она не обнаруживала никаких других признаков того, что готовится принять посетителя, вызывавшего у меня такой ужас. Почти до самого вечера она сидела у окна со своим рукодельем, а я сидел рядом с ней, и мысли у меня разбегались, когда я пытался обдумывать возможные и невозможные последствия посещения мистера Мэрдстона. Наш обед отложили на неопределенное время; но становилось уже поздно, и бабушка распорядилась подавать на стол,

как вдруг забила тревогу из-за ослов, а я, к своему изумлению и ужасу, увидел, что мисс Мэрдстон, сидя на осле по-дамски, преспокойно въехала на священную зеленую лужайку и остановилась перед домом, озираясь по сторонам.

– Отправляйтесь своей дорогой! – кричала бабушка, высовываясь из окна и потрясая головой и кулаком. – Вам здесь нечего делать! Как вы смеете вторгаться сюда без разрешения? Убирайтесь вон! Какая наглость!

Бабушка так была потрясена спокойствием, с которым мисс Мэрдстон взирала по сторонам, что даже застыла на месте, не имея сил ринуться в атаку, как бывало обычно. Я воспользовался удобным случаем и сообщил, что это мисс Мэрдстон, а джентльмен, подошедший в этот момент к преступнице, ибо тропинка была крутая и он отстал, – сам мистер Мэрдстон.

– Мне все равно, кто бы это ни был! – вопила бабушка, по-прежнему тряся головой и размахивая кулаками так, что ее жесты очень мало походили на приветственные. – Я не желаю, чтобы здесь ездили без разрешения! Я этого не допущу! Убирайтесь вон! Дженет, выгнать его! Вывести его!

Из-за плеча бабушки я наблюдал завязавшийся бой: осел, упершись всеми четырьмя копытами в землю, сопротивлялся как только мог; Дженет выбивалась из сил, ухватив его за повод и пытаясь повернуть назад; мистер Мэрдстон подгонял его вперед; мисс Мэрдстон колотила зонтиком Дженет, а мальчишки, сбежавшиеся полюбоваться зрелищем, орали во всю глотку. Внезапно бабушка увидела среди них погонщика осла, преступного юнца, одного из самых закоренелых ее обидчиков, хотя ему было всего десять или двенадцать лет; тут она бросилась к месту боя, налетела на юнца, вцепилась

в него, поволокла в сад, несмотря на то что юнец, в куртке, задранной на голову, отчаянно брыкался, и оттуда, из сада, начала кричать Дженет, приказывая ей бежать за констеблями и судьями, дабы нарушитель закона был арестован, судим и казнен тут же на месте. Однако это продолжалось недолго, так как негодный мальчишка, превосходно изучивший приемы борьбы, вплоть до ложных атак и уверток, о которых бабушка не имела понятия, с гиканьем выскользнул из ее рук и, оставляя следы подбитых гвоздями башмаков на цветочных клумбах, удрал, в довершение триумфа прихватив с собой осла.

В последней стадии битвы мисс Мэрдстон уже покинула седло и вместе с братом стояла у крыльца в ожидании того момента, когда бабушка удосужится их принять. Бабушка, слегка запыхавшись после сражения, прошла с большим достоинством мимо них прямо в дом и не обращала ни малейшего внимания на их присутствие, пока Дженет о них не доложила.

– Бабушка, мне уйти? – дрожа, спросил я.

– Нет, сэр, конечно нет! – ответила бабушка.

С этими словами она толкнула меня в угол неподалеку от себя и загородила стулом – то ли это была тюремная камера, то ли место судьи за барьером. Здесь я находился в течение всего свидания, и отсюда я увидел, как вошли в комнату мистер и мисс Мэрдстон.

– О! Мне было невдомек, кого я имела удовольствие за-

держать! Но я никому не разрешаю ездить по этой лужайке. Никаких исключений! Не разрешаю никому!

– Ваши правила не очень удобны для людей посторонних, – сказала мисс Мэрдстон.

– Неужели? – произнесла бабушка.

Очевидно, опасаясь возобновления враждебных действий, мистер Мэрдстон решил вмешаться и начал так:

– Мисс Тротвуд!

– Прошу прощенья! Вы – мистер Мэрдстон, женившийся на вдове моего покойного племянника Дэвида Копперфилда из «Грачовника» в Бландерстоне, – с проницательным видом заявила бабушка. – Кстати, почему Грачовник – мне неизвестно.

– Он самый, – сказал мистер Мэрдстон.

– Извините, сэр, что я вам это говорю, но, мне кажется, было бы значительно лучше, если бы вы в свое время оставили это бедное дитя в покое, – сказала бабушка.

– Я согласна только с тем утверждением, мисс Тротвуд, что оплакиваемая нами Клара была во всех отношениях сущее дитя, – с важностью сказала мисс Мэрдстон.

– Для нас с вами, сударыня, утешительно, что этого никто не может сказать о нас, – заявила бабушка. – Мы пожили на свете и уже вряд ли способны быть несчастны в своих привязанностях.

– Несомненно! – согласилась мисс Мэрдстон, но, как мне показалось, отнюдь не любезно. – И в самом деле, как вы

сказали, для моего брата было бы значительно лучше никогда не вступать в этот брак. Я всегда была такого же мнения.

– В этом я не сомневаюсь. Дженет! – Тут бабушка позвонила в колокольчик. – Передай привет мистеру Дику и попроси его сюда.

Пока не пришел мистер Дик, бабушка сидела, чопорно выпрямившись, и хмуро взирала на стену. Когда он появился, бабушка его представила.

– Мистер Дик. Старый и близкий друг. Я всегда полагалась на его здравый ум, – сказала бабушка с особым ударением, чтобы усовестить мистера Дика, который с простодушным видом сосал указательный палец.

При этом намеке мистер Дик вынул палец изо рта и с выражением важным и сосредоточенным стал созерцать присутствующих. Бабушка кивнула головой в сторону мистера Мэрдстона, который начал так:

– Получив ваше письмо, мисс Тротвуд, я почел своим долгом в знак уважения к вам…

– Благодарю, обо мне не беспокойтесь! – перебила бабушка, сверля его глазами.

– …и невзирая на связанные с поездкой неудобства, приехать лично, а не писать письмо, – продолжал мистер Мэрдстон. – Этот злосчастный мальчик, бросивший своих друзей и свои занятия…

– Который имеет вид просто возмутительный и непристойный! – перебила его сестра, привлекая всеобщее внима-

ние ко мне и к моему неописуемому костюму.

– Джейн Мэрдстон! Будьте добры меня не перебивать! – сказал ей брат. – Итак, этот злосчастный мальчик, мисс Тротвуд, неоднократно бывал виновником многочисленных домашних неурядиц при жизни моей дорогой усопшей жены, а также после ее смерти. У него непокорный дух, буйный и злобный нрав, он строптив и упрям. Мы с сестрой пытались исправить его, но тщетно. И я почувствовал – мы почувствовали оба, так как сестра полностью со мной согласна, – что лучше вам услышать это важное и нелицеприятное сообщение из наших уст.

– Едва ли мне нужно подтверждать то, что говорит мой брат, и я могу только добавить, что из всех мальчиков на свете этот мальчик самый скверный! – сказала мисс Мэрдстон.

– Сильно сказано! – отрезала бабушка.

– Отнюдь не сильно, если принять во внимание факты, – возразила мисс Мэрдстон.

– Ха! Дальше, сэр.

– У меня есть свои соображения относительно того, к каким мерам следует прибегнуть для его воспитания, – продолжал мистер Мэрдстон, чье лицо хмурилось все больше, по мере того как они с бабушкой все пристальнее следили друг за другом. – Эти соображения основаны отчасти на моем знакомстве с его характером, а отчасти на сведениях, которыми я располагаю о своих средствах и методах. За них я отвечаю только перед самим собой, поступаю соответствен-

но и распространяться о них не считаю возможным. Достаточно будет сказать, что я устроил этого мальчика на попечение моего друга в солидном предприятии, но это ему не понравилось, он убежал, стал бродяжничать и явился в лохмотьях сюда, чтобы разжалобить вас, мисс Тротвуд. Я, как честный человек, хочу обратить ваше внимание на неминуемые последствия – насколько я могу их предвидеть, – к каким приведет ваша поддержка.

– Но сначала поговорим об этом солидном предприятии, – сказала бабушка. – Если бы это был ваш собственный сын, вы также поместили бы его туда?

– Если бы это был сын моего брата, я уверена, что у него был бы совсем другой характер! – вмешалась мисс Мэрдстон.

– А если бы бедное дитя – мать этого мальчика – была жива, он также поступил бы в это солидное предприятие? – спросила бабушка.

– Думаю, Клара не стала бы возражать против того, что я и моя сестра, Джейн Мэрдстон, сочли бы за благо, – ответил мистер Мэрдстон, наклонив голову.

Мисс Мэрдстон подтвердила это внятным шепотом.

– Гм… несчастная малютка!.. – сказала бабушка.

Тут мистер Дик, который все время бренчал в кармане монетами, забренчал так громко, что бабушка сочла нужным бросить на него предостерегающий взгляд, а затем продолжала:

– С ее смертью выплата ренты прекращается?

– Прекращается, – сказал мистер Мэрдстон.

– И ее скромная недвижимость – дом и сад, которые называются… Грачовник, что ли, хотя никаких грачей там нет, – не перешла к ее сыну?

– Они были ей оставлены без всяких условий первым мужем… – начал мистер Мэрдстон, но бабушка, вспылив, нетерпеливо перебила его:

– Боже мой! Так я и знала! Оставлены без всяких условий! Мне кажется, я так и вижу Дэвида Копперфилда, который не мог предусмотреть никаких осложнений, хотя они были у него перед самым носом. О, конечно, он оставил без всяких условий! Ну а когда она вышла вторично замуж, когда она, скажу прямо, совершила этот гибельный шаг и вышла за вас замуж, неужели не нашлось в то время человека, который сказал бы ей хоть слово в защиту ребенка?

– Моя покойная жена любила своего второго мужа, сударыня, и питала к нему полное доверие, – ответил мистер Мэрдстон.

– Ваша покойная жена, сэр, была самой неопытной, самой несчастной, самой жалкой малюткой! Вот кем она была! – заявила бабушка, тряхнув головой. – Ну, так что же вы имеете еще сказать?

– Могу сказать только одно, мисс Тротвуд, – начал мистер Мэрдстон, – я приехал сюда, чтобы забрать Дэвида с собой, забрать его без всяких условий, распоряжаться им по своему

усмотрению и поступать так, как я сочту нужным. Я нахожусь здесь не для того, чтобы давать какие-либо обещания или обязательства. Может быть, мисс Тротвуд, вы намерены потворствовать ему в его поведении и прислушиваться к его жалобам. К такому выводу приводит меня ваше отношение к нам, которое, по правде говоря, нельзя назвать миролюбивым. Но я должен вас предупредить, что, потворствуя ему в данном случае, вы будете потворствовать ему всегда и во всем, и если вы теперь станете между ним и мною, то вопрос будет решен окончательно, мисс Тротвуд. Я никогда не шучу и не допущу, чтобы со мной шутили. Я приехал сюда в первый и последний раз, чтобы забрать его с собой. Он согласен следовать за мной? Если нет, говорите, что не согласен – по каким основаниям, мне безразлично, – мой дом закрыт для него навсегда, а ваш, стало быть, открыт.

Это заявление бабушка выслушала с большим вниманием; она сидела выпрямившись, сложив на коленях руки, и мрачно смотрела на говорившего. Когда он кончил, она, не меняя позы, перевела взгляд на мисс Мэрдстон и спросила:

– А вы, сударыня, имеете что-нибудь добавить?

– Все, что я могла бы сказать, мисс Тротвуд, так хорошо сказано моим братом и все факты, какие я могла бы привести, так ясно изложены им, что мне нечего добавить, разве что следует поблагодарить вас за вашу любезность! За вашу большую любезность, – подчеркнула мисс Мэрдстон с иронией, которая так же смутила мою бабушку, как смутила бы

ту пушку, около которой я спал в Четеме.

– А что скажет мальчик? Ты согласен уехать с ним, Дэвид? – спросила бабушка.

Я ответил: «Нет!» – и стал умолять, чтобы она меня оставила у себя. Я сказал, что ни мистер Мэрдстон, ни мисс Мэрдстон никогда меня не любили и никогда не были со мной ласковы. Сказал, что они измучили из-за меня мою маму, которая горячо любила меня, и это я хорошо знаю, и Пегготи тоже знает. Сказал, что я несчастен больше, чем могут себе представить те, кто знает, как я еще мал. И я просил и молил бабушку – теперь я не помню, в каких выражениях, но помню, что меня самого они очень растрогали, – умолял ее пригреть и защитить меня в память моего отца.

– Мистер Дик! Что мне делать с этим ребенком? – спросила бабушка.

Мистер Дик подумал, помешкал, затем просиял и откликнулся:

– Пусть с него сейчас же снимут мерку для костюма.

– Мистер Дик, дайте мне пожать вашу руку! Ваш здравый ум неоценим! – произнесла бабушка с торжествующим видом.

Пожав от всей души руку мистеру Дику, она притянула меня к себе и обратилась к мистеру Мэрдстону:

– Вы можете уйти, когда вам вздумается. Я беру на себя заботу о мальчике. Если он в самом деле таков, как вы говорите, я сделаю для него, во всяком случае, не меньше, чем

сделали вы. Но я не верю ни единому вашему слову.

– Мисс Тротвуд! – произнес мистер Мэрдстон, пожимая плечами и поднимаясь. – Если бы вы были джентльменом…

– Вздор! Чепуха! – отрезала бабушка. – Не желаю слушать!

– Как вежливо! – воскликнула мисс Мэрдстон, вставая. – Поразительно!

– Вы полагаете, что я не знаю, какую жизнь должна была вести по вашей милости эта бедная, несчастная, обманутая малютка? – не обращая никакого внимания на мисс Мэрдстон, говорила бабушка, продолжая адресоваться к ее брату и с негодованием тряся головой. – Вы полагаете, я не знаю, какой это был печальный день для этого кроткого создания, когда она вас встретила впервые, а вы, конечно, принялись скалить зубы да пялить на нее глаза и прикинулись тихоней?

– Я никогда не слыхала более изящных выражений! – не утерпела мисс Мэрдстон.

– Вы думаете, что я не могу вас раскусить, если я вас тогда не видела? Зато теперь я вас вижу и слышу и признаюсь откровенно: это не доставляет мне ни малейшего удовольствия! О! Какой мягкий и шелковый был тогда мистер Мэрдстон! Кто мог бы с ним сравниться! Глупенькая, невинная бедняжка никогда и не видела такого мужчину. Он – воплощенная доброта. Он ею восхищается. Он любит ее ребенка, любит нежно, прямо до безумия! Он заменит ему отца, и все они будут жить в саду, полном роз! Уф! Можете убираться

отсюда! – воскликнула бабушка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.